



Владимир (Зеев) Жаботинский

ИЗБРАННОЕ

Владимир (Зеев) Жаботинский

ИЗБРАННОЕ

62



Владимир (Зев) Жаботинский

ИЗБРАННОЕ



ВЛАДИМИР (ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСКИЙ

Владимир (Зеев) Жаботинский

ИЗБРАННОЕ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1978

Printed in Israel

זאב ז'בוטינסקי
כתבים נבחרים

V.Z.Jabotinsky
SELECTED WORKS

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה
ת.ד. 7422, ירושלים
היוצאת לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

Typesetted by STAV printing-house,
Jerusalem, p. o. box 11034

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Герцля	7
Владимир (Зеев) Жаботинский (<i>вступительная статья</i>)	11

ЕВРЕИ И РОССИЯ

О национальном воспитании	25
---------------------------------	----

Из сборника «Фельетоны»

В траурные дни	41
Еврейская крамола	47
Ваш Новый год	56
О «евреях и русской литературе»	61
Четыре статьи о «Чириковском инциденте»	69
Наше бытовое явление	93
Обмен комплиментов	104
Вместо апологии	116
Фальсификация школы	124
О языках и прочем	134
Урок юбилея Шевченко	144
Странное явление	153
На ложном пути	158
Четыре сына	171

Из «Хроники еврейской жизни»

Еврейская революция	180
---------------------------	-----

Из «Рассвета»

Антисемитизм в Советской России	188
Черная сотня	192

СИОНИЗМ

Критики сионизма	200
------------------------	-----

Арабский вопрос

О железной стене	230
Этика железной стены	238
Круглый стол с арабами	244
«Восток»	248

Внутренняя борьба в сионизме

«Левые»	257
Враг рабочих	262

ВОСПОМИНАНИЯ

Из «Слово о полку»

Первый опыт — Zion Mule Corps	271
Против всех	282
Победа	288
Зигзаги государственной мудрости	292
Праздник еврейской Палестины	302
Наши солдаты	313
Заключение	321
За сутки	326

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Из романа «Самсон Назорей»

Беззубый	335
Во весь рост	344
Три зелья	353
В яме	370
Среди друзей	381
Последняя	384

Из романа «Пятеро»

Начало Торика	399
---------------------	-----

Из сборника «Рассказы»

Edmée	408
Жиденок	417

Из «Агады»

Два предателя	422
---------------------	-----

Из сборника «Causerie»

Три искусства	424
Белый предел	428

ПАМЯТИ ГЕРЦЛЯ

Он не угас, как древле Моисей,
на берегу земли обетованной:
он не довел до родины желанной
ее вдали тоскующих детей;
он сжег себя и отдал жизнь святыне
и «не забыл тебя, Иерусалим», —
но не дошел и пал еще в пустыне,
и в лучший день родимой Палестине
мы только прах трибуна предадим.

И понял я загадку странных слов,
поведанных в Агаде Бен-Барханой, —
что погребен пустынею песчаной
не только род трусливых беглецов,
ничтожный род, рабы, в чей дух и спины
вожгла клеймо египетская плеть, —
но, кроме них, среди немой равнины
в сухом песке зарыты исполины,
их сердце — сталь, и тело их — как медь.

Да, понял я сказанье мудреца:
весь мир костями нашими усеяв,
не сорок лет, а сорок юбилеев
блуждаем мы в пустыне без конца;
и не раба, вскормленного бичами,
зарыли мы в сухой чужой земле:

то был титан с гранитными плечами,
то был орел с орлиными очами,
с орлиною печалью на челе.

И был он горд и мощен и высок,
и зов его гремел, как звон металла,
и прогремел: во что бы то ни стало! —
И нас повел вперед и на восток,
и дивно пел о жизни, полной света,
в ином краю, свободном и своем,
и днем конца был день его расцвета,
и грянул гром, и песня не допета —
но за него мы песню допоем!

Пусть мы сгнием под муками ярма
и вихрь умчит клочки священной Торы;
пусть сыновья уйдут в ночные воров
и дочери в позорные дома,
и в мерзости наставниками людям
да станем мы в тот черный день и час,
когда тебя и песнь твою забудем
и посрадим погибшего за нас.

Твой голос был, как манна с облаков,
и без него томит нас скорбь и голод:
из рук твоих упал могучий молот,
но грянем мы в сто тысяч молотков,
и стихнет скорбь от их живого гула,
и голод наш умрет среди разгула
и пиршества работы напролом.
Мы прогрызем утесы на дороге,
мы проползем, где нам изменят ноги,
но, *chaj ha Schem!*¹ — мы песню допоем.

Так в оны дни отец наш Израил
свой стан привел к родимому порогу,

¹ Клянусь Богом! (иврит).

и преградил сам Бог ему дорогу
и бился с ним, но Иаков победил.
Грозою нас, как листья, разметало,
но мы твои потомки, богобор, —
мы победим во что бы то ни стало.
Пусть Божий меч на страже перевала,
но мы пройдем ему наперекор.

Спи, наш орел, наш царственный трибун.
Настанет день — услышишь гул похода,
и скрип телег, и гром шагов народа,
и шум знамен, и звон веселых струн.
И в этот день от Дана до Бер-Шевы
благословит спасителя народ,
и запоют свободные напевы,
и поведут в Сионе наши девы
перед твоей гробницей хоровод.

1904.

Владимир (Зеев) Жаботинский

В 1965 году Корней Чуковский писал Рахиль Павловне Марголиной в Иерусалим:

«... Он ввел меня в литературу... От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация. В нем было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина... Меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его густые черные волосы, свисавшие чубом над высоким лбом, и его широкие пушистые брови, и африканские губы, и подбородок, выдающийся вперед... Теперь это покажется странным, но главные наши разговоры тогда были об эстетике. В.Е. писал тогда много стихов, — и я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах... Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишиневе погром. Володя Жаботинский изменился совершенно. Он стал изучать родной язык, порвал со своей прежней средой, вскоре перестал участвовать в общей прессе. Я и прежде смотрел на него снизу вверх: он был самый образованный, самый талантливый из моих знакомых, но теперь я привязался к нему еще сильнее...

Что человек может так измениться, я не знал до тех пор.

Если за год до этого он писал:

Жди меня, гитана.
Ловкие колена
Об утесы склона
Я изранил в кровь.
Не страшна мне рана,
Не страшна измена,
Я умру без стона
За твою любовь.

А теперь стал проповедовать:

Но боюсь до крика, до безумной боли
Жизни без надежды, без огня и доли.

Прежде мне импонировало то, что он отлично знал английский язык и блистательно перевел «Ворона» Эдгара По, но теперь он посвятил себя родной литературе — и стал переводить Бялика. Вот тогда он стал часто посещать Равницкого, который, если я не ошибаюсь, помогал ему изучать и старинные книги, и древний язык, и разъяснял трудные места в поэзии Бялика...»

И на основании именно этих переводов Максим Горький назвал Бялика «великим поэтом, редким и совершенным воплощением духа своего народа».

А в 1930 году, отмечая пятидесятилетие В.Жаботинского, бывший редактор «Московских Ведомостей» писатель Михаил Осоргин писал в парижском «Рассвете»: «В русской литературе и публицистике очень много талантливых евреев, живущих — и пламенно живущих — только российскими интересами. При моем полном к ним уважении, я все-таки большой процент пламенных связал бы веревочкой и отдал вам в обмен на одного холодно-любезного к нам Жаботинского».

Такого обмена не произошло. Жаботинский вошел в историю не как русский поэт и писатель, а как один из выдающихся вождей еврейского народа в двадцатом веке.

Владимир Жаботинский родился в Одессе в 1880 году. Он получил русское образование и воспитывался на русской культуре. С ранних лет проявились у него лингвисти-

ческие способности, и впоследствии он свободно владел семью языками. Склонность к литературе у Жаботинского также проявилась очень рано. Перевод на русский язык знаменитой поэмы Эдгара По «Ворон» был сделан им в семнадцатилетнем возрасте. В свое время этот перевод был признан классическим и включен даже в школьные учебники. 25 лет спустя Жаботинский перевел «Ворона» на иврит, и перевод этот до сих пор считается лучшим.

Способности Жаботинского были замечены, и, еще юношей, он уезжает из России в Берн, а затем в Рим в качестве иностранного корреспондента газеты «Одесский листок».

Жаботинский быстро впитывал в себя европейский быт и культуру, подмечая все окружающее. Он писал талантливые, пронизанные юмором репортажи, очерки, фельетоны и мало интересовался общественными и национальными проблемами.

По возвращении в Одессу в 1901 году Жаботинский под псевдонимом Альталена (итал., букв. «качели») стал ведущим фельетонистом «Одесских новостей». Его драмы «Кровь» и «Ладно» ставятся Одесским городским театром, а поэма «Бедная Шарлотта» об убийце Марата — Шарлотте Корде — восторженно встречена ценителями.

Волна погромов, прокатившаяся по России в 1903-1904 годах, пробудила в Жаботинском еврейское самосознание. Он сразу вступает в ряды еврейской самообороны в Одессе и примыкает к сионистскому движению, которому целиком посвящает жизнь: свою творческую энергию, литературный и ораторский талант, свою необыкновенную способность увлекать массы.

Он изучил иврит и перевел на русский язык «Сказание о погроме» Бялика. Через несколько лет в его переводе вышел сборник стихов и поэм уже признанного к тому времени еврейского национального поэта Бялика. В своей новой пьесе «Чужбина» Жаботинский призывает еврейскую молодежь оставить русское революционное движение и вернуться к своему народу, который нуждается в ней больше, чем русские. По мнению Жаботинского, русские

массы никогда не примут евреев за своих и раньше или позже отвергнут их.

Публицистика Жаботинского звала еврейский народ к возрождению. Он высмеивает стремление евреев-интеллигентов ассимилироваться в русской культуре, указывает на творческое богатство многовекового еврейского гения, доказывает, что только сознание принадлежности к своему народу может избавить евреев от комплекса неполноценности, дать им чувство гордости и удовлетворения.

«Для меня все народы равноценны и равно хороши. Конечно, свой народ я люблю больше всех других народов. Но не считаю его выше. Но если начать мериться, то все зависит от мерки, и я тогда буду настаивать между прочим и на своей мерке: выше тот, который непреклоннее, тот, кого можно истребить, но нельзя «прочитать», тот, который, даже в угнетении, не отдает своей внутренней независимости. Наша история начинается со слов «народ жестоковыйный» — и теперь, через столько веков, мы еще боремся, мы еще бунтуем, мы еще не сдались. Мы — раса неукротимая во веки веков, и я не знаю высшей аристократичности, чем эта».

Иронизируя над евреями, которые пытаются стать виднейшими представителями русской литературы и лидерами русских масс, Жаботинский противопоставляет им тех, кто посвящает свое творчество родному народу.

«Поле нашего творчества, — говорит он, — внутри еврейства. Мы служили еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы. Здесь не ведем народ в безвестную темноту на добрую волю союзников, которых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников — или сам за себя, или нет спасения. *Никто на свете не поддержит твою борьбу за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай свои силы, измерь свою волю, и тогда — или иди за нами, или — да свершится над тобой судьба победжденных».*

Когда во время дела Бейлиса евреи, борясь с кровавым наветом, отчаянно старались доказать, что еврейский ритуал не требует употребления христианской крови, Жабо-

тинский выступил против такой апологетики, считая ее ниже «нашего национального достоинства». «Нам не в чем извиняться. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было. С какой же радости лезть на скамью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, и знаем цену ей, себе и им. Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим», — такими словами заканчивает он свой фельетон «Вместо апологии».

Фельетоны Жаботинского, написанные в начале века на злободневные тогда темы, по сей день служат источником вдохновения и в некоторой мере идейным руководством для еврейской молодежи в СССР, у которой пробуждается национальное самосознание.

Еще до Первой мировой войны молодой Жаботинский становится одним из руководителей еврейского национального движения в России. Он борется за признание евреев Российской империи одним из народов национальных меньшинств; проповедует «гебраизацию» еврейского воспитания, т.е. создание еврейских школ с преподаванием всех предметов на иврите; ратует за основание Еврейского университета в Иерусалиме; объезжает города и местечки черты оседлости, пропагандируя там свои идеи. Его пламенные речи вызывали энтузиазм, а его лекции о еврействе и сионизме — глубокий интерес слушателей.

Большое участие принимал он в еврейской печати на русском языке в Петербурге.

В начале войны Жаботинский выезжает в Западную Европу в качестве корреспондента московской либеральной газеты «Московские Ведомости» и тут же, по вступлении Турции в войну, разворачивает кампанию за создание особых еврейских подразделений в армиях союзных держав. По плану Жаботинского эти подразделения должны были участвовать в освобождении Эрец-Исраэль от вла-

дычества Турецкой империи, враждебно относившейся к сионизму и к еврейскому населению Палестины.

Сионистское руководство отвергло этот проект, считая его опасным для движения и предпочитая соблюдать нейтралитет. Но Жаботинский был уверен в победе союзников. Он неутомимо продолжал свою кампанию, считая, что участие в освобождении Эрец-Исраэль закрепит право еврейского народа на его историческую родину. После долгой и упорной борьбы, красочно описанной им в книге «Слово о полку», Жаботинскому удалось пробить брешь в недоверии правительственных кругов Англии и увлечь многих молодых сионистов идеей создания еврейского легиона. В 1917 году военное министерство Британии объявляет о формировании еврейского полка в британской армии. Это было, пожалуй, первое за многие столетия еврейское подразделение, воевавшее за свою родину. Сам Жаботинский стал одним из офицеров легиона. На смену враждебности и опасениям приходит энтузиазм. Еврейская молодежь Англии, Америки и отвоеванной у турок части Эрец-Исраэль записывается в еврейские полки.

Однако война закончилась до того, как эти полки, кроме первого, в котором служил Жаботинский, смогли принять участие в боях. Пришло время разочарования. Британская военная администрация в Эрец-Исраэль с первых дней начала проводить антиеврейскую политику. Она делала все, чтобы сорвать выполнение обещаний, торжественно данных британским правительством сионистскому движению.

Жаботинский, еще так недавно ратовавший за проанглийскую линию, сразу же стал на путь борьбы с британскими властями. Вскоре после демобилизации он создает в Иерусалиме первые отряды еврейской самообороны. На Пасху 1920 года, когда толпа арабов учинила погром в Иерусалиме, Жаботинский пытался во главе одного из отрядов пробиться в Старый город для защиты проживавших там евреев. Попытка закончилась арестом. Жаботинского и девятнадцать его соратников обвинили в нарушении общественного порядка. Жаботинский был приго-

ворен к 15 годам каторги и заключен в крепость Акко. Но протесты во всем мире по поводу несправедливого приговора английского военного суда привели к смягчению, а через некоторое время и к полной отмене приговора.

После освобождения Жаботинский становится членом правления Всемирной сионистской организации, президентом которой был в то время Хаим Вейцман. Однако чуть ли не с первых дней, между Жаботинским и сионистским руководством выявляются разногласия по целому ряду вопросов. Расхождения углублялись по мере того, как английское правительство, вопреки своим обязательствам, урезывало права евреев на репатриацию, на заселение земель и, наконец, изъяло из территории, предназначенной по мандату Лиги Наций для еврейского национального очага, все Заиорданье, считавшееся до тех пор неотъемлемой частью Эрец-Исраэль. Жаботинский требовал твердой линии по отношению к Англии, а умеренное руководство опасалось последствий борьбы с империей. В 1923 году Жаботинский вышел из состава Правления Сионистской организации и занялся литературно-издательской деятельностью, направленной главным образом на национальное воспитание молодежи. Из его работ этого периода следует отметить первый географический атлас мира на иврите.

Объезжая еврейские центры Восточной Европы, Жаботинский по-прежнему пропагандировал свои взгляды, и в результате в 1925 году было создано оппозиционное течение в Сионистской организации — Всемирный союз сионистов-ревизионистов с молодежным движением при нем — Союзом имени Иосифа Трумпельдора — Бетар. Жаботинский был его вождем и идеологом.

В своем обращении к руководителю Бетара в Эрец-Исраэль он писал: «Большей части молодежи в наше время недостаточно просто служить Сиону. Ей нужно еще что-то, какой-то дополнительный идеал, который оправдывает сионизм, какая-то расцветка, которая приукрасит эгоистическое национальное стремление. А я ищу молодежь, в Храме которой будет одна вера, единственная, и

той веры будет довольно с нее... Я ищу молодежь, цельную как природа, как Десять Заповедей. Она осознает все трудности, но верить будет уметь, и дерзать до конца-края горизонта. Да, именно Еврейское Государство. И страна наша — вся в пределах, способных вместить всех, кто еще придет».

В статье «Сион и коммунизм» Жаботинский пишет: «Сионизм — это воплощение национальной гордости и суверенного самоуважения, органически несовместимых с тем, чтобы судьба евреев была менее важна, чем другие вопросы мирового значения. Для каждого, кто так чувствует, всякое «спасение мира» — позорная ложь, пока нет у евреев своей страны, как у других народов. Мир, в котором у еврейского народа нет своего государства, — это мир воров и разбойников, дом разврата — и нет у него права на существование».

Ревизионизм и Бетар, охватывая все более широкие массы, вызывали острое сопротивление в умеренных кругах сионистского руководства и вражду рабочего движения в Эрец-Исраэль. Требование Жаботинского, чтобы Сионистская организация официально объявила, что конечная цель сионизма — создание еврейского государства по обеим сторонам Иордана, было отвергнуто большинством голосов на 15-м и 17-м сионистских конгрессах. Большинство опасалось, что резолюция усилит вражду арабов и поставит под угрозу заселение и развитие Эрец-Исраэль. Примат идеи государства над социальными идеалами резко оспаривали видные лидеры социалистических партий сионистской организации и рабочего движения в стране. Для них важнейшей целью сионизма было создание в Эрец-Исраэль идеального общества на основах социальной справедливости, выраженных в идеологии социализма или коммунизма.

Значение, которое Жаботинский придавал легионизму, то есть легальному восстановлению еврейского легиона, руководство ишува рассматривало как милитаризм. Оно предпочитало и считало более целесообразным организацию полулегальной самообороны. Внутренняя борьба в сионизме и в ишуве все обострялась: разногласия рас-

пространились почти на все сферы деятельности сионистского движения.

Опасаясь междоусобной войны в ишуве, Жаботинский и Бен-Гурион пришли к соглашению о нормализации отношений между Гистадрутом и ревизионистами, но оно было отклонено большинством голосов на плебисците, проведенном среди членов Гистадрута. После кровавых событий 1929 года в Иерусалиме и Хевроне, наряду с уже существовавшей организацией самообороны Хаганой, была основана национальная военная организация Эцел, командующим которой впоследствии стал Жаботинский, хотя с 1928 года английское правительство запретило ему въезд в Палестину. Разногласия углубились во время арабских беспорядков 1936—1939 годов, в особенности по вопросу об ответных действиях на террористические акты, убийства и нападения арабских банд на еврейские поселения.

В 1935 году Союз сионистов-ревизионистов вышел из Сионистской организации и основал Новую сионистскую организацию, президентом которой стал Жаботинский.

Разрыв между ревизионистами и Федерацией трудящихся (Гистадрутом) произошел еще раньше. Убийство заведующего политическим департаментом Еврейского агентства Хаима Арлозорова, в котором лидеры рабочего движения обвиняли ревизионистов, еще более разожгло страсти.

В 1938 году перед сионистским движением встала новая проблема. Королевская комиссия, посланная в Палестину, чтобы установить причины беспорядков, рекомендовала раздел страны на арабское и еврейское государства. Евреям предлагали отвести Галилею, Изреельскую долину и Шаронскую прибрежную полосу. 20-й Сионистский конгресс уполномочил правление Сионистской организации вести переговоры с английским правительством на базе этого плана. Жаботинский был одним из тех, кто резко выступил против раздела и начал кампанию протеста. Накануне Второй мировой войны, в период нацистского триумфа в Европе, он предчувствовал катастрофу, надвигающуюся на восточноевропейское еврейство, и вы-

двинул лозунг полной эвакуации евреев из Польши в Эрец-Исраэль. Он был готов стать во главе нелегального флота, чтобы привезти сотни тысяч польских евреев к берегам родины и, в случае необходимости, оказать английским войскам вооруженное сопротивление. Этот план тоже не нашел сочувствия: он казался тогда нереальным и даже вредным.

Вспыхнувшая в 1939 году война оторвала Жаботинского от множества приверженцев в странах Восточной Европы, особенно в Польше.

Жаботинский уехал в Америку. Он умер в Нью-Йорке 4 августа 1940 года. В его завещании говорится: «Я хочу быть похороненным там, где меня настигнет смерть. Мои останки будут перевезены в Эрец-Исраэль только по приказу правительства будущего еврейского государства».

Желание Жаботинского было исполнено в 1964 году. Его прах покоится на горе Герцля в Иерусалиме. Завещание было написано еще в 1935 году, когда еврейское государство казалось далекой мечтой. Но для Жаботинского мечта и действительность всегда были неотделимы. Его взгляд был обращен в будущее, которое его кипучий темперамент стремился превратить в настоящее. Многие из его предсказаний о ближайшей судьбе не только еврейского, но и западноевропейских народов исполнились, но лишь много лет спустя.

Взгляды Жаботинского основаны на сочетании гуманистического индивидуализма с национализмом. Перефразируя первый стих Торы, он говорит: «Сначала Бог сотворил человека, не нацию, а человека, и обязанность служения нации человек берет на себя добровольно». Этот синтез был достигнут в результате тяжелой внутренней борьбы. Душевные конфликты, возникающие на этой почве, отражены в художественных произведениях Жаботинского, в особенности в романе «Самсон Назорей», где в жизни древнего израильского судьи-богатыря воспроизведены многие автобиографические моменты. Идеал Жаботинского — праотец Яаков. «Умел Яаков... бороться... с самим Богом; боролся лицом к лицу всю ночь до зари и остался непобежденным; умел и любить, и 14 лет служил батраком

за любимую женщину... Настоящий человек, широкий, с великими доблестями и недостатками, с душой как семицветная радуга или как арфа, на которой все струны. Жизнь его была и осталась самой увлекательной поэмой, какая только была рассказана на земле». Образ семицветной радуги возникает при оценке личности, деятельности и творчества Жаботинского.

В составленной им клятве бетарца есть строфа:

Когда я призываюсь к служению народу,
Я становлюсь как сталь,
Которую кует мощный кузнец по имени Сион.

В то самое время, когда Жаботинский выковывал на иврите железные строки присяги, он писал по-русски полный ностальгии роман «Пятеро» — о распаде еврейской ассимилированной семьи накануне революции в Одессе, где сам автор родился и провел юность. В конце романа есть слова: «Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка — все ласка. И Бог... — он, вероятно, тоже ласка...»

* * *

Подбирая произведения Жаботинского для этого сборника, составители решили: 1) включить только произведения, написанные самим автором по-русски; 2) посвятить сборник исключительно еврейской тематике.

И хотя литературная и публицистическая деятельность Жаботинского почти целиком посвящена этой тематике, последнее ограничение не позволило дать читателю ряд ярких и живых очерков и рассказов, фельетонов легкого жанра и стихов, опубликованных Жаботинским в русской печати в России и за рубежом. Мы позволили себе отклониться от этого принципа лишь по отношению к фельетону «Три искусства», в котором ярко и талантливо отражены взгляды Жаботинского на три аспекта его творчества: речь идет о поэте, ораторе и политике.

До последних лет Жаботинский писал свои художественные произведения по-русски. Его романы «Самсон Назорей» и «Пятеро» печатались с продолжениями в «Рассве-

те» — еженедельнике Союза сионистов-ревизионистов на русском языке, выходившем в Париже. Но советское еврейство все больше отрывалось от сионизма и других центров еврейского рассеяния, и Жаботинский, свободно владевший семью языками, все реже употреблял русский в своей политической и общественной деятельности. Он перешел на иврит, идиш и западноевропейские языки. После закрытия «Рассвета» в 1935 году Жаботинский окончательно перестал писать по-русски. Свою автобиографию он написал на иврите.

Основное место в сборнике занимают знаменитые фельетоны, посвященные борьбе с ассимиляцией русских евреев в начале века. Практика показала, что их воздействие остается таким же сильным, как в 1903 или в 1913 году.

Изменился и стал другим мир. Забыты сотни больших, интересных в свое время книг. А мысль, гнев, сарказм, которые живут в коротких, написанных прямо на злобу дня фельетонах, перешагнули через эпоху. И молодой Жаботинский говорит сегодня с евреем-москвичом так же горячо и убедительно, как говорил с его екатеринославским или одесским прадедом.

Читатель познакомится с главами исторического романа «Самсон Назорей», в котором Жаботинский возвращается к волновавшему его вечному конфликту между ярко выраженным индивидуализмом сильной и полноценной личности и самоотверженным служением делу формирования новой великой нации.

Главы из автобиографического «Слова о полку» покажут Жаботинского — общественного и политического деятеля — в борьбе за создание еврейского легиона во время Первой мировой войны.

Деятельность Жаботинского как одного из идеологов и лидеров сионистского движения в период британского мандата и внутренняя борьба в сионизме отражены весьма скудно потому, что огромное большинство посвященных этим темам статей написано не на русском языке.

При всех этих ограничениях составители надеются, что в сборнике прозвучат аккорды многострунной арфы Жаботинского — борца, публициста, писателя и одной из самых ярких фигур эпохи национального возрождения еврейского народа.

И. Орен

ЕВРЕИ И РОССИЯ

Из сборника «Фельетоны»

О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

I

РЕЧЬ К УЧИТЕЛЯМ

Что есть национальное воспитание?

Было время, когда еврейская молодежь не только не рвалась к просвещению так усердно, как теперь, но когда отдельным лицам приходилось напрягать все усилия, чтобы приручить еврейскую массу к просвещению. Эта масса боялась просвещения и выставляла против него фанатический предрассудок преувеличенной самобытности — отчасти религиозной, отчасти национальной. Ясно, что людям, желавшим спасти эту массу от невежества, пришлось напасть на предрассудок. И они это исполнили. Они внушали массе, что надо быть прежде всего человеком, что наука равно хороша для всех, что несть эллин и несть иудей и так далее. Эта проповедь менее, чем в полвека, произвела в еврейской массе коренную перемену, совершила огромный переворот: насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, настолько они теперь жаждут его, так что не хватает ни школ, ни учителей, ни пособий; и по распространенности этой жажды знания среди беднейших слоев — мы, российские евреи, может быть, являемся первой народностью в мире.

Но теперь эпоха уже настала другая, и другие нужны для нее слова и дороги. Любовь к гуманитарному просвещению уже вызвана раз навсегда и не только не может ослабеть, но будет все распростра-

няться в ширину и глубину среди еврейских масс. Стараясь пробудить эту любовь, просветителям прежней эпохи, конечно, не было никакой нужды настаивать на национальном оттенке воспитания, потому что он сам собой разумелся: ведь тогда только о том пока и можно было мечтать, чтобы внести в слишком узкое национальное и религиозное воспитание гуманитарную струю. Но теперь, когда это достигнуто, и достигнуто блестяще, повторилось то явление, которое всегда сопутствует успеху какой угодно идеи, даже самой полезной, самой благородной: добежав до цели, мы с разбегу пронеслись дальше. Цель была — создать еврея, который, оставаясь евреем, мог бы жить общечеловеческой жизнью: мы теперь сплошь прониклись жаждой культуры, но так же сплошь забыли о том, что надо оставаться евреями. Или, вернее, не забыли (есть веские причины, мешающие забыть), но наполовину *перестали* быть евреями, потому что перестали дорожить своей еврейской сущностью и начали тяготиться ею; и именно в том, что, с одной стороны, мы *не можем* забыть о своем еврействе, а с другой — тяготимся им, — и скрыта главная горечь нашего положения: и из этого положения необходимо выйти. Чтобы выйти из него, есть, может быть, разные средства, но только *одно* из них в наших руках: это средство — сделать так, чтобы мы перестали тяготиться своим еврейством и научились дорожить им.

Таким образом задача еврейского народного просвещения в настоящее время является диаметрально противоположной задаче прежней эпохи. Тогдашним девизом было: «стремитесь к общечеловеческому!» — ибо стремление к национальному (тогда выражались — «религиозному») уже имелось в обилии. Теперь же должно быть: «стремитесь к национальному!», ибо стремление к общечеловеческому уже имеется. В результате оба противоположных девиза ведут к одной цели, как оба радиуса диаметра к одному центру: к созданию еврея-гуманиста. Но, ведя к той

же цели, новый девиз, однако, требует коренной перемены, полного перемещения центра тяжести воспитательной системы. Во дни оны центром тяжести еврейского воспитания надо было сделать гуманный элемент, чтобы скорей выжить дух нетерпимости и узости; но теперь центром всей системы воспитания еврейской молодежи должен стать национальный элемент, ибо надо выжить дух самопрезрения и возродить дух самосознания.

Вот реформа, необходимая ныне: надо перевернуть душу преподавания, произвести революцию в самом принципе системы.

Нельзя больше так жить, как мы живем: мы жалуемся на то, что нас презирают, а сами себя почти презираем. И это не мудрено, если подумать, что еврей, воспитанный по-нынешнему, знает о еврействе, т.е. о самом себе, только то, что видит вокруг, то есть картину, не могущую польстить чувству национального достоинства. Если бы ему была известна колоссальная летопись еврейского величия и еврейского скитания, он мог бы почувствовать, сколько благородных сил кроется в этом маленьком и непобедимом племени, и ощутил бы гордость, и приучился бы радоваться при мысли, что он еврей; и тогда все неприятности еврейского существования показались бы ему гораздо легче, потому что терпеть неприятности за нечто любимое гораздо легче, нежели за нечто ненавистное или почти ненавистное. Но еврей, воспитанный по-теперешнему, совершенно не знает величавой перспективы еврейской истории, а знает только сегодняшний момент и свой уголок — Пружаны или Голту, — и ни в этом моменте, ни в этом уголке нет, конечно, ничего величавого, а есть зато много забитого и приниженного. По этому образцу он знакомится с еврейством, и вне этого образца ничего не знает о еврействе; и у него создается очень жалкое и тяжелое представление об этом еврействе, ему неприятно, что он тоже еврей, и иногда, ложась спать, он тайком думает: ах, если бы завтра утром оказалось,

что все это был дурной сон, что я — не еврей! Но «завтра» приходит, и он просыпается евреем, и тащит за собой, почти с проклятиями, свое еврейство, как каледонский каторжник ядро. При каждом испытании судьбы он морщится и горько спрашивает: «Да во имя чего же, наконец, все это? Разве я еврей? Что такое еврей? Где-то там во Франции, в Марокко, в Румынии есть люди, которых тоже называют этим именем: разве я им брат? Я даже не знаю, сколько их, как им живется, о чем они мечтают, я не имею о них понятия, — а должен быть евреем...» И его охватывает злоба против этого имени, и он начинает употреблять его, как ругательное; и окружающие замечают все это и говорят друг другу: да как же нам не презирать его, если он сам презирает и свое племя настолько, что ничего о нем не знает, и себя самого настолько, что ругается своим собственным именем?

Мы, евреи нынешнего переходного времени, вырастаем как бы на границе двух миров. По сю сторону — еврейство, по ту сторону — русская культура. Именно русская культура, а не русский народ: народа мы почти не видим, почти не прикасаемся — даже у самых «ассимилированных» из нас почти никогда не бывает близких знакомств среди русского населения. Мы узнаем русский народ по его культуре — главным образом, по его писателям, то есть по лучшим, высшим, чистейшим проявлениям русского духа. И именно потому, что быта русского мы не знаем, не знаем русской обыденщины и обывательщины, — представление о русском народе создается у нас *только* по его гениям и вождям, и картина, конечно, получается сказочно прекрасная. Не знаю, многие ли из нас любят Россию, но многие, слишком многие из нас, детей еврейского интеллигентного круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культуру, а через нее в весь русский мир, о котором только по этой культуре и судят. И эта влюбленность вполне естественна, потому что мир еврейский, мир по сю сторону границы не мог в их душе соперничать

с обаянием «той стороны». Ибо еврейство мы, наоборот, узнаем с раннего детства не в высших его проявлениях, а именно в его обыденщине и обывательщине. Мы живем среди этого гетто и видим на каждом шагу его уродливую измелечалость, созданную веками гнета, и оно так непривлекательно, некрасиво... А того, что поистине у нас высоко и величаво, еврейской культуры — ее мы не видим. Дети простонародья кое-как еще видят ее в хедере, но там она дается в такой нелепой форме и обстановке, что полюбить ее немислимо. Дети же среднего круга и того лишены. Сплошь и рядом нет у них даже отдаленного понятия об истории еврейского народа. Они не знают о его исторической роли просветителя народов белой расы, о его несокрушимой духовной силе, которая не поддалась никаким гонениям: они знают о еврействе только то, что видят и слышат. А что они видят? Видят они запуганного человека, видят, как его отовсюду гонят и всюду оскорбляют, и он не смеет огрызнуться. А что они слышат? Разве слышат они когда-нибудь слово «еврей», произнесенное тоном гордости и достоинства? Разве родители говорят им: помни, что ты еврей, и держи выше голову? — Никогда. Дети нашего народа слышат от своих родителей слово «еврей» только с оттенками приниженности и боязни. Отпуская сына из дому на улицу, мать говорит ему: — Помни, что ты еврей, и иди стороной, чтобы никого не толкнуть... — Отдавая в школу, мать говорит ему: — Помни, что ты еврей, и будь тише воды, ниже травы... — Так поневоле связывается у него имя «еврей» с представлением о доле раба, и ни о чем больше. Он не знает еврея — он знает жида; не знает Израиля, а только Сруля; не знает гордого сирийского коня, каким был наш народ когда-то, а знает только жалкую нынешнюю «клячу». Роковым образом он узнает еврейский мир только по его изнанке — и русский мир только по его лицевой стороне. И он вырастает влюбленным во все русское унижительной любовью свинопаса к ца-

ревне. Все его сердце, его симпатии все на той стороне; но ведь он все-таки еврей по крови, и об этом никто не хочет забыть; и он несет на себе свое проклятое еврейство, как безобразный прыщ, как уrolливый горб, от которого нельзя избавиться, и каждая минута его жизни отравлена этой пропастью между тем, чем бы хотелось ему быть, и что он есть на самом деле...

— Отравлена? — усомнятся многие, а про себя подумают, что чересчур уже сильно это сказано. Ибо они сами все это испытали, и было оно, действительно, весьма неприятно в иные минуты: но вель вот они, слава Б-гу, живы и здоровы, едят и ходят, и ведут свои дела; значит, не так уж оно все опасно, чтобы стоило кричать об отраве. — А я думаю, что здесь именно отрава, отрава всего организма. Она не приводит нас к самоубийству, потому что она затяжная, изо дня в день. Мы с нею свыкаемся, как свыкается человек со своей хромотою.

Я видел однажды хромую девочку, которая была очень весела, и, глядя на нее, я подумал: эта девочка уже свыклась и ничуть не страдает от своего недостатка. — Но тогда я уловил взор ее матери, устремленный на нее, и мне стало страшно больно. Я понял, что мать лучше меня читала в душе этого ребенка, и видела ясно, как на самом дне этой души, даже в минуту хохота и резвости, таилась и теплилась какая-то искорка обиды за свое убожество. И мать понимала, что никогда не погаснет та искорка, и девочка пронесет ее с собою через всю жизнь, и как бы она звонко ни хохотала, как бы шибко ни выучилась бегать, все-таки вечно будет она чувствовать себя на крохотный волосок ниже других, потому что они как все люди, а у нее хромая нога. Так будет насквозь отравлена вся ее жизнь, и никогда не узнает она ни в чем полного счастья в той мере, в какой оно доступно другим людям, потому что она ниже их. Мать это понимала, и во взоре ее был траур по этой девочке.

Если есть у нас чуткие матери, то и они должны тосковать о нашей судьбе, потому что драма хромой девочки, резвящейся рядом с другими детьми и все-таки хромой, есть драма еврея, влюбленного в чуждую культуру и все-таки еврея. Со стороны покажется, будто он рад и весел и забыл о своем уродстве: но кто умеет заглянуть в глубь души, тот и в самые счастливые минуты найдет на дне ее вечно болезненную точку обиды. Он может свыкнуться со своим горбом, но не может забыть. И потому вся жизнь его отравлена, и никогда и ни в чем он не будет переживать ее так же свободно и полновесно, как другие, ибо вечно, самому себе наперекор, будет себя чувствовать на волосок ниже других...

Я вспоминаю один случай. Мы в одном городе Юга ждали как-то погрома. Я был в числе дозорных и обходил с двумя товарищами базары — понаблюдать, не начинается ли где-нибудь беда. При этом, проходя среди русской толпы, мы инстинктивно старались придавать себе «русское» выражение лица и говорить с московским акцентом. Мне кажется, что не из трусости и даже не из каких-либо особенных конспиративных соображений, а чисто по инстинкту: мы бессознательно чувствовали, что теперь удобнее стусевать наше еврейство и не привлекать внимания. На одном из базаров, где было много народу, мне бросился в глаза старый еврей, в пейзах и долгополом кафтане. Он пробирался среди толпы осторожно, и по лицу его чувствовалось, что он понимает опасность и боится. Но мне при взгляде на него пришло в голову, что он хоть и боится, а не делает и не может сделать попытки затушевать свои еврейские признаки. Он знает, что внешность его бросается в глаза и привлекает внимание враждебной толпы, но ему даже не могло прийти в голову, что следовало бы не казаться евреем. Он от малых лет сроднился с мыслью, что он — еврей и *должен* быть евреем, и теперь не мог бы даже вообразить, как это он да станет непохож на еврея, хотя бы и в минуту крайней опас-

ности. Оттого он, который боялся, чувствовал себя в эту минуту внутренне свободнее нас, которые, может быть, не боялись в простом смысле этого слова, но все-таки инстинктивно прятали то, что он выставлял напоказ. Ибо мы от малых лет сроднились с мыслью, что мы, правда, евреи, но *не должны* быть евреями. Он — Б-жию милостью еврей; мы — осужденные на вечное еврейство.

Я, вероятно, очень бледно и невразумительно рассказал все эти переживания, потому что говорю по отдаленным воспоминаниям. Для нас (я говорю о людях моего политического лагеря) уже давно прошла пора, когда мы так чувствовали. Мы подошли к еврейству и вгляделись в него, и нашли в нем столько величия и красоты, что под их обаянием душа выпрямилась, подняла голову и ощутила до глубины всю гордость сознания: «я еврей». Так же невольно, как мы прежде смотрели на ту сторону униженно влюбленными глазами, так же невольно смотрим мы теперь и на «ту», и на все другие стороны глазами равного на равного — даже, быть может, глазами высшего на младшего. Мы переродились, потому что прежде мы терпели свое еврейство поневоле, а теперь мы им горды, мы ему радуемся, как радуется женщина своей красотой.

На Западе есть поговорка: *aus der Not eine Tugend*. По-русски это значит: возводить необходимость в добродетель, в заслугу. Эта поговорка насмешливая, но в основе ее лежит верно подмеченный психологический факт: человеку становится легче, если он *aus der Not* сделает себе *eine Tugend*, — если тем, за что его преследуют, сам он будет гордиться, а не гнушаться. И если мы хотим, чтобы нашим детям было легче, если хотим избавить их от той драмы хромого, которую пережили сами, то мы должны воспитать их так, чтобы сознание своего племени было для них не неволей, а радостью и гордостью. Но для этого надо с первых лет очаровать их той величавой красотой, которую мы, их старшие

братья, узнали так поздно, уже в мучительном переломе юности. Надо поверх нашей мизерной обыденщины, поверх согбенной спины жалкого Сруля, показать им Израиля, его царственный дух во всем его могуществе, его трагическую историю во всем ее грандиозном великолепии. Только это исцелит нашу душу.

Мы должны честно вдуматься во все это, ибо так больше жить нельзя. Мы стоим перед огромною задачей, потому что почти ежедневно прибывают новые рекруты культуры из нашего племени, и мы должны спасти их от той внутренней горечи, которую так обильно и сытно испытали сами. Мы должны дать подрастающим поколениям гуманитарную культуру, но мы должны прежде всего гарантировать еврею мир с самим собою и уважение к самому себе. Мы прежде всего должны дать ему летопись нашей народности, чтобы он хорошо вник в то, как она жила с первых дней пути своего, сколько мощи проявила, сколько послужила братьям-иноплеменникам; чтобы он мог радостно улыбнуться, приосаниться и полюбить ее. Но эта летопись огромна, обширнее истории всякого другого народа, потому что древнее и потому что вторая половина ее разбита на отдельные поэмы скитания во многих чужбинах. Он должен узнать всю эту книгу книг, должен узнать о настоящем быте своих соплеменников иногo подданства столько же, сколько о прошлом величии Иерусалима, чтобы чувствовать истонное братство. Он должен знать и прошлое, и нынешнее духовное творчество нашего племени, и не должны родные писатели оставаться для него неизвестными именами. Все это не может быть изучено между прочим; весь этот огромный материал требует огромного внимания; оттого ему должна быть отведена главная роль, ради него должно слегка потесниться, если нужно, все прочее, а не наоборот: наука об еврействе должна стать для нас центром науки.

Наша главная болезнь — самопрезрение, наша

главная нужда — развить самоуважение: значит, основой нашего народного воспитания должно быть отныне самопознание. Так воспитывается на земле всякий здоровый народ, всякая нормальная личность.

Вам часто, вероятно, говорят, что быть сторонником национализации воспитания значит быть сионистом, и я знаю, что многих этот довод пугает. Но это ошибка. Здесь спор идет не между сионистом и несионистом: спор гораздо глубже. На одной стороне стоят те, кто, сознательно или бессознательно, потеряли надежду или желание сохранить еврейство неприкосновенным и ведут его к исчезновению со сцены: на другой те, которые ко дню будущего международного братства хотят сберечь живым и того брата, имя которому Израиль, и сберегут его — во что бы то ни стало.

Дело не в споре партии и партии: здесь спорят между собою тенденция жизни и тенденция смерти.

Этим решается и вопрос о «древне»-еврейском языке. Сегодня и здесь я не намерен говорить о нем, как о языке преподавания: это вопрос совсем особый, очень сложный и спорный. Я рассматриваю сейчас еврейский язык лишь как *предмет* преподавания и хочу в этом смысле определить его место и роль. Мне кажется возможным сделать это в немногих строках, ибо после всего, что выше сказано, сам собою напрашивается вывод: несомненно, что при таком перенесении воспитательного центра тяжести на самопознание — еврейский язык совершенно неизбежно и естественно становится *главным орудием* воспитания.

Когда человек интересуется французской литературой, он прежде всего изучает французский язык, а не полагается на переводы. Но мы ведь не просто «интересуемся», для нас это не есть вопрос любознательности — для нас вопрос идет об исцелении и перерождении исковерканной еврейской души, и еврейская культура стала для нас прибежищем

единственного спасения. На ее изучении должны мы построить всю нашу новую систему воспитания, и начать волей-неволей придется с того наречия, на котором записаны все творения израильского духа. Наш язык — это порог, мимо которого нет доступа в школу национального воспитания, а проникнуть в эту школу стало для нас вопросом жизни или смерти.

Нас упрекают в мечтательстве и романтизме, нам говорят, будто мы ведем свою национальную проповедь из какой-то эстетической прихоти — потому, что нам *нравится* еврейская культура и еврейский язык. Да, не спорю, нравится, но не в том дело. Если бы еврейская культура была еще ниже клевет Люто-станского*, если бы еврейский язык был хуже скрипа немазаной телеги, то и тогда возвращение к *этой* культуре через посредство *этого* языка было бы для нас совершенно непреодолимой реальной потребностью, от неудовлетворения которой мы реально страдаем, — было бы властной исторической необходимостью. Нас национализирует сама история, и тех, кто ей противится, она тоже рано или поздно повлечет за собою. Но они поплетутся тогда за нею в хвосте, как связанные пленники за колесницей покорителя. Благо тому, кто вовремя поймет ее дух и пойдет в первых рядах ее победоносного течения.

И первым из первых должен пойти тот, в чьей власти душа народа — народный учитель.

1903.

* Лютостанский Ипполит — автор книг, содержащих невежественную клевету на еврейскую религию и культуру.

II

РЕЧЬ В ОБЩЕСТВЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В ОДЕССЕ

Как относиться к идее ассимиляции еврейства? Все зависит от обстоятельств, от эпохи и потребностей, выдвигаемых эпохой. Есть моменты, когда ассимиляция представляется безусловно желательной, когда она есть необходимый этап прогресса. Это можно видеть даже на примере отдельного человека. Представьте себе ребенка с задатками живописца. В будущем, конечно, желательно, чтобы живописец был вполне индивидуален, вполне самобытен в своем творчестве. Но начинать с самобытного творчества нельзя: воспитание художника по необходимости начинается с усвоения чужого опыта, с подражания чужим образцам — словом, с «ассимиляции». Только по завершении этого этапа возможно здоровое развитие своеобразных начал, заложенных в натуре художника. Это самое применимо и к целому народу в тот момент, когда он впервые (или после большого перерыва) выступает на поприще гражданской самостоятельности. Как ни сильны, даже как ни ценны были бы его специфические, индивидуальные, «национальные» отличия, как бы пышно ни предстояло им развиваться в будущем, — начать он должен все-таки с подражания готовым образцам, с копирования, с «ассимиляции». Эту стадию прошел и такой огромный, самостоятельный народ, как русские: было время, когда даже дворянские барышни, вроде пушкинской Татьяны, умели писать только по-французски.

С евреями в России повторилось то же самое. Когда изменившиеся условия жизни вызвали распад патриархального гетто и детям его пришлось вмешаться, волей-неволей, в окружающую сутолоку, им прежде всего необходимо было овладеть тем орудием борьбы за существование, которое называется современной культурой. Это естественным образом заста-

вило нарождавшуюся еврейскую интеллигенцию с жадностью наброситься на языки окружающей среды. При этом ею руководило далеко не стремление порвать с еврейством, а напротив — в основе тогдашнего «ассимиляционного» течения лежали ясные и определенные побуждения национального интереса. Яркий памятник того настроения нарисован Левандой в романе «Горячее время». Герой этого романа — «просветитель», действующий в Вильне, в эпоху непосредственно перед 1863 годом, когда на Литве начиналась борьба двух культур — русской и польской. Свой выбор он останавливает на первой, не из внутренних симпатий (обе ему чужды), а из холодного расчета: этот шаг, по его мнению, более соответствует интересам еврейства, как третьей нации, очутившейся между двух станом. Правильно ли решил герой Леванды этот вопрос или нет — дело не в том; но важно установить, что ассимиляция в ту эпоху была и объективно, и в глазах ее деятелей не отречением от еврейского народа, а напротив — первым шагом еврейской национальной самостоятельности, первой ступенью к обновлению и возрождению нации.

В эту эпоху возникло общество распространения просвещения. Заслуги его пред еврейством огромны — именно потому, что создатели его поняли основную нужду эпохи и пришли ей на помощь. Основной нуждой эпохи было — открыть еврею доступ к европейской культуре, внушить ему любовь и интерес к этой культуре. Это и стало задачей общества. Никакой другой задачи у него тогда и быть не могло. Смешно было бы в то время (общество учреждено было в 60-х годах) потребовать, чтобы оно «насаждало» еврейскую культуру: еврейская культура тогда и без того насаждалась, хотя нерационально, хотя наперекор всем правилам педагогики и даже гигиены, но в таком обильном количестве, что не нуждалась ни в каких поощрениях извне. Наоборот, к европейской культуре и ее ближайшему проводнику — русс-

кому языку — существовало еще пренебрежительное и враждебное отношение, и приходилось с великим трудом добиваться, чтобы рядом с национальными элементами воспитания уделялось хоть какое-нибудь место общеобразовательным предметам. Такова была эпоха, такова была ее нужда, и такова должна была быть ее основная идея, воплотившаяся в «обществе просвещения».

Но с тех пор прошло полвека, и многое, слишком многое резко изменилось как вне, так и внутри еврейства. Главным образом внутри. Если взять верхний и даже средний слой теперешнего русского еврейства и сравнить его с поколением шестидесятых годов, нам представится картина совершенно обратная. Смешно теперь «насаждать» жажду к просвещению: она у евреев так сильна, напор в гимназию, в университет, в институты так ретив, что в этом отношении никакие «общества» ничего прибавить не могут. Русский язык распространен так основательно, что черта оседлости считается одним из лучших районов русского книжного сбыта. Публичные библиотеки, лекции, театры посещаются евреями с беспримерным рвением. При этих условиях делать и дальше из идеи «просвещения» боевой лозунг значило бы ломиться в открытую дверь. Если что теперь нуждается в заботливом «насаждении», то это, в силу диалектической игры судеб, *еврейская* культура, *еврейские* начала в воспитании подрастающих поколений. Ибо от этих начал остались одни лохмотья.

Доказывать, что это правда, что национальный элемент воспитания у высших и средних классов еврейства давно уже в загоне, — значило бы тоже ломиться в открытую дверь. Кто не знает, кто не видит? И не со вчерашнего дня это началось. Поэт Гордон, один из лучших деятелей просветительной эпохи, еще в 1862 г. воспевавший — на языке библии — преимущества русского языка, уже в начале 70-х гг. с горестным разочарованием заметил, что его последователи и ученики в своем усердии забежали слишком

далеко. «Братья мои, просветители, стали пренебрегать старой матерью, — написал он тогда в стихотворении «Для кого я тружусь?», — они провозглашают: покиньте этот дряхлый язык, и пусть каждый сольется с наречием своей страны... А сыновья наши? Они с детства становятся нам чужды. Вот они подвигаются вперед, с каждым годом, и кто знает предел? и кто знает доколе? Быть может, до черты, откуда нет возврата»... Так на глазах еще у первых поколений «просветителей» совершилась метаморфоза: первоначальная идея — усвоить чужое, чтобы затем с новой силой развивать свое — выродилась в стремление ликвидировать свое и бесследно раствориться в чужом; ассимиляция из фактора национального прогресса стала фактором национального распада. А ведь со дня, когда вождь того поколения «просветителей» написал эти горькие слова разочарования, прошло 40 лет, и процесс распада проник еще гораздо глубже. И должно же, наконец, еврейство дать себе отчет: желает или не желает оно продолжать линию распада?

«Сыновья наши с каждым днем уходят — быть может, к той черте, откуда нет возврата»... Горькое пророчество давно стало правдой. На еврейской ниве почти не осталось интеллигентных работников: наша интеллигенция в громадном большинстве ушла. Можно различным образом понимать нужду еврейского народа, различным образом представлять себе идеал его будущности, начиная с сионизма и кончая полной денационализацией; но и для первой, и для последней цели надо, прежде всего, *работать* с народом и для народа. Прежде так понимали свою задачу и ассимиляторы: они жили с народом, волновались его заботами, трудились для него и, проповедуя свой идеал, все же стояли обеими ногами на реальной почве еврейства. А теперешние — просто уходят в сторону, просто бросают на произвол судьбы: пропадите, мол, сами, как знаете. И масса, покинутая в своем тупике, в лабиринте своего бедствия, бьется.

мечется и не видит исхода; ей нужны просвещенные вожди, так нужны, так необходимы, как никакому другому народу на свете, — а между тем ее просвещенные дети служат всем народам на свете, только не ей. Нет работников ни для какого еврейского дела, от большого до самого малого, старые устают и сходят со сцены, а новых не видно. И мы знаем стариков, поседевших на службе ассимиляции, которые со скорбным недоумением смотрят на эту надвигающуюся пустоту и горько спрашивают себя: — Для *этого* мы работали? Для того, чтобы из ассимиляции родился индифферентизм?!

Думаю, что на этот горький вопрос правда жизни откликнется горьким ответом: да, вы для этого работали. Ибо для того, чтобы из подрастающих поколений выходили работники для еврейства, надо преданность еврейству положить в центр и основу их воспитания. Окружающий мир слишком прекрасен, приволен и богат по сравнению с неприглядностью и белностью еврейского существования; и для того, чтобы эта красота не сманила человека, не соблазнила его отвернуться от родной лачуги, нужно развить в его душе прочные, нерасторжимые идеальные связи. Этих связей не создать одними словесами. Чтобы сковать такие связи, надо распахнуть пред подрастающим поколением все то великое и красивое, что есть в еврейской сокровищнице, ввести в нее, провести по всем ее углам, растолковать ценность каждой жемчужины, научить дорожить и гордиться. Красоте, манящей извне, надо противопоставить собственную красоту, чтобы не выпускать на житейскую улицу санкюлотов, убежденных в нищете и никчемности своего народа и спасающихся, куда глаза глядят. Углубление в национальные ценности еврейства должно стать главным, основным, преобладающим элементом еврейского воспитания. Это необходимо не для того, чтобы потешить националистов. Это необходимо для того, чтобы удержать на еврейской ниве ее разбегающихся пахарей, чтобы еврейская

масса не осталась без руководителей, еврейское дело без работников, «народ Книги» — страшная ирония судьбы — без интеллигенции!

«Уходят за черту, откуда нет возврата»... Почему уходят? Почему уходят, особенно в последнее время, такими густыми массами, с такой циничной легкостью, без намека на колебания, на сожаления, выбрасывая балласт еврейства, словно ненужный песок, по первому требованию невзгоды? Почему? Кто виноват? Кто довел до этой черты?.. Мне пришлось недавно писать об этом новом «бытовом явлении» еврейской современности, и после того я получил несколько писем от молодых людей, перешагнувших туда, «откуда нет возврата». Письма были разные, были и грубые, и циничные, и грустные, но во всех, без исключения, на первом плане стоял один и тот же довод: что нам еврейство? Мы о нем ничего не знаем, нас никто не учил понимать и любить его; ничего удивительного, если мы ушли. — И они совершенно правы. Ничего удивительного. Что мы посеяли, то и пожали...

1910.

В ТРАУРНЫЕ ДНИ

... Вот уже сколько прошло погромов, а я никак не могу себя пропитать внутренним интересом к событиям этого рода. Конечно, я не умаляю их разрушительной силы, не обесцениваю человеческого горя, что они приносят, но внутреннего интереса не могу в себе вызвать. Как я ни стараюсь себя расшевелить, мне все кажется, что над нами совершается большая кровавая бессмыслица, по поводу которой можно плакать, кто еще не разучился, но не стоит и не о чем

размышлять. Я писал об этом недавно — в погромах есть ведра крови и пуды человеческого мяса, но нет в них для еврейского сознания того сокрытого урока — *mussar Elohim*, который возвысил бы их до степени трагедии. В трагедии обязательно должна содержаться некая неведомая правда, новое слово, которое познается в этих муках и открывает народу новые пути. А что и кому из нас открыли эти погромы, кого из нас и чему могли научить? Только кишиневская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость. Но остальные погромы свелись просто к огромной, животной и бессмысленной уголовщине — больше ничего.

Мы истекаем кровью и не знаем, во имя чего и какие выводы сделать из наших страданий. В октябре 1905 г. нас громили разные слои русского общества и народа, но мы и раньше знали, что мы окружены врагами; к этому знанию ни октябрь, ни Белосток ничего не прибавили. В Седлеце нас громили официально, по-видимому без участия общественных элементов, — но ведь даже хасиды Седлеца давно знают цену пану уряднику. Так меняется обстановка погромов, список участников и форма ран, но по существу остается одно и то же — остается вещь слово Бялика: «нет смысла в вашей смерти»...

Когда мне рассказывают подробности погромов, мое внимание помимо воли отрывается и ускользает на другие пути. Мне хочется уяснить себе вопрос: хорошо, допустим, что я дослушаю до конца и буду знать, где, как и кого они убили, но ведь не в этом дело, а вот как быть дальше, что можно сделать против погромов?

Самооборона — вряд ли об этом можно говорить серьезно. Она не принесла нам в итоге никакой пользы; вначале страх перед нею действительно предотвратил несколько погромов, но теперь, когда *те* ее испытали на деле и сравнили количество убитых евреев и погромщиков, кто с ней считается?

Итоги самообороны надо подводить по общим результатам, и эти итоги ясно говорят: когда *им* угодно, они устраивают погром и убивают столько евреев, сколько им нужно, а самооборона тут ни при чем. Конечно, в самообороне есть утешение. Но ее практический итог равен нулю и нулем останется, и пора спокойно признать это вслух, чтобы люди даром не надеялись.

Некоторые господа в последнее время придумали новое средство — антипогромную пропаганду. Одна моя знакомая девочка уверяет, что белок ловят очень просто: надо к ней подойти на полшага расстояния и насыпать ей соли на хвост, и готово — белка в плену. Я всегда об этом вспоминаю, когда мне говорят об антипогромной агитации. Старая песня, давно знакомая иллюзия — эти люди будут печатать статьи и брошюры, устраивать лекции, и они думают, что русские станут их читать или слушать. Еще бы, держите карман. Я помню жалкий восторг евреев, когда в 1905 г. в «Сыне Отечества» появилась большая и скверная статья «Трагедия шестимиллионного народа». Им казалось, что вся Россия читает и умиляется. А на самом деле только евреи одни и расхватали этот знаменитый номер газеты, памятник нашей глупости, и на русских она никакого впечатления не произвела просто потому, что у каждого есть свои заботы и ему не до чужих, особенно в наше время. Еще ярче выказалась наша глупость, когда после октября в Петербурге устроили от имени союза союзов «русский» митинг протеста и приложили все старания, чтобы евреи сидели дома, а русские пришли; оказалось, конечно, что русские остались дома, а ораторам пришлось ломать комедию перед сплошной еврейской публикой, призывая ее протестовать от благородного русского сердца. И это вполне понятно — русские не пришли вовсе не по злобе, а из самого законного равнодушия, потому что каждый человек, в особенности серьезный и дельный человек, естественно уделяет

внимание *своим* насущным интересам и не обязан его уделять интересам других.

Я знаю, теперь эта идея многих увлекает, и образовались даже нарочитые книгоиздательства для печатания классических апологий, над которыми сами евреи зевают, а неевреям, без сомнения, даже и зевать не приходится. Образовались также в разных местах досужие комиссии, которые рассылают такую словесность направо и налево, по случайным адресам, или даже при газетах... Сыпьте, сыпьте белке соль на хвост! Получит еврей брошюрку — позевает, но прочтет; получит русский — посмотрит: а, это про евреев? — и отложит в сторону. У него своих хлопот довольно. Что, — он, по-вашему, обязан досконально знать и про армян, и про чукчей?

Все эти верующие господа думают, что если русская масса охотно читает юдофобскую литературу, она столь же охотно будет читать и юдофильскую. Большая и наивная ошибка. Прежде всего надо помнить о тех элементах, которые в данном случае стоят на первом плане — о черной сотне в простейшем смысле, которая хочет погрома ради грабежа и обещанной мзды: им не нужна даже погромная литература, а пронять их еще антипогромной проповедью — ведь это была бы совсем уж глупая мечта. Наши проповедники, несомненно, имеют в виду другую часть массы — среднюю, обывательски-честную, ту самую, которую действительно почти так же легко будет в надлежащую минуту послать на баррикады, как и на погром. Но эта масса и есть именно та, которая психологически не может заняться чтением брошюр о еврейских добродетелях. Погромную брошюру она жадно читает по той самой причине, почему она жадно читает и летучий листок революционеров — если он, конечно, изложен понятным языком: здесь ей говорят о причинах *ее* собственных страданий, указывают ей средства к облегчению *ее* собственных бед. Разница только в том, что погромная брошюра во всем винит жида, революционный

листок — урядника, но и здесь, и там ей прежде всего говорят не о жидях и не об урядниках, а о *ней* самой, об *ее* кровных интересах. Совершенно другое дело — антипогромная литература. В самом ее назначении коренится абсолютная невозможность ее успеха: она вся посвящена доказательству именно того, что к страданиям русской массы жид нисколько не причастен, что не он виноват, не в нем причина — словом, что ей, русской массе, от еврея ни тепло, ни холодно... Но тогда с какой же стати будет она тратить время на чтение о том, от чего ей ни тепло, ни холодно? Массовому человеку чтение дается нелегко: он не умеет «пробегать» строки, он вчитывается и вникает. И именно поэтому он берет в руки только ту книжку, о которой ему доподлинно известно, что тут — верно или неверно, другой вопрос — объяснены причины его нужды и горя. Не может он, органически не может и по совести даже не обязан интересоваться какими-то евреями, как таковыми. С того самого момента, как они перестают быть причиной его бед, они для него теряют всякий интерес. Сказать ему, что в этой брошюре доказывается невинность евреев, значит сказать ему, что эта брошюра до него не касается. Русская масса глотает и будет глотать погромную литературу, потому что это литература о ней, и не будет читать антипогромных брошюр, потому что это литература о евреях.

Моя знакомая девочка очень наивная девочка. Она не соображает, что прежде чем насыпать белке соли на хвост, надо подойти к белке, а в этом и вся загвоздка.

...Я прекрасно понимаю те добрые побуждения, которые заставляют разных господ измышлять все эти проекты спасения, но ничего из этого не выйдет. Спасения нет. Не злая воля подстрекателей, не темнота народной толпы, но сама объективная сила вещей, имя которой чужбина, обратилась ныне против нашего народа, и мы бессильны и беспомощны. Молодежь наша будет честно защищаться, но лавина

разгрома с хохотом погребет эти хрупкие дружины и даже не замедлит своего хода. Кратеры голуса разверзлись, буря сорвалась с цепи, и чужбина сотворит над нами все, что ей будет угодно. Вы будете корчиться от бешенства и подымать яркие знамена борьбы, вы напряжете все силы духа, чтобы найти тропинку спасения, и сами себе поверите на миг, будто нашли ее, — но я не верю и гнушаюсь утешать себя сказками, и говорю вам со спокойным холодом в каждом атоме моего существа: нет спасения, вы в чужой земле, и до конца свершится над вами воля чужбины!

Один еврей-журналист воспользовался недавно Белостоком, чтобы сунуть мне в душу свои пальцы и пощупать там, какова моя «погромная философия». И нашел, что я равнодушен к еврейскому горю. Я ему не ответил — я слишком хорошо понимаю настроение людей этого типа, чтобы гневаться на них за несправедливость или обиду. Здесь было повторение старой еврейской истории — человек отдал лучшие соки своей жизни на то, чтобы распахать чужую ниву, и в последнюю минуту хозяева убили его братьев и трупами их удобрили свое поле; и человек пошатнулся от оскорбления, и судорожно хватается за соломинки, и злится на всех людей за каждое слово правды, и хочет непременно что-то такое кропотливо и мелочно доказать или опровергнуть — даже нельзя понять, что именно. Я не стал ему отвечать, да и нечего мне было ему ответить: у меня нет никакой погромной философии...

У меня нет погромной философии. Я не из тех, которым она необходима, чтоб было чем заштопать прорехи, было за что ухватиться, когда чужой ураган опрокинет их вместе с их истуканами. Я ничему не учусь на погромах нашего народа, и ничего мне сказать не могут они такого, чего бы я раньше не знал. И я не ищу понапрасну лекарственной травы против отдельных нарывов голуса, потому что я в нее не верю. У меня нет ни погромной философии, ни погром-

ной медицины. Я люблю мой народ и Палестину: это моя вера, это ремесло моей жизни, и ничего мне на свете больше не нужно. И когда разражается гром и рабские души мечутся с жалобным воем и ищут пластыря для скорой помощи, я стискиваю зубы, собираю мои силы и делаю дальше работу моего ремесла. Я хочу торговать шекелями среди погрома, я клею голубую марку на список убитых: в этом моя гордость. Вы сунули пальцы в мою душу и не нащупали в ней ничего, кроме равнодушия — видно, толстая кожа стала на ваших пальцах от чуждой работы. Но что бы ни творилось у меня на душе, — никогда не приду я на страшное пожарище моего народа с заплаканным носовым платком в руках, и ни его, ни себя не оскверню надругательством жалких утешений. У меня нет лекарств от погрома — у меня есть моя вера и мое ремесло; не из погромов я вынес эту веру, и не ради погрома я оставлю даже на час это ремесло. Вера моя говорит, что пробьет день, когда мой народ будет велик и независим, и Палестина будет сверкать всеми лучами своей радужной природы от его сыновнего рабочего пота. Ремесло мое — ремесло одного из каменщиков на постройке нового храма для моего самодержавного Бога, имя которому еврейский народ. Когда молния режет насквозь черное небо чужбины, я велю моему сердцу не биться и глазам не глядеть: я беру и кладу очередной кирпич, и в этом мой единственный отклик на грохот разрушения.

1906.

ЕВРЕЙСКАЯ КРАМОЛА

Наше движение пробивает себе дорогу в атмосфере непонимания и клеветы. Кто близко видел

жизнь разных партий и следил за их враждою, знает, что ни против одной из них не пущено в ход столько ненависти, сколько против нас. Сделано все, чтобы нас изолировать. Свежий человек из среднего круга, примкнувший к нашему лагерю, замечает, как понемногу от него ускользают старые связи, падает общественное признание, вместо уважения в глазах окружающих мелькают искорки пренебрежительного недоумения. С поражающей быстротой создается вокруг него — за пределами партийной жизни — холод одиночества.

В этом нет ничего странного. Так было и всегда будет. Когда на улице праздник, люди требуют, чтобы все были в брачных одеждах; среди еврейской интеллигенции до сих пор еще держится вера, что праздник относится и к нашей улице; и когда между ними проходит человек с траурной повязкой на руке и с кличем: «не верьте!» — они раздраженно отворачиваются. Это вполне естественно, роптать против этого бесполезно. Навстречу недружелюбию, навстречу злобе и клевете надо нести нашу горькую правду без прикрас и без смягчений.

Я хочу начать сегодня с самого горького зерна этой горькой правды, и не только потому, что оно горше всех остальных, но еще больше потому, что в этом вопросе главный корень упрямой ненависти, которой окружено наше движение. Флаг надо поднимать сразу над тем местом, куда направлен самый жестокий натиск противника. Это — вопрос о еврейской роли в русских событиях.

Почти уже десять лет, как люди нашего лагеря ведут настойчивую проповедь осторожного и сдержанного отношения к этой роли. Может быть, эта проповедь была ошибкой с их стороны, потому что она тактически много нам повредила, а практически не принесла результата: все, в ком только было достаточно задору, все побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю. Раз оно так случилось, значит и не могло быть иначе, и наша

проповедь осуждена была на бесплодие, и было бы расчетливее совсем не тратить нашей силы на этот спор. В *этом* смысле мы, быть может, сделали действительно ошибку, но только в *этом*. Есть и другой смысл — смысл исторической правды, которая не всегда вовремя проникает в сознание людей, но всегда остается правдой. Эта правда была за нами. И теперь, когда накоплен еврейством России неслыханный, чудовищно-богатый опыт, когда пережито все, что можно было пережить на быстром пути между верхом восторга и пропастью отчаяния, теперь мы подводим итог и спрашиваем: кто был прав?

Нам до сих пор стараются втолковать, что дело России есть общее дело, как будто против этого кто-нибудь спорил. Суть спора в том, что на общее дело надо и расходовать сообща, а сообща значит пропорционально. Затраты каждой общественной группы должны быть точно соразмерены и с ее интересами, и с ее силами. Больше должен тратить на общее дело тот, кто получит бóльшую выгоду от его осуществления; больше должен тратить тот, у кого силы и средств больше. Пропорциональное представительство в революции! — Наша еврейская затрата на дело обновления России не была соразмерна ни с нашими интересами, ни с нашим значением, ни с нашими силами. Даже в моменты наибольшего опьянения надеждами не было в рядах еврейской армии ни одного глупца настолько бессовестного, чтобы ждать от успеха борьбы полного ответа на еврейский вопрос, — ни одного, кто в глубине души не понимал бы, что в обновленной России нам придется жить с теми же соседями, а психология соседей в этом отношении еще нигде и никогда не перерождалась от политической реформы, и суть неравенства не меняется от замены казенного гнета общественным непризнанием. Это все понимали. Все понимали, что нам обновление России даст меньше, непомерно меньше, — и все же мы заплатили больше, непомерно, безумно больше того, что могли заплатить, и того, что стоило

заплатить. В течение пятнадцати лет мы собственной волей систематически вносили на алтарь общего дела удешевленную живую подать. — а когда вошел посев, судьба взыскала с нас уже помимо нашей воли неслыханную доплату... Кто же был прав? Или все это теперь окупится? Или не разумнее было бы для раздавленного и опустошенного племени уступить переднее место в бою сильнейшим? И если даже поверить, что от этого, по чужой косности, ход событий растянулся бы на более долгие годы. — кто решится сказать, что не лучше было бы для нашего народа встретить обновление позже, но не за такую цену?

Наши политические плясуны в ответ на все это кричат о психологии лавочника, о мелочных расчетах, достойных мещанской глуши. Да. Над народным достоянием и благом честный человек должен стоять на страже скупой и расчетливой, как лавочник над своею кровной кассой. Семь раз отмерь и один раз отрежь — это правило мещанина, но политическая партия совершает низкое и нечестное дело, если она хоть на мгновение забывает об этом правиле. Звать массу на трудный подвиг, не взвесив раньше до золотника, во что это ей обойдется, не разорит ли ее непомерное бремя и стоит ли вся игра свеч, — это значит быть в худшем случае предателем, в лучшем случае болтуном. — Но тут есть и другая сторона расчета. Наши затраты не окупятся для нас, но окупятся ли они хоть для общего дела? Правда ли то, что еврейская энергия облегчила и ускорила восход русской свободы?

За каждым из нас должно быть признано право, на исходе определенного периода истории, в такие дни затишья, как нынешние, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то дурное, что произошло от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать. Попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо, без всяких апелляций к чувству. Речь идет о

подсчете, об итоге, и я хочу действовать, как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель — получить, насколько это в его силах, правильный баланс.

Хотя же представление так формулирует роль, сыгранную в освободительном движении евреями:

Революции не было. Надо было вызвать ее. И это взяли на себя евреи. Они — легко воспламеняющийся материал, они — грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России. И так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным на белом и считается большой истиной. Но я, счетовод, над этой затратой еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумьи и не знаю, окупилась и окупится ли она.

О, бесспорно, это заманчивая задача: быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 150-миллионном народе, поднять красное знамя на Литве так высоко, чтоб увидел и Тамбов, и Саратов, и Кострома, — чтоб увидели и сказали друг другу: «Пойдем за ним». И, конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело от еврейских революционеров: знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы?

Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю, и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны, Кострома, бесспорно, вводилась в искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызывать у нее, Костромы, соблазнительной мысли: значит, можно и у нас попробовать тем же манером? — В то же время отдельные евреи добивались и до самой Костромы и лично старались там претворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело, конечно, к пробуждению политического сознания. Но... А с другой стороны?

Я вспоминаю потемкинские дни в одесском порту. Огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что через несколько часов она же будет лизать ликер с булыжника мостовой и жечь пакгаузы. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычайно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все, что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец, с открытым славянским лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собой штурмом на город. И ораторов, действительно, слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» — с большими круглыми глазами, в большими ушами и нечистым *p*. И в толпе всякий раз, со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? — Именно замечание, а не возглас, не окрик; в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы — это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, чтобы оратор был *свой* от головы до ног, чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей повадки его веяло родным — деревней, степью, Русью.

Тут были ведь не спротагандированные люди, которых можно взять резонами, — тут была масса, неподготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу, надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа, нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не покоробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь этого сродства не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но

без увлечения; чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль: жида пошли — ну, значит, все это, видимо, их только, жидов, и касается. Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз о нем главным образом радеют чужие. И больше ничего. Да и этого было довольно: расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награбленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город, оставив порт и босячество на волю судьбы.

Я далек от того, чтобы медленный рост политического сознания в русских массах объяснять всецело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь в одном: подымать народную новь может только свой. У чужого — если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются, — у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака и особенно чужаков, если их много, и инстинктивно сторонится.

А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девяносто и кричат народу: берегись, это еврейское дело! И народ им верит, или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине. Когда невоготу становились страдания русского народа, и вот-вот готов был прорваться его гнев, — кто сосчитает, сколько раз в такие моменты реакция спасала себя искусной игрою на этой слабой струнке стихийного существа — на недоверии к революции, предводимой инородцами?

Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры нисколько не ответственны за то, как освещала реакция их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты. И говорю, что если с одной стороны еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то с другой стороны преизобилие евреев в рядах крамолы давало реакции ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отри-

цать это значило бы лгать самим себе. И пусть не думают, что это был слабый или недействительный фактор затемнения! В 1863 году реакция сыграла такую же спекуляцию на польском повстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне.

И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России, но он же способствовал и затемнению этого сознания. Он давал топливо для революции и пищу для реакции. Что же было сильнее: первое или второе? Иными словами: ускорила или замедлила еврейская крамола наступление всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков, и женщин, и детей, которой нас заставили заплатить, под ножами предателей, за крушение старого строя? Не выгодней ли было для народа подождать еще несколько лет — ведь и без евреев, наконец, не погибла бы Россия, — но дешевле заплатить за свободу?

Пусть, положа руку на сердце, отвечает, кто может, — я не могу, потому что не знаю ответа.

Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась «по собственной воле еврейского народа», и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовнею все модные фразы о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров — значит, такова была

атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так, я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию.

Но на пользу ли народу пошла эта революция? Не знаю. Воля народа не во всякий отдельный момент ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет, — а на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит...

Только там, где на себя самого и ни на кого больше не должен рассчитывать народ, — только там воля народа всегда ко благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги: мы строили и скрепляли народное единство, и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное неверие в чужую помощь, и скажут: благо тем, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства.

Мы — партия национального зодчества — никогда не хотели играть вслепую, и в этом вся разница между нами и другими. Мы всегда знали, что работа на поле, где не мы хозяева, есть игра с завязанными глазами и ничем иным не может быть, и мы протестовали против вовлечения народной массы в эту безумную авантюру. И теперь, после новых и решающих опытов, мы с полным сознанием остаемся на старой позиции. Мы честно и дружно пойдем с освободительным движением, ибо вне свободы немислимо национальное сплочение, но самая сила вещей отвела евреям место во вторых рядах, и мы остаемся первыми шеренгами представителям нации боль-

шинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию *вести*: мы *присоединяемся* — это все, что объективно под силу нашему народу. В этой земле не нам принадлежит созидательная роль, и мы отказываемся от всяких притязаний на творчество чужой истории.

Поле нашего творчества внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в безвестную темноту, на добрую волю союзников, которых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников — или сам за себя, или нет спасения. Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай *свои* силы, измерь *свою* волю, и тогда — или иди за нами, или да свершится над тобою судьба побежденных.

1906

ВАШ НОВЫЙ ГОД

(*Письмо на родину*)

Между Одессой и Петербургом ходит скорый поезд. В полдень ему дают третий звонок на перроне одесского вокзала, а приходит он в столицу на вторые сутки в девять утра; обратно он выходит вечером и прибывает в Одессу около шести часов после обеда. Если вы сосчитаете, то увидите, что по дороге туда он встречает первую полночь около Бердичева, а вторую несколько дальше Двинска; на обратном пути первая полночь у него приблизительно в Луге, а вторая где-то не доезжая Ровно. По обе стороны его полотна расстилается многоземельная, но тесная страна — черта еврейской оседлости.

Я встретил первое января 1904 года в вагоне близ станции Луга. Первое января 1905 года в вагоне за

Двинском. Первое января 1906 года в вагоне около Бердичева. Первое января 1907 года в вагоне где-то не доезжая Ровно. — Я немного устал.

В этот раз я никуда не поехал и никуда не пошел. Люди Вены ждут первой январской полночи на площади у собора св. Стефана, веселятся и шумят; но я никуда не пошел. Я устал, я слишком много шума переслышал за эти четыре года.

У меня горела на столе моя лампа и в печке рдели угольки, у меня был чай, диван, книги, опущенные занавесы и тепло в комнате. Это было, вероятно, то самое, что люди зовут мещанским уютом. Ну, и пусть. Я заработал свое право один раз дожидаться новогодней полночи в ласке домашнего тепла. Иногда надо жить, как все живут. Если носишь постоянно не такие галоши, как у всех, то наконец душа не вытерпит. Перетянутым нервам лучшее лекарство шаблон. И, кроме того, после такой жизни именно шаблон представляет все очарование новизны.

Добрый австрийский Бог понял меня и устроил все как полагается в книжках для хорошего зимнего вечера в укромном уголке: на улице гудел ветер, выла от времени до времени проволока трамвая, а дома было тихо, все ушли, печка не дымила и лампа не коптила, ветчина и масло попались хорошие. Завтра я нахлобучу шапку, подыму воротник и пойду своей дорогой по жесткому ветру, но один вечер можно провести в мягко-нагретой ванне своего собственного, беззлобного, безмятежного эгоизма.

Так я сидел и праздновал сам не знаю что. Люди Вены праздновали свой Новый год; вы отстали от них на тринадцать дней (говоря вообще, для вас это совсем немного) и празднуете свой Новый год на две недели позже. Мне все равно, я люблю все народы на свете и праздники всех народов; когда они ликуют о своих годовщинах и мне случится быть неподалеку, я просто рад тому, что людям весело, и праздную в душе их веселый час — если только нет у меня в тот самый день собственных траурных поминок.

Так я сидел и омывал запыленную душу покоем и воспоминаниями о далеких людях и пробежавших днях, об умирающем годе и обо всей грустной аллее лет, рожденных и ушедших за мою память. Где я в последний раз пил в эту полночь шампанское и желал соседям несбыточных вещей? А, это было у вас, в вашем городе, в то милое наивное время пять лет назад. Помните ли вы, как было все тогда по-другому? Город ваш был тогда веселым и красивым городом, братоубийство еще не обезобразило его улиц и не обратило в пустыри, по которым, озираючись, прошмыгивают редкие тени. Сами вы ждали каждый день чего-то великого и радостного. Как дети перед елкой, вы много суетились и волновались. Внутренний огонь ваш нарастал, что день, то жарче, и не было такой мелочи, для которой у вас не хватило бы пылу и о которой вы не спорили бы с увлечением и страстью. Все вам казалось страшно важным, все играло роль в вашей жизни. Новая книжка толстого журнала была событием. Удачная статья производила впечатление большой политической победы. Не в тон сказанное слово называлось изменой. Пять лет ссылки на поселение считались драконовской жестокостью. Когда по улице проходил актер, художник или писатель, вы толкали друг друга в бок и шептались: смотри, кто идет!

Теперь не то. Захолустный небывальщина, которого легко было удивить, переродился. Не знаю, стал ли он умней и лучше, но он навидался видов — навидался таких вещей, которые, быть может, из десяти поколений одному показывает история. Так же, как это было нетрудно в те времена, трудно теперь овладеть его пресыщенным вниманием, разбудить его исчерпанный энтузиазм, задеть за одну из немногих еще не лопнувших у него струн. Максим Горький мог бы теперь свободно показаться в фойе театра, это не собрало бы толпы. Коренные римляне редко ходят глазеть на нового папу или на приезжего заграничного монарха, они это предоставляют новоселам го-

рода: им самим уже неинтересно, они за тридцать веков видали и царей, и пап куда бóльшего калибра, вообще видали события, пред которыми все величие первосвященников и королей подобно свечке под лучами солнца. На это немного похожа теперь ваша психология. Когда теперь оглядываешься на те еще недавние годы, кажется, что пред тобою детски счастливая молоденькая девушка с ясными глазами, нарядная в своем незатейливом ситцевом платье, и хочется сказать: — Какое простенькое время.

Просто жилось и верилось тогда, и простые пожелания к Новому году делали мы друг другу в невозвратимые вечера юношеских надежд. Я еще помню, чего я пожелал своим соседям в тот последний канун, я им сказал: не пожелаю вам ни счастья, ни здоровья; ничего. У меня для вас нет сегодня пожеланий. Но между нами только что невидимо явился некто новый, годом зовут его люди, и не вам, а ему я хочу принести свое пожелание. Я ему желаю запечатлеть четыре цифры своего имени на вечные времена в памяти России и человечества: я ему желаю свершить великое. Оттого я не пожелаю вам, людям, ни счастья, ни здоровья, ничего. Ибо счастье людей помеха величию года. Чтобы стать великим, он должен перешагнуть через ваше счастье. И сколько бы ни было между вами тех, кому суждено схоронить свое счастье и самую жизнь под стопами победоносного года, и как бы они близки ни были моему сердцу — да свершится.

Я разучился теперь говорить такие слова. Мне все чаще кажется, что я вообще разучился говорить с вами. Если бы я сидел сегодня за вашим столом, я бы не стал пить ваше вино и не сказал бы вам ни одного слова.

Я молчал бы с вами не потому, что не верю больше в «великое». Напротив, я не сомневаюсь в его неизбежности. Но душа моя холодна.

Я молчал бы оттого, что мне чуждо ваше завтра, чужда ваша вера и чужды вы сами. Вы — единствен-

ные на свете, чьих праздников я не делю. Ни одна ваша радость не задевает меня, ваши горести кажутся мне мелкими, ваши надежды жалкими и вся жизнь ваша ничтожною. Когда вы плачете о своих увечьях, мне противно, потому что вы разменяли на полушки большую трагедию. Надо играть ее со стиснутыми зубами, с бледными лицами, сухими глазами: вы ее ведете в тоне плаксивой жалобы, и мне тяжело смотреть на ваше надругательство. Когда же вы радуетесь или надеетесь, непреодолимая волна отворачивания подымается к моему горлу, потому что я вижу, за какие гроши вы продаете свою радость, на какие мелкие крючки можно поймать вашу надежду. Я думал, что вам больше цена.

Оттого одно только мог бы я сказать вам сегодня, будь я сегодня с вами: мне вам нечего желать, потому что мне безразличен ваш завтрашний день. Для меня существует только *мое* завтра, только *моя* заря, в которую верю всем трепетом моего существа, и ничего мне больше не нужно. Не могу я сказать: желаю вам счастья в наступившем году, — это было бы неискренно. Ибо если вам на минуту покажется, будто вы счастливы, я надену траур и приду на ваш праздник, осмею ваше легковерие, вышучу ваши тосты, прокаркаю над вами злую правду и отравлю каждую каплю вашего благодушества. Это единственное, что меня еще связывает с вами: я хочу колоть правдою ваши глаза, опрокидывать ваши карточные домики, тушить ваши волшебные фонари с пестрыми картинками, чтобы вы ясно видели пред собою глухую стену и вокруг себя унылую безнадежность: и сколько станет моей силы, я вам не дам ни на день забыться, я вам не дам тешить себя и мечтать.

Больше мне с вами не о чем говорить: все остальное, чем вы живете, не интересует меня, только насколько могу я сосредоточить свои мысли на ваших вещах и делах, лишенных для меня всякой ценности, — и это мне с каждым днем становится труднее. С каждым днем растет отдаление между мною и вашим

миром: я уже с трудом различаю, что у вас там копошится, и скоро, может быть, совсем перестану различать.

Я не служу и не хочу служить ничему из всего того, что вам дорого. У вас там есть свои идеалы: я их очень ценю, но в руках у вас они смешны и бесплодны: поэтому я издеваюсь над ними и над вами и буду бороться с ними и с вами, для торжества моей веры, всеми путями и всеми орудиями, во что бы то ни стало.

Я когда-то сильно чувствовал красоту свободного, нерядового человека, «человека без ярлыка», человека без должности на земле, беспристрастного к своим и чужим, идущего путями собственной воли через головы ближних и дальних. Я и теперь в этом вижу красоту. Но за себя я от нее отказался. В моем народе был жестокий, но глубокий обычай: когда женщина отдавалась мужу, она срезала волосы. Как общий обряд, это дико. Но воистину бывает такая степень любви, когда хочется отдать все, даже свою красоту. Может быть, и я бы мог летать по вольной воле, звенеть красивыми песнями и купаться в недорогом треске ваших рукоплесканий. Но не хочу. Я срезал волосы, потому что я люблю мою веру. Я люблю мою веру, в ней я счастлив, как вы никогда не были и не будете счастливы, и ничего мне больше не нужно.

Поздравляйте друг друга с Новым годом, если вам это не надоело. Я не вижу для вас разницы между вчерашним и нынешним днем и не имею для вас ничего, ни доброго, ни худого слова.

Вена, 1 января 1908.

О «ЕВРЕЯХ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

В «Свободных мыслях» была помещена статья г. Чуковского о евреях в русской литературе; потом

появилась на ту же тему статья г. Тана, больше похожая на лирическое письмо, чем на статью. Последнее обстоятельство дает и мне повод высказаться по этому вопросу. Будь это спор, я бы не принял участия в нем... Другое дело обмен личными настроениями, по лирическому примеру г. Тана, и я прошу позволения последовать этому примеру.

Кое в чем наши личные настроения сходны. Меня весьма тронуло, например, что г. Тан пишет всеми буквами черным на белом: «мы, еврей». Это нововведение; насколько знаю, это в русской печати второй случай. Обыкновенно еврейские сотрудники русских газет пишут о евреях не «мы», а «они»; местоимение первого лица приберегается для более эффектных случаев, например: «мы, русские», или «наш брат русак» (я сам читал). Растрогало меня и то, что г. Тан отказывается считаться с пресловутым доводом, будто не следует «в такое время» задавать «такой вопрос». Мы с г. Таном прекрасно знаем, что дело тут не в задевании вопроса, а в упоминании лишней раз слова «еврей», чего многие терпеть не могут: в этом смысле «такое время» было и год, и два, и пять лет, и пятнадцать лет тому назад. Но вслух, конечно, приводятся самые благородные мотивы — что не надо, мол, «играть в руку». Выеденного яйца не стоят эти благородные мотивы. Из-за них не было еврейскому публицисту никакой возможности поговорить с евреями, читающими по-русски, об их делах или об их недостатках — например, о множестве рабских привычек, развившихся в нашей психологии за время обрусения нашей интеллигенции. Эта интеллигенция не читала ни «Восхода», ни древнееврейских и жаргонных газет, а читала больше всего провинциальную прессу черты оседлости — которую, кроме нее, почти никто не читал, в которой, кроме нее, почти никто не писал и которая в общем не печатала ни одного слова о еврейских делах. Порою хотелось рвать на себе волосы от бешенства, и знаете ли, теперь тоже нередко хочется. Лучше бы тысячу раз «сыграть на

руку» черным людям, которые от этого не стали бы чернее, чем так наглухо запереть все пути к среднему еврейскому интеллигенту, чем так упорно приучать его к забвению о себе самом и о долге самокритики, чем так обидно воспитывать в нем унижительное невнимание к себе и своему делу...

По существу предмета наши настроения зато вряд ли совпадают. Обсуждать, хороши или плохи евреи в чужих литературах, я не стану — это было бы уже спором, от которого я отказался. Замечу только, что дело совсем не в том, чувствует ли себя г. Тан. как сам утверждает, неразрывно привязанным к русской литературе или не чувствует. Г. Чуковский отнюдь и не собирался оторвать его или других от русской литературы; он только задал себе вопрос, велика ли польза русской литературе от этих неразрывных привязанностей, и пришел *sine ira et studio* к печальным выводам. Чтобы не прятать даже мимоходом своего мнения, прибавлю, что я с г. Чуковским совершенно согласен; прошу г. Тана не принять это с моей стороны за щелчок по его адресу — я его, г. Тана, кроме газетных статей, право, не читал и судить не могу; но вообще нахожу, что евреи пока ничего не дали русской литературе, а дадут ли много впредь — не ведаю. Однако не сомневаюсь, что против г. Чуковского был уже в печати, как водится, выдвинут длинный список «еврейских замечательных людей», блистательное доказательство наших великих заслуг перед отечеством и человечеством. «Рассвет» остроумно заметил, что в этих случаях докапываются чуть ли не до девиц, окончивших гимназию с золотой медалью. Таковых, слава Б-гу, немало, и честь Израиля нетрудно спасти, ибо мы люди маленькие и малым довольны. Заграницей наши онемеченные или офранцузенные братья чувствуют себя на вершинах радости, когда кого-нибудь из них в кои веки примут в высшем туземном обществе; они делают важные лица и говорят многозначительно: ого! А у нас однажды г. Горнфельд, я помню, печатно выразил свой

восторг по поводу того, что «в одном рассказе Елпатьевского больше интереса к евреям, чем во всех сочинениях Успенского», — из чего явствует прогресс гуманности и благого просвещения. После этого почему же не удовлетвориться гордым сознанием, что нашего такого-то печатают в лучших журналах — так сказать, принимают в высшем туземном обществе? При малом честолюбии и на запятках уютно...

Если г. Тану или другим уютно в русской литературе, то вольному воля. Я, например, не только не стал бы их манить назад, но даже не выражу сомнения, точно ли так им уютно, как они рассказывают. Напротив, признаю и не сомневаюсь. Но я это иначе объясняю, иначе освещаю. Г. Тан объясняет свои родственные чувства к русской литературе, между прочим, и тем, что деды его захватили жаргон, проходя через Ахен, а ему, г. Тану, какое дело до Ахена? Это резон, но я советовал бы г. Тану употреблять его пореже и с осторожностью; ибо мы на своем пути прошли не только через Ахен, но и через Вильну, Киев, Одессу, отчасти через Петербург и Москву, и если мы начнем так небрежно отмахиваться от попутных городов, то нам с г. Таном могут со стороны предъявить вопрос: — Что это такое? *Cuius regio, eius religio*? Где переночевали, там и присягнули, а выйдя вон — наплевали? Эх, вы, патриоты каждого полустанка...

Я бы лично этого окрика не хотел, и потому предпочитаю не плевать на Ахен и не лобызать торцов Петербурга. Свои гражданские обязанности несущ там, где я приписан и ем хлеб, и несущ их корректно; в сердце же к себе я чужих людей не пускаю; в том, какой я город люблю и к какому городу равнодушен, никому давать отчета не желаю, и принципиально демонстрирую совершенно одинаковое благорасположение к Ахену и Москве. Будь у меня всамделишный свой город, я бы тогда стал говорить о любви; и это, быть может, была бы такая любовь, какую сорок ты-

сяч людей на запятках любить не в силах. Но при нынешнем моем положении воздаю кесарево кесареву, а божию держу про себя. Исповедую лояльный космополитизм, и ни на сантиметр больше.

Самый же вопрос о жаргоне я беру не с точки зрения Ахена, да и вопрос о том, в какую литературу идти еврейскому писателю, беру не с точки зрения жаргона. С жаргоном я считаюсь потому, что на нем фактически говорит народ, и, следовательно, для того, чтобы работать в народе и с народом, надо работать и на жаргоне. Это ясно, как дважды два четыре, и совершенно при этом не важно, где, когда и из чьих рук мы выбрали это наречие. Но вопросом о языке еще не решается вопрос о том, куда идти, в какую литературу. Часть евреев (по переписи 1897 года три процента, теперь должно быть больше) вырастает, не владея жаргоном, и некоторым из этого числа очень трудно потом овладеть. Это большая помеха для работы в еврейском переулке, это заставляет писать по-русски, но писать по-русски еще само по себе не значит уйти из еврейской литературы.

В наше сложное время «национальность» литературного произведения далеко еще не определяется языком, на котором оно написано. Это ясно в особенности по отношению к публицистике. «Рассвет» издается на русском языке, но ведь никто не отнесет его к русской печати. Так же точно к еврейской, а не к русской литературе относятся наши бытописатели О. Рабинович и Бен-Ами, или поэт Фруг, хотя их произведения написаны по-русски. Решающим моментом является тут не язык, и с другой стороны даже не происхождение автора, и даже не сюжет: решающим моментом является *настроение* автора — для кого он пишет, к кому обращается, чьи духовные запросы имеет в виду, создавая свое произведение. Шутник может спросить, не относится ли в таком случае погромная прокламация «К жидам г. Гомеля» тоже в вертоград еврейской литературы; но если не оперировать курьезами и брать вопрос серьезно, то

«национальность» литературного произведения в таких спорных случаях устанавливается, так сказать, по адресату. Если пишете для евреев, то много ли, мало ли вас прочтут, но вы остаетесь в пределах или хоть на окраинах еврейской литературы. Можно поэтому не знать жаргона и все-таки не дезертировать, а служить, по мере сил и данных, своему народу, говорить к нему и писать для него. Дело тут не в языке, а в охоте.

Я прекрасно понимаю, что нелегко требовать этой охоты от писателя, знающего по-русски. Он может писать для русской публики, это гораздо заманчивее — и аудитория неизмеримо больше, и жизнь шире, многообразнее, богаче. Искушение слишком велико. Оторваться от этого простора и сосредоточить свои мысли на переживаниях еврейства — это жертва, для некоторых и большая жертва. Из малороссов, одаренных сценическим талантом, большинство пока уходит на велокорусские подмостки, и причина та же: аудитория шире и культурнее, репертуар лучше, общественное признание куда серьезнее... Одного заметного столичного публициста недавно убедили стать во главе органа, посвященного еврейским интересам; и он через месяц ухватился за первый повод и ушел, высказавшись так: — У меня все время было такое чувство, точно я из громадного зала попал в чулан...

Не виню совершенно ни его, ни ему подобных; но с другой стороны нечем тут и гордиться. Человеческая мысль очень лукава и умеет раскрасить в багрец и золото какой угодно поступок; и в этих случаях она подсказывает уходящим из чулана красивые речи о том, что широкое лучше узкого, общечеловеческое (русское называется общечеловеческим) важнее национального, интересы ста миллионов с лишним важнее интересов пяти миллионов и так далее. Но все это пустые слова перед тем фактом, что наш народ остается без интеллигенции и некому направлять его жизнь. Оттого я сказал, что иначе все это

освещаю, в иную меру оцениваю, и могу вам назвать совершенно искренне, в какую именно меру. В грош я это оцениваю, эти раззолоченные узоры на халате дезертира, эти пошлости на тему об узком, широком и общечеловеческом, потому что это неправда. Если человек уходит из чулана в большой зал, значит, он пошел по линии своей выгоды, и больше ничего. Не поймите меня банально, я не говорю о денежной выгоде; но идти по линии своей выгоды значит идти туда, где человеку легче удовлетворить свои аппетиты и запросы, где атмосфера тоньше, среда культурнее, резонанс шире, подмости прочнее и вообще все пышнее и богаче. Только потому они и уходят, и ничего нет в этом возвышенного, ибо всякий средний человек предпочитает Рим деревне и согласен даже быть в Риме сто пятнадцатым, лишь бы ходить по мрамору, а не по деревенской улице. Может быть, в том-то и дело, что только средние люди так рассуждают, и потому Бялик и Перец у нас, а в русской литературе подвизается г. Тан и еще не помню кто; но оттого народу не легче, если у него остаются генералы и нет офицеров, и дезертирство остается дезертирством. Я этим никого не ругаю, я человек трезвый и не вижу в дезертирстве никакого позора, а простой благоразумный расчет: на этом посту мне, интеллигенту, тяжело и тесно, а там мне будет легче и привольнее — вот я и переселяюсь. Вольному воля. Мало что в чулане осталась толпа без вождей и без помощи — ведь никто не обязан быть непременно хорошим товарищем. Счастливой дороги. Но не рядите расчета в принципиальные тряпки, не ссылайтесь на возвышенные соображения, которых не было и не могло быть у людей, что покинули нас в такой неслыханной бездне и перетанцевали на ту сторону к богатому соседу. Нас вы этими притчами не обманете: мы хорошо знаем, в чем дело, знаем, что мы теперь культурно нищи, наша хата безотраднa, в нашем переулке душно, и нечем нам наградить своего поэта; мы знаем себе цену... но и вам тоже!

Опять-таки настаиваю на прежнем: мой набросок получил оттенок беседы с г. Таном, и г. Тан может принять все это на свой счет, а мне бы не хотелось. Ей-богу, я в точности не знаю, перекочевал ли он или нет, говорю не о нем и вообще не о ком-нибудь, а так. Обмениваюсь личными настроениями. И раз это личное настроение, то хочу вам указать еще одну его деталь: *нашу* окаменелую, сгущенную, холодно бешеную решимость удержаться на посту, откуда сбежали другие, и служить еврейскому делу чем уместся, головой и руками и зубами, правдой и неправдой, честью и мезтью, во что бы то ни стало. Вы ушли к богатому соседу — мы повернем спину его красоте и ласке; вы поклонились его ценностям и оставили в запустении нашу каплицу — мы стиснем зубы и крикнем всему миру в лицо из глубины нашего сердца, что один малыш, болтающий по-древнееврейски, нам дороже всего того, чем живут ваши хозяева от Ахена до Москвы. Мы преувеличиваем свою ненависть, чтобы она помогала нашей любви, мы натянем струны до последнего предела, потому что нас мало и нам надо работать каждому за десятерых, потому что вы сбежали и за вами еще другие сбегут по той же дороге. Надо же кому-нибудь оставаться. Когда на той стороне вы как-нибудь вспомните о покинутом родном переулке и на минуту, может быть, слабая боль пройдет по вашему сердцу, — не беспокойтесь и не огорчайтесь, великодушные братья: если не надорвемся, мы постараемся отработать и за вас.

1908.

ЧЕТЫРЕ СТАТЬИ О «ЧИРИКОВСКОМ ИНЦИДЕНТЕ»¹

(1909)

I

ДЕЗЕРТИРЫ И ХОЗЯЕВА

Из всей обстановки любопытного случая, разыгравшегося на чтении новой драмы г. Шолома Аша, и из всех разговоров, которые затем последовали, неопровержимо вытекает одна неприятная правда: что г. Чириков высказал коллективные мысли. Об этих шекотливых предметах наши соседи, по видимому, уже давно шушукуются. Мы найдем, конечно, утешителей, которые станут божиться, по обыкновению, что г-да Чириков и Арабажин совершенно одиноки в своем образе мыслей; при этом случае кстати вспомнить, что г. Чириков не особенно талантлив, и даже его пьесу «Евреи» не пощадят, а г-на Арабажина, который мало известен, и совсем низведут до нуля; и получится, как всегда, что только нули осмеливаются ворчать против евреев, а «лучшая часть интеллигенции неизменно стоит за нас». Что и требовалось доказать. Но неприятная правда все-таки в том, что г. Чириков высказал общие мысли, и это в его лице русская интеллигенция начинает показывать коготки. Насколько талантлив г. Чириков, предоставляю судить тем счастливым, которые читали этого писателя: я, кроме «Евреев», никаких плодов его пера не вкушал. Но если правду говорят, что г. Чириков и по таланту, и по всем другим качествам посредственность, то тем характернее этот выпад.

¹ «Инцидент», наделавший в свое время много шума, заключался в том, что два прогрессивных писателя — г-да Чириков и Арабажин — высказали в одном кружке взгляды, которые потом были в печати истолкованы как протест против наплыва евреев в русскую литературу.

Тут перед нами, очевидно, человек как все, т.е. самый ценный тип для изучения массовой психологии: в свое время, когда надвигалась весна и «все» были добродушно настроены, он от чистого сердца написал юдофильскую пьесу, а теперь, когда «все» начали морщиться, он опять-таки от чистого сердца запротестовал против нашествия кашерных блюд на стол русской литературы. Тогда действовал без умысла и теперь инстинктивно отражает свою среду. И столь же симптоматично выступление г. Арабажина. Большая публика, особенно еврейская, совсем его не знает, и потому надо ей сказать, что это один из тех людей, которые всю жизнь ужасно заботятся, как бы не подмарать и не подмочить свою передовую репутацию. В этой заботе чуть ли не главный момент их политической психологии. В свое время г. Арабажин редактировал «Северный Курьер», выступивший в защиту евреев после скандала с «Контрабандистами». Теперь он, хотя с оговорками, осторожно, кончиком мизинца, поддержал г. Чирикова в том смысле, что вот, действительно, есть и такое мнение, и хотя мое дело сторона, а вы, евреи, все-таки приутихните. «До сих пор вы имели дело только с отбросами общества, теперь будете иметь дело с настоящей русской интеллигенцией», предсказывает г. Арабажин. И будьте уверены — раз г. Арабажин об этом говорит, значит об этом уже *можно* говорить: отлучение от передового лагеря не последует. Люди этой категории выступают только тогда, когда чувствуют за собою молчаливый мандат многих. Конечно, г-да Чириков и Арабажин люди не крупные, но ведь никогда первачи не бывают застрельщиками, и никогда не только генералы, но и вообще большие люди не бегут перед полком, отправляющимся в поход. Впереди бежит, обыкновенно, городское отрочество и вообще элементы менее ценные и зато более подвижные, а настоящая серьезная сила идет сзади, и, быть может, не сейчас.

В данном случае даже очень вероятно, что не

сейчас. Политический момент все-таки неудобен для открытого разрыва между русской передовой интеллигенцией и евреями. Главные органы передовой печати постараются замять всю эту историю (они упорно молчат о ней), а потом и в еврейской среде подымут голос утешители, оправившиеся от ошеломления, и запоют старую песню, что все обстоит благополучно, — старую песню, приниженную, льстивую, неискреннюю, — старую песню, на которую не стоит отвечать, ибо авторы ее лгут и сами знают, что лгут и что никто им не верит. А под шумок этих успокоительных заверений будет делаться тихое, незаметное дело: все те отрасли русской умственной жизни, которые теперь «заполнены» евреями, начнут потихоньку избавляться от этого услужливого, дешевого, но непопулярного элемента. Лозунг «judenrein!» проникнет понемногу и в передовую прессу, и в издательства, и в передовой театр; для этого совсем не потребуется, чтобы во главе учреждений стали антисемиты — напротив, найдутся и еврейские редакторы или антрепренеры, даже некрещенные, которые, считаясь с настроением потребителя, сами позаботятся об уменьшении процента евреев. Создадутся вполне приличные литературные общества, куда евреям будет затруднен доступ, конечно, в самой благородной форме, без подчеркиваний, без явного антисемитизма. Вообще до антисемитизма, в грубом смысле этого слова, у передовой интеллигенции дело еще не скоро дойдет, а просто захочется ей пока побыть наедине с собою, без постоянного еврейского свидетеля, который слишком акклиматизировался, чувствует себя чересчур по-домашнему, во все вмешивается, всюду подает голос...

Что этот процесс вытеснения евреев из последних убежищ некогда неудержимо начнется, можно предсказать без всякой робости. Лично я предсказываю это не только без всякой робости, но и без всякого сожаления. Реальной потери для еврейства тут не предвидится, кроме той, что несколько сот душ из

еврейского умственного пролетариата останутся без заработков. Но что значат несколько сот душ при нашей повальной нищете? А больше ничего, кроме хлеба для нескольких сот душ, эта еврейская эмиграция в русскую литературу, прессу и театр нам не давала. Популяризация наших Игреков и Имяреков не принесла нам никакой пользы, кроме разве той, что расшатала в русской публике предрассудок о поголовной талантливости евреев. Популяризация Шолом-Аша привела только к тому, что он (а за ним и другие жаргонисты) стал писать не для нас, а для них. Да достаточно характерен и тот мелкий факт, что на первую читку новой пьесы г. Ш.Аша приглашаются рецензенты всех русских газет и ни одной души от еврейских изданий. В этом вся писательская психология нашего поэта, пригретого на русском рынке. А меньше всего дала нам эта эмиграция на русский рынок в смысле политическом. Передовые газеты, содержимые на еврейские деньги и переполненные сотрудниками-евреями, до сих пор, несмотря на все наши вопли, игнорируют еврейские нужды и молчат в ответ на юдофобскую травлю. Очевидно, даже при обилии евреев свято соблюдается принцип — не портить русских газет еврейскими темами, и сами еврейские сотрудники и редакторы ничего против этого правила не имеют. Обидно, конечно, если в награду за такое бескорыстное самозабвение им теперь начнут постепенно указывать на дверь. Но что теряет еврейство, если в русской печати не будет этих людей, которые пальцем о палец не ударили в его защиту в эту эпоху неслыханной травли? Ничего не теряет, ни одного заступника, ни одного учителя.

Мы, настаивавшие всегда на концентрации национальных сил, требовавшие, чтобы каждая капля еврейского пота падала на *еврейские* нивы, — мы только со стороны можем следить за развитием этого конфликта между нашими дезертирами и их хозяевами, — со стороны, как зрители, в лучшем случае безучастно, в худшем случае с горькой усмеш-

кой. Щелчок, полученный дезертирами, нас не трогает, и когда он разовьется даже в целый град заушений, — а это будет, — нам тоже останется только пожать плечами, ибо что еврейскому народу в людях, которых высшая гордость была в том, что они, за ничтожными исключениями, махнули на него рукою?

Мы не видим повода горевать. Не видим и повода изумляться. Во всем этом нет для нас ничего нового. Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства, и жизнь доказала нашу правоту. Теперь евреи ринулись делать русскую литературу, прессу и театр, и мы с самого начала с математической точностью предсказывали и на этом поприще крах. Он разыграется не в одну неделю, годы потребуются для того, чтобы передовая русская интеллигенция окончательно отмахнулась от услуг еврейского верноподданного, и много за эти годы горечи наглотается последний; мы наперед знаем все унижительные мытарства, какие ждут его на этой наклонной плоскости, конец которой в сорном ящике, и по человечеству и по кровному братству больно нам за него. Но не нужен он ни нам, ни кому другому на свете, вся его жизнь недоразумение, вся его работа — пустое место, и на все приключения его трагикомедии есть у нас один только отзыв: туда и дорога.

II

АСЕМИТИЗМ

Некоторые органы большой передовой прессы Петербурга решили, очевидно, совсем замолчать случай с г-дами Чириковым и Арабажиным. Это можно было предвидеть заранее. В эпоху ассимиляции немецких евреев кто-то пустил в обращение следующую формулу: лучший способ проявить юдофильство, это — не говорить ни слова ни о евреях, ни об их

противниках. Лучший ли, не знаю, но, несомненно, удобнейший способ. В нравы и традиции русской печати ввела его почтенная и заслуженная московская газета, декан и образец русского прогрессизма. Эта газета выдвинулась в эпоху самой отчаянной травли еврейского племени и стойко молчала в течение 25 лет на сию щекотливую тему: не обмолвилась ни одним звуком ни о евреях, ни об их литературных гонителях. Пример не остался без подражателей, и с тех пор замалчивание считается высшим шиком прогрессивного юдофильства. Такой шик задают теперь «Наша Газета» и «Речь» по поводу чириковского приключения. Как раз в тех кругах, которые весьма близки обоим редакциям, об этом случае говорят очень много, а обе газеты молчат и, несомненно, думают, что у них это выходит очень эффектно и многозначительно: сама, дескать, истина молчит нашими устами!

С последним я вполне согласен и даже попытаюсь разобраться в таинственном содержании этого многозначительного безмолвия. В самом деле, о чем молчит истина устами почтенных органов? Что знаменует их немота в этом случае?

Но тогда надо начать с другой догадки: что знаменует самый случай, каков его общественный смысл? Московские газеты дают бесхитростный и грубоватый ответ: культурный антисемитизм. Кто-то как-то предсказывал, что вместо д-ра Дубровина восстанет у нас когда-нибудь д-р Люэгер, и это будет куда пострашнее; и вот московские газеты полагают, что момент уже близок, и гг. Чириков и Арабажин возвестили скорое пришествие нового д-ра Дубровина, в исправленном и очищенном издании.

Вряд ли оно так. Прежде всего надо заступиться за гг. Чирикова и Арабажина: когда они уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то они оба совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень *distingué* помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в анти-

семиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. Я помню, как одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Надсона. Когда г. Чуковский констатировал тот неопровержимый факт, что евреи, подвизающиеся в русской изящной литературе, ничего стоящего ей не дали, очень недалеко было от того, чтобы и г. Чуковского ославили антисемитом. То же самое теперь с г. Чириковым. Хороши или плохи русские бытовые пьесы последних лет, я судить не берусь; но г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко почувствовать их может только русский, для которого Вишневый Сад есть реальное впечатление детства, а не еврей. Если бы г. Чириков сказал: «а не поляк», никто бы в этом не увидел ничего похожего на полонифобию. Только евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего именно евреи, потому что, в конце концов, создается такое впечатление, будто и самое имя «еврей» есть непечатное слово, которое надо пореже произносить...

Кого особенно несправедливо обижают, это г. Арабажина. Если оставить в стороне его выпады в печати против сионизма, которые не стоят внимания прежде всего потому, что г. Арабажин в этом вопросе не компетентен, то именно он уж совсем ничего греховного не сказал. Он и вообще (судя даже по тем пересказам, против которых он печатно протестует, и тем более по его собственной передаче) не выразил в этом споре никаких собственных взглядов. Он только констатировал, что настроение, звучавшее в словах г. Чирикова, свойственно не одному лишь последнему, а имеет или может иметь сторонников в кругах, прикосновенных к русской литературе и русскому театру. Г. Арабажин сделал даже оговорку, что лично он этого настроения не разделяет, но что

оно все-таки есть, и он считает долгом обратить на это серьезное внимание товарищей-евреев. Может быть, все это было высказано им и г. Чириковым в более мешковатой форме (нельзя же забывать, что спор был в частной товарищеской компании, где половина собравшихся друг с другом на ты), но по существу ничего антисемитского, реакционного и по всем прочим статьям преступного эти нашумевшие речи не содержали. Одно только в них было: *симптоматическое*.

Именно с этим всего неохотнее согласятся юдофилы-замалчиватели. С их точки зрения уж лучше записать гг. Чирикова и Арабажина в список отлученных от прогресса, чем признать, что в речах этих писателей звучал смягченный отголосок некоего общего настроения, пробивающего себе дорогу в среднем кругу передовой русской интеллигенции. Спорить тут невозможно, документальных доказательств не добудешь — наличие такого настроения можно установить пока только на ощупь, и не всякий захочет признаться, что уловил в других или в самом себе нечто подобное. Но если быть искренним, то ведь ни для кого не тайна, что это так. Из всех бесчисленных толков, вызванных чириковским инцидентом, явственно звучал один общий мотив: «это» не новость, об «этом» уже давно и много поговаривают. Есть, конечно, люди, которые в таких случаях нарочно затыкают уши — и не только себе, но и другим, в том числе и заинтересованной стороне: и пойдет эта заинтересованная сторона доверчиво дальше по старому пути, не слыша надвигающегося грома, и потом будет захвачена врасплох. Это считается шиком прогрессивного образа мыслей, и ничего не поделаешь с людьми, которым такая тактика по вкусу. Я и не намерен их переубеждать. Пусть притворяются оглохшими и незрячими. А все-таки назревает какое-то облачко и невнятно доносится далекий, еще слабый, но уже неприветливый гул...

Повторяю — то, что назревает в некотором слое

русской интеллигенции, не есть еще антисемитизм. Антисемитизм очень крепкое слово, а крепкими словами зря не следует играть. Антисемитизм предполагает активную вражду, наступательные намерения. Разовьются ли эти чувства когда-нибудь в русской интеллигенции, предсказать нелегко; но пока до них еще, во всяком случае, далеко. То, чем веет теперь, чем так сильно пахнуло из-за завесы, чуть-чуть приподнятой гг. Чириковым и Арабажиным, то не антисемитизм, а нечто отличное от него, хотя родственное и, быть может, служащее предтечей антисемитизму. — Это *асемитизм*. В России это слово мало известно, зато за границей, где куда лучше знают толк в разных оттенках жидоморства, оно давно в ходу. Это не борьба, не травля, не атака: это — безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разное проявляется. В сфере литературно-художественной, с которой у нас «началось», оно приняло бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше пойдем друг друга.

Если хотите, не вижу в этом еще невнятном веянии ничего нового. Ново только, что об этих вещах начинают говорить: прежде считалось, что «эти вещи» сами собою понятны, вслух о них не болтали и просто осуществляли асемитизм на практике. И не со вчерашнего дня, а искони. Ибо что есть двадцатипятилетнее величавое молчание «Русских Ведомостей»? Что есть теперешнее молчание передовых органов? Вот уже пять лет прошло с кишиневского погрома; за это время Россию наводнили книжками и листками, проповедующими племенную резню, десятки уличных газет разносят по всем углам зажженную паклю ненависти к евреям; чуть ли не вся идеология реакционного движения сводится к этой ненависти, и, казалось бы, уже хоть потому, если не из рыцарс-

кой потребности заступиться за угнетенного, полагалось русской передовой печати бороться против этой пропаганды. Русская передовая печать ничего в этом смысле не сделала. Да простится мне резкое слово: больше вбитых гвоздей я нашел в мертвых глазницах одной из жертв погрома в Белостоке, чем статей об этом погроме в русской передовой печати. Были постановления каких-то съездов, чтобы газеты энергично боролись с юдофобской пропагандой, и тоже не помогло. Не помогло даже изобилие сотрудников-евреев: знаю по горькому опыту, что самое страстное желание поднять голос в защиту своей народности разбивалось, за кулисами даже самых смелых и боевых органов, обо что-то неуловимое и неосязаемое. Много интересного можно было бы рассказать на эту тему... Да к чему? Кто этого не знает? Теперь образовалось несколько издательств для борьбы с антисемитизмом; оставим в стороне вопрос, много ли могут они сделать; но любопытно то, что их руководители очень близко стоят к влиятельной передовой печати и хорошо понимают, что статья в распространенной газете гораздо полезнее брошюры, которая Бог весть еще попадет ли в настоящие руки. И, однако, они вынуждены возиться с этими брошюрами и не смеют мечтать о борьбе с пропагандой погрома через оппозиционную прессу. Почему?

Как-то я прямо задал этот вопрос руководителям одной редакции и выжал после множества уклонений такой ответ: нас читает интеллигенция, а она в таких поучениях не нуждается. Было это в 1906 году. Хорошо. Но теперь у нас 1909 г. Что-то новое начинает прокрадываться в русскую интеллигентскую психологию. Если и правда, что тогда русская интеллигенция была иммунизирована от юдофобских предрасудков, то хватит ли у кого-нибудь отваги ручаться, что иммунитет сохранился и ныне?

О, да, очень многозначительно это безмолвие. Советую очень глубоко вдуматься в него читателям обеих национальностей. Твердой рукой подписыва-

юсь под словами г. Арабажина: здесь есть предостережение и вам, и нам. Предостережение тем более серьезное, что поветрие, первые симптомы которого теперь нас так переполошили, далеко не такая новость на нашей улице, как это может показаться наивному, — ибо зародыши той *асемитической* тенденции, на которую так бесхитростно вслух указали гг. Чириков и Арабажин, давно молчаливо таились во всей тактике русской интеллигенции по одному из самых трагических вопросов российской жизни.

III

МЕДВЕДЬ ИЗ БЕРЛОГИ

«Ныне отпускаеши», могут сказать г-да Чириков и Арабажин: подходит, кажется, момент, когда небо исполнит, наконец, заветное желание этих двух писателей — их оставят в покое. *Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan — der Mohr kann gehen.* Не потому, чтобы инцидент был исчерпан: напротив, инцидент только начинает завариваться по-настоящему, и, если не будет войны или чего-нибудь другого очень сенсационного, не скоро еще уляжется в газетах эта любопытная история. Но дело в том, что г-да Чириков, Арабажин, Аш, другой Аш и вообще все участники той знаменитой беседы вдруг отошли на второй план — их заслонили более крупные фигуры. На сцену выступили г-да Струве и Милюков и, как свойственно крупным фигурам, сразу взяли быка за рога и поставили точку над *i*. Пока перессорившиеся между собой совозлежатели мирной трапезы, отныне бессмертной в летописях еврейского лезертирства, обидчиво препирались на разных языках о том, какое кто слово сказал и какого не сказал, г-да Струве и Милюков просто перешагнули через это скаредное крохокопательство и перенесли вопрос на единственно стоящую почву. Они поняли, что дело совсем не в том, проштрафился или не проштрафился тот или другой маленький человек в ночь на

такое-то число в частной квартире такого-то, — а важно установить только один момент: что́ тут было — случайная шальная пуля, залетевшая неведомо откуда, или первый, пусть и преждевременный, выстрел из сильного и уже недалекого от перехода в боевое настроение лагеря?

Мнение по этому вопросу г. Струве — не новость. В разгаре выборов во вторую Думу он заявил одному интервьюеру, что настоящий антисемитизм — интеллигентский — еще впереди. Было это напечатано в газете «Русь» и, конечно, не удостоилось ни перепечатки, ни комментария в других передовых органах. Теперь г. Струве иными словами повторяет ту же мысль. Скрывать русское «национальное лицо» — «безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть». А в чем оно состоит? Это — не раса, не цвет кожи и т.д., это есть «нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это — духовные притяжения и отталкивания... Они живут и трепещут в душе». И в том числе — «сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях (!) русского населения фактически очень велика». Конечно, в области государственной с этими «отталкиваниями» считаться не следует, т.е. равноправие все-таки нужно дать. «Но государственная справедливость не требует от нас *национального* безразличия. Притяжения и отталкивания принадлежат нам, они наше собственное достояние, в котором мы вольны... И я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы отказываться от этого достояния в угоду кому-либо и чему-либо»... «Я полагаю, евреям полезно увидеть открытое национальное лицо той части русского, конституционно и демократически настроенного общества, которая этим лицом обладает и им дорожит. И, наоборот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства». Все это напечатано в газете «Слово» от 10 и 12 марта и ни в каких пояснениях и подчеркиваниях не нуждается. Но г. Милюков все-таки нашел, что маслом каши не

испортишь, и не то с сокрушением, не то с иронией подливает (в «Речи» от 11 марта) свою толику масла: «Г-н Ж. может торжествовать: он выманил медведя из берлоги... добился того, что молчание кончилось, и то страшное и грозное, что прогрессивная печать и интеллигенция старались скрыть от евреев, наконец обрисовалось в своих настоящих размерах».

Впрочем, это еще сказано полуиронически, и в конце статьи идут, конечно, заверения, что означенное настроение у русской интеллигенции скоро пройдет. Но зато без всякой иронии и совершенно всерьез делается следующее, вполне новое и очень пикантное разоблачение: «Я тоже думаю, что старой русской интеллигенции, святой и чистой в своем блаженном неведении, наступил конец в России с началом новой политической жизни. Я тоже уверен, что многие жизненные утопии, созданные этой интеллигенцией на почве той старой святости, скоро отомрут, чтобы уже не возрождаться больше. Но я уверен также и в том, что наивный «асемитизм» и «антисемитизм», предъявляющий нам свои национальные права на существование, есть тоже один из последних пережитков (!) нашей блаженной интеллигентской невинности». Вот это, в самом деле, ново. «Пережитком» называется нечто такое, что уцелело со старых времен. Значит, и у старой русской интеллигенции, святой и чистой и пр., тоже имелись антиеврейские «отталкивания»? Значит, медведь-то давно сидел в берлоге? Любопытно. Вслух еще в этом никто не признавался, особенно никто столь авторитетный. А еще любопытнее то, что присутствие медведя в берлоге не мешает г. Милюкову аттестовать ту старую русскую интеллигенцию «святой и чистой», а «наивный асемитизм или антисемитизм» числится у него в списке настроений, созданных «на почве той старой святости». Очень у г. Милюкова мягкое отношение к медведю в берлоге. Это уже не в первый раз: мы еще помним его надгробную статью о Иоллосе, в которой даже верноподданные евреи из «Свободы и

Равенства» усмотрели неосторожное обращение со словом «жид». Очевидно, в некоторых русских интеллигентах еще весьма живы пережитки старой чистоты и святости...

Итак, медведь выглянул из берлоги. Торжествует ли г. Ж., это мы оставим в стороне. По-моему, торжествовать ему нечего: к статье Струве сделано примечание, что она была написана и сдана до появления в «Слове» других статей на чириковскую тему. Никто медведя нарочно не выманивал, а сам он, по-видимому, учуял в воздухе нечто родное и по собственной инициативе решил подать сочувственно голос. И эта собственная инициатива — еще один любопытный штрих для характеристики настроения. И вызывать не надо — сами откликаются!

После этого блестящего выхода первачей мы считаем окончательно выясненным основной вопрос, в котором для нас сосредоточен весь общественный смысл инцидента: вопрос о симптоматичности. Кому не противно, пусть и дальше разоряется на клятвенные заверения, что «ничего подобного нет». Г.Винавер в той же «Речи» от 13 марта все-таки предлагает и на будущее время еврейские услуги, согретые взаимной любовью, «именно любовью». На здоровье. Ласковый теленок двух маток сосет. Предоставляем г. Винаверу и прочим ласковым людям прожить мафусаиловы годы в этой курьезной позиции, когда они, заглядывая пану в очи, умильно говорят: «а все-таки вы нас любите!» — а г-да Струве и Милюков отвечают: — «Мм... не очень». — Для нас спор в этой части исчерпан. Да в сущности, и для возражателей наших, особенно из евреев, дело так же ясно, как и для нас. Все они про себя знают и с глазу на глаз сознаются, что медведь давно начал ворочаться в берлоге и, того и гляди, высунет морду. Лицемерием, неискренностью, малодушием и искательством пропитана их ласковая декламация, и оттого она так непроходимо бездарна, и нет в ней даже пафоса умелой лжи. Люди сами себе не верят и почти вслух го-

ворят, что не верят, и им никто не верит. Что же с вами спорить? Ступайте себе с миром дальше и повторайте in's Vlaue свои казенные слова.

Гораздо искреннее те публицисты из «Новой Руси» и «Нашей Газеты», которые простодушно спрашивают: «своевременно ли? Не лучше ли раньше вместе решить общегосударственную задачу?» — Это мы понимаем. Это, по крайней мере, практическая постановка вопроса. И нельзя не согласиться, что правда, действительно, несвоевременна — с русской точки зрения. Ибо одно из двух: раз медведь выглянул, надо или бороться с ним, или признать его полноправным гостем. Бороться? Это значило бы открыть свои газеты для систематической защиты еврейского равноправия, для систематического отпора на юдофобскую травлю. Мерси боку — только этого, в самом деле, и недоставало почтенным газетам, на которых и так стопудовым бременем тяготеет подозрение в недостаточном «асемитизме». А признать медведя тоже неудобно. Гораздо удобнее было бы сохранить до поры до времени старую иллюзию, что в «святом и чистом» климате этой прекрасной страны зоологический вид *ursus judaeophagus intellectualis* вообще не водится...

Но это с русской точки зрения, да еще с точки зрения еврейской прислуги русского чертога. Мы благодарим за любезное приглашение идейно приютиться в той же людской и через ее стекла выглядывать на Божий свет, благодарим за столь лестное мнение о нашей готовности к собачьему замозабвению. — но честь эту решительно от себя отклоняем. Мы прекрасно понимаем, что для вас удобнее сохранить блаженное неведение до дня, когда будет решена общегосударственная задача, — потому что оно вас ни к чему не обязывает и сохраняет к вашим услугам всю полноту усердия и расторопности верноподданного Израиля; а когда общегосударственная задача будет решена и медведя, наконец, выпустят на волю. — тогда вы-то ровно ничего не потеряете. Но мы? Нам

тоже полезно не видеть и не слышать? Нам тоже полезно удариться в славянофильство и грезить, что хорошо нам знакомый зоологический экземпляр, вдоволь посвирепствовавший в самых культурных заграницах, — только здесь, только в этой обетованной стране, только у этого богоизбранного русского народа почему-то не родится? Нам тоже выгодно будет, если, одураченные этой грезой, мы доверчиво разоружимся, распустим свою моральную самооборону, заложим и перезаложим в ваших ломбардах все свои ценности, — и *тогда*, в один прекрасный день, вы с душевным прискорбием объявите нам, что медведя не устерегли и он, к глубокому вашему сожалению, вырвался из берлоги? Нет, милостивые государи, не *тогда*, а *теперь* должны вы выложить на стол все, что у вас за душою; и кто бы ни выболтал нам эту правду, — ваши илоты, как это было до сих пор, или ваши дураки, как это случилось недавно, или ваши разумники, как это происходит в последнем фазисе. — мы ставим и будем ставить каждое лыко в строку, и кричим глупому старому еврею, что зажмурил глаза и идет, улыбаясь до ушей, приложиться к панской ручке: — помни о берлоге!

Много характерного проглянуло в этой истории, но всего характернее этот резон о несвоевременности. Никогда еще эксплуатация народа народом не заявляла о себе с таким невинным цинизмом...

IV

РУССКАЯ ЛАСКА

...Ко мне поступался презренный еврей...

Пушкин.

И пошло! В учебнике сказано, что тихая стоячая вода может остыть иногда ниже нуля, не замерзая; но достаточно бросить в нее камень, чтобы она мгновенно покрылась льдом. Это часто наблюдается и в делах человеческих. Теперь имеем случай любоваться

этим занимательным явлением природы по милости инцидента с «национальным лицом». На днях еще за стыд и срам считалось русскому интеллигенту выговорить этакое слово без презрительной гримасы, а теперь даже такая заскорузлая, стерилизованная невинность, как «Наша газета», через номер усердно склоняет и спрягает «национальные» словеса. И оказывается, что они, видите ли, всегда дорожили национальными моментами, всегда понимали, что правильное национальное чувство есть вещь безупречно-прогрессивная, и чуть ли не за то, главным образом, и серчали на русское начальство, что оно унижает национальное величие! Поистине трогательное открытие. Кто подозревал о присутствии такой контрабанды под спудом, а особенно в «Нашей газете», в этом классическом образчике русско-интеллигентской передовитости, в этом бесполом органе строго выдержанного направлечества без направления, в этом щепетильно отгороженном и чистенько подметенном пустом месте, на котором группа тщательно подобранных бесцветностей, не моргая, при всем честном народе смотрит тебе в пуп? Такая была идеальная тихая и стоячая вода, но, видно, крепко прохватило ее окружающей температурой; попал в нее камень, да еще брошенный неумной и, может быть, нетрезвой рукою, — и пошло!

Многих из нас это ошеломило — потому что мы плохие наблюдатели. Конечно, тот тонкий слой, который носит имя передовой русской интеллигенции и задает искони тон в печати, до последнего времени просто не интересовался своей великорусской национальностью, как здоровый человек не интересуется своим здоровьем, особенно когда у него других хлопот полон рот, хата не топлена и сквозь крышу небо плачет. Сытый кашей каши не просит, особенно когда у самого сапоги просят каши. Но мы, по еврейской нашей склонности подчеркивать и размалевывать, а еще больше по надобности оправдать ассимиляцию, прицепили к этой особенности русского ин-

теллигента бесконечный хвост распространительных толкований. Из настроения, обусловленного только национальной сытостью великоросса, мы сделали чуть ли не элементарную черту его характера: мы шумели на разные лады, что именно русские, не в пример немцу и всякому другому бусурману, органически на «это» не способны, что им от роду присуще некое вселенское начало и отменно теплые чувства по всем направлениям, без различия веры и племени. И, как всегда, мы самих себя гипнотизировали своим шумом и победоносно пролетали мимо самых ярких фактов, не удостаивая на них оглянуться. Даже мимо погромов попробовали сгоряча проскакать без оглядки, свалив всю беду на подстрекателей сверху и «отбросы общества» снизу, как будто оглушительный успех подстрекателей сам по себе не характерен для данной среды, или как будто отбросы не характерны для выделяющего их организма. Но был еще факт, мимо которого мы пробежали с зажмуренными глазами; и даже не мимо него, а насквозь, проникая внутрь и ничего не замечая, глядя и не видя, смакуя и не чувствуя дегтя, анализируя тонкости и не натываясь на оглоблю. Этот факт — русская литература, та самая, что со времен еще Радищева славилась свободой и милостью к падшим призывала, та самая, что так сильно проникнута идеями подвига и служения; та самая, которая устами своих лучших ни одного доброго слова не сказала о племенах, угнетенных под русскую державой, и руками своих первых пальцем о палец не ударила в их защиту; та самая, которая зато руками своих лучших и устами своих первых щедро обделила ударами и обидами все народы от Амура до Днепра, и нас больше и горше всех.

На днях праздновали юбилей Гоголя, и немало евреев использовали, конечно, этот случай лишний раз «поплясать на чужой свадьбе». Должно быть, в некоторых еврейских училищах черты устроили и еще устроят после каникул гоголевские торжества, учитель русского языка скажет прочувствованное

слово, учитель физики покажет в волшебном фонаре картинки из «Тараса Бульбы», а потом ученики или ученицы, картавя, пропойт перед бюстом: «Николаю Васильевичу сла-а-ва». И девяти десятым из устроителей и участников не придет в голову задуматься, какова с нравственной точки зрения ценность этого обряда целования ладони, которой отпечаток горит на еврейской щеке; не придет в голову, какой посев компромисса, бесхарактерности, самоунижения забрасывается в сознание отрочества этим хоровым поклоном в ноги единственному из первоклассных художников мира, воспевшему, в полном смысле этого слова, всеми красками своей палитры, всеми звуками своей гаммы и со всем подъемом увлеченной своей души воспевшему еврейский погром.

Стоило бы, может быть, в честь юбилея тут переписать слишком забытые несколько страниц из того же «Тараса Бульбы». Ничего подобного по жестокости не знает ни одна из больших литератур. Это даже нельзя назвать ненавистью, или сочувствием казацкой расправе над жидами: это хуже, это какое-то беззаботное, ясное веселье, не омраченное даже полумыслью о том, что смешные дрыгающие в воздухе ноги — ноги живых людей, какое-то изумительно цельное, неразложимое презрение к низшей расе, не снисходящее до вражды. Стоило бы процитировать, да не хочется. Все равно, кому нужно усердствовать, тех не остановишь. Нет такой хитрой преграды, чтобы под нею не прополз кабцан, которому дали входной билет погреться у людей на солнышке. И не хочется еще потому, что нет никакой причины останавливаться на одном Гоголе, делать выписки из него и не делать выписок из его братьев по этой великодушной литературе. Чем он хуже их, и чем они лучше?

Веселая картина получится, если взять и на память, не выискивая, не докапываясь, просто, как говорят репортеры, *au hazard* подсчитать ласку, что

мы видели в разные времена от разных великанов русского художества. Для Пушкина понятие еврей тесно связано с понятием шпион (это в заметке о встрече с Кюхельбекером). В «Скупом рыцаре» выведен еврей-ростовщик, расписанный всеми красками низости, еврей, подстрекающий сына отравить папашу — а яд купить у другого еврейчика, аптекаря Товия. У Некрасова «жиды» на бирже уговаривают проворовавшегося русского купца: «нам вы продайте паи, деньги пошлите в Америку», а сам пусть бежит в Англию:

«На катере —
К насей финансовой матери,
И поживайте, как *царр!*»
Так говорили жиды —
Слог я исправил для ясности...

У Тургенева есть рассказ «Жид», неправдоподобный до наивности; читая, видишь ясно, что автор нигде ничего подобного не подсмотрел и не мог подсмотреть, а выдумал, как выдумывал сказки о призраках, — и *что* выдумал, и с каким чувством нарисовал и раскрасил! Старый жид, конечно, шпион, а кроме того, продает еще офицерам свою дочку. Зато дочь, конечно, красавица. Это понятно. Нельзя же совсем обездолить несчастное племя. Надо ж ему хоть товар оставить, которым он мог бы торговать.

По Достоевскому — от жидов придет гибель России. Это, казалось бы, давало жидам известное право на внимание; однако ни одного цельного еврейского образа у Достоевского нет, насколько сейчас могу припомнить. Но если правда, что битый рад, когда бьют и соседа, то мы можем утешиться, припоминая польские типы Достоевского, особенно в «Карамазовых» и в «Игроке». «Полячок» — это обязательно нечто подлое, льстивое, трусливое, вместе с тем спесивое и наглое; и даже те затаенные в польской душе надежды, к которым самый заклятый враг должен

отнестись с уважением, о которых сам Бюлов, защищая враждебный полякам закон, говорил недавно в рейхстаге с шапкой в руках, — коробит и вспоминать, какой желчной слюною облиты эти надежды разгромленного народа у тонкого, многострадального автора «Карамазовых».

Чехов? Еврейские критики ужасно любят цитировать из «Моей жизни» мимоходом оброненную фразу, что библиотека провинциального городишки пустовала бы, если бы не девушки «и молодые евреи». Это глубоко трогает еврейских критиков, это им очень льстит, они в этом видят явную агитацию за беспроцентное допущение евреев к образованию. Добрый мы народ, и самая добрая наша черта, это — что и малым довольны... По существу же был Чехов наблюдатель, не ведавший ни жалости, ни гнева и не любивший ничего, кроме увядающей красоты «вишневого сада»; поэтому еврейские фигуры, изредка попадающиеся в «Степи», «Перекасти-поле», «Иванове», написаны с обычным для этого художника правдивым безразличием. И с таким же правдивым безразличием нарисовал Чехов своего Иванова, одного из несчетных Ивановых, составляющих фонд русской интеллигенции, и с таким же правдивым безразличием засвидетельствовал, что Иванов, когда в дурном настроении, вполне способен обругать свою крещеную жену жидовкой. Но Чехов сам был во многих отношениях Ивановым, русским интеллигентом до мозга костей, и случилось и ему однажды выругаться по адресу жидовки. Тогда он написал свою «Тину». Это анекдот еще более нелепый и неправдоподобный, чем тургеневский «Жид», настолько пошлый по сюжету, что и двух строк не хочется посвятить его передаче. Где это Чехову приснилось? Зачем это написано? — Так. Прорвало Иванова, одного из несчетных Ивановых земли русской.

Кого еще назвать? Лескова? Н. Вагнера (Кот-Мурлыка)? Из одних имен можно было бы составить

длинное стихотворение, как у того французского поэта:

Jeannette, Nine,
Alice, Aline,
Léda, Julie —
Et j'en oublie...

Ничего в противовес этому списку не может называть русская литература. Никогда ни один из ее крупных художников не поднял голоса в защиту правды, растоптанной на нашей спине. Даже в публицистике не на что указать, кроме одной статейки Щедрина и одной статейки Чичерина. В беллетристике нечем похвастать, кроме сладенького, нестерпимо-бездарного мачтетовского «Жида», да еще где-то за порогом художества красуется шедевр г. Чирикова. Те из нас, которые малым довольны, восторгаются еще «Судным днем» Короленко, ибо там доказано, что иной хохлацкий шинкарь еще прижимистее шинкаря-еврея. Лестно. Если за это полагаются мерси, то у Лескова есть гораздо более обстоятельные рассказы на тему о том, что хотя жид и мошенник, но румын еще того хуже, а русский помещик, купец и мужичок тоже не промах по части вороватости... Но ничего настоящего, ничего такого, что если не по силе, то хоть по настроению, по проникновению в еврейскую душу могло бы стать рядом с «Натаном Мудрым» или с Шейлоком, русская литература не дала. Да и зачем такие высокие образцы: рядом у поляков есть Элиза Ожешко, есть знаменитый Янкель из «Пана Гадеуша», написанный Мицкевичем в то самое время, когда Пушкин малевал своего жида Соломона из «Скупого рыцаря»...

Не сомневаюсь: как всегда, найдется где-нибудь газетный пошляк, который во всем этом увидит ненависть к русской литературе. Если это случится, я возражать не буду — надоело спорить с пошляками, возиться с людьми внутренне недобросовестными, которые давно сами знают о своем банкротстве и

еще все-таки зазывают бедную публику с ее нищенскими сбережениями к своему подгнившему прилавку. Между прочим, русскую литературу я очень ценю, включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература — далеко не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности — этому условию удовлетворяет. Но вместе с тем надо помнить, что философию народа, его настоящую, коренную философию выражают не философы и публицисты, а художники, и в данном вопросе характер этой философии для всякого, кто не слеп и не глух, ясен без малейшей двусмысленности. Может быть, мало на свете народов, в душе которых таятся такие глубокие зародыши национальной исключительности. Мы проглядели, что родоначальная страница русской классической драмы — «Горе от ума» — насквозь пропитана обостренным националистическим чувством, до краев полна протестом во имя национальной самобытности, выходками против французско-нижегородской ассимиляции, проповедью «премудрого незнания иноземцев». Мы проглядели, что Пушкин в разгаре таланта написал потрясающее по энергии и силе стихотворение «Клеветникам России», где трепещет подлинный нерв того настроения, которое в Англии теперь называют джингоизмом. Мы проглядели, что в пресловутом, и нас захватившем культи «святой и чистой» русской интеллигенции, которая-де лучше всех заграничных и супротив которой немцы и французы просто мещане, — что во всем этом славословии о себе самих, решительно вздорном и курьезном, гулко звучала нота национального самообожания. И когда началось освободительное движение и со всех трибун понеслась декламация о том, что «мы» обгоним Европу, что Франция реакционна, Америка буржуазна, Англия аристократична, а вот именно «мы», во всеоружии нашей неграмотности, призваны утереть им нос и показать настоящее политическое зодчество, — наша близо-

рукость и тут оплошала, мы и тут не поняли, что пред нами взрыв непомерно вздутого национального самолюбия, туманящий глаза, мешающий школьникам учиться уму-разуму у Европы, у Америки, у Австралии, у Японии, у всех, потому что все их обогнали.

Я говорю только о зародышах. Они еще надолго останутся зародышами. Несмотря на все призывы Струве, великорусскому национализму еще некуда и не во что развиваться, кроме как по черносотенной тропинке, по которой серьезная часть интеллигенции, должно быть, не пойдет. В национальном смысле у великоросса ни в чем нет недостатка, а напротив — в колоссальных доходах, которые приносит ему его национальная культура, большую роль играют инородческие подати, особенно еврейская. Кто сочтет, в какой мере хотя бы нынешние модные книгоиздательства обязаны своим ростом руссифицированному инородческому потребителю, и в первую очередь еврею? Русскому национализму не за что бороться — никто русского поля не занял, а напротив: русская культура, бессознательно опираясь на казенное насилие, расположилась на чужих полях и пьет их материальные и нравственные соки. Для развития зародышей нет еще почвы, и она явится только в тот момент, когда среди народностей России подымется национальное движение всерьез, и борьба против руссификации проявится не на словах, как теперь, а в фактическом разрыве с великорусскою культурой. Мы тогда увидим, кто наши могучие соседи и есть ли у них национальная струнка, и тогда, может быть, лучше пойдем некоторые забытые страницы из Некрасова, Пушкина и Гоголя.

НАШЕ БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Недавно по поводу одной моей газетной статьи я удостоился получить несколько писем от молодых людей, обиженных замечанием, что еврейские дезертиры, принимающие христианскую веру ради выгод, засоряют ту христианскую общину, к которой приписываются. Молодые люди находят, что это напраслина. Во-первых, они не дезертиры: «разве переход из иудейского вероисповедания в другое обуславливает собою переход в другую национальность?» Во-вторых, они ничего не засоряют. «Разве окроплявший нас водою священник водрузил нас тем на ниве своей общины? Нет, он нас только вписал в метрическую книгу. Что ж мы засоряем?» А в другом письме идут еще дальше: если дезертир даже «водружается» на чужой ниве, то он ее не только не «засоряет», а даже напротив — украшает: в доказательство цитируется несколько имен из книги Когута «Знаменитые евреи и еврейки». Вообще же молодые люди находят, что писать о них неделикатно: «существует круг таких явлений, которые являются делом личной совести и куда человек интеллигентный не должен залезать руками».

Это пишет одна сторона. А вот любопытный отклик с другой стороны: письмо одного популярного хулигана. Оно напечатано в «Земщине» и гласит:

«В главной палате русского народного союза имени Михаила Архангела почти ежедневно получают письма от евреев на мое имя с просьбой: «будьте мне крестным отцом — хочу креститься». Письма рву, взглянув на подпись жиды, но на завтра новое. Сегодня получил такое: «Ваше высокопревосходительство! Я еврей г. Винницы. Желая принять православие, имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство стать моим крестным отцом. Бер Закс. 17 сентября 1910 г. Винница. Почтовая ул., д. Шерра». — Вступать в какую бы то ни было переписку с жиды не намерен, посему, в це-

лях сберечь время и бумагу тем, которые пожелали бы последовать примеру Закса, считаю нужным уяснить мою принципиальную точку зрения на этот вопрос и полагаю, что жидкам она будет ясна из следующей телеграммы, посланной мною в ответ юркому Заксу: «Винница, Почтовая ул., д. Шерра. Беру Заксу. Для евреев крещение — вид гешефта: окончивший гимназию крестится, дабы попасть в университет, купец, чтобы устроиться вне черты оседлости, и так далее. Отказываюсь быть пособником неблагоприятных поступков, предпочитая еврея некрещеного выкрестившемуся из-за побуждений, чуждых душевным запросам, а наличности таковых у евреев не имеется».

Конечно, мнение этого лица не может служить этическим мерилom; привожу его не как аргумент, а просто для характеристики настроений. Что и говорить, с пощечиной Полишинеля можно не считаться. Но да будет позволено напомнить по этому поводу старую басню Федра. Там изображен умирающий лев, к которому приходят разные звери, и каждый норовит его как-нибудь обидеть. И лев все терпит: но когда напоследок явился asinus, asini, второго склонения, и тоже лягнул в больное место, лев не выдержал и заплакал, сказав: «Твой пинок, о срам природы, усугубляет для меня горечь смерти». А уж на что лев — гордый зверь. Очевидно, во времена Федра еще полагали, что т а к о й пинок — это уже самое последнее дело, предел надругательства. Но мы теперь умные, и предрассудки давно ликвидированы.

Предрассудки до того начисто ликвидированы, душа человека превращена в такое идеально гладкое, зеркально лысое пустое место, что сплошь и рядом чувствуешь себя беспомощным и безответным пред этой абсолютно плешью, где не осталось ничего со вчерашнего дня — ни одного раз навсегда вбитого гвоздя, ни одной глубоко вросшей былинки, ни традиций, ни аксиом, ни простой брезгливости, даже ничего похожего на доску с надписью: «здесь воспрещается». И когда вы пытаетесь напомнить, что все-таки должно же быть на свете нечто воспрещенное, нечто

такое, от чего сама собой отдергивается рука, вас оgoroшивают вопросом: А почему нельзя? — И вы вдруг постигаете, растерянный, что, в сущности, ответа у вас нет. Ибо есть вещи, которые доказать невозможно. И, как назло, жизнь так глупо устроена, что именно те щекотливые вещи, которые невозможно доказать, — именно они делают разницу между человеком порядочным и человеком покладастым.

Кто скитался за последние годы по так называемой «еврейской улице», тому хорошо знаком этот убийственный вопрос: «А почему нельзя?» Стал он раздаваться недавно. Прежде было совсем другое время: прежде, в эпоху подъема и до него, было всем ясно само собою, что на человеке лежит некий долг, и что не все ему дозволено; каждый понимал этот долг по-своему, но атмосфера некоторой нравственной дисциплины ощущалась повсюду, на каких угодно общественных задворках. И если кому уж приходилось нарушить эту дисциплину, сделать что-нибудь такое, чего совесть не позволяла, то он старался стусhevаться, а не выступал гоголем на площади и не спрашивал: А почему бы нет? — но прошел подъем, и все это изменилось. Нравственная дисциплина лопнула, и значительная часть молодежи пустилась в погоню за своей долей, грациозно прыгая через какие угодно препятствия. При этом они держат голову гордо и высоко, пишут письма в редакцию и требуют: одно из двух — или докажи им, осязательно, как дважды два, почему нельзя перепрыгивать через некоторые препятствия, или сними шапку, расшаркайся и признай их полноправными джентльменами.

Конечно, для себя, для своей души, каждый из нас хорошо знает, «почему нельзя». Когда мы себя об этом спрашиваем, то оглядываемся назад, и нашему духовному взору открывается картина, которая лучше всякого ответа. Перед нами расстилается необозримая равнина двухтысячелетнего мученичества; и на этой равнине, в любой стране, в любую эпоху, видим мы одно и то же зрелище: кучка бедных, бородатых, горбоносых людей сгрудилась в кружок

под ударами, что сыплются отовсюду, и цепко держится нервными руками за какую-то святыню. Эта двадцативековая самооборона, молчаливая, непрерывная, обыденная, есть величайший из национальных подвигов мира, пред которым ничтожны даже греко-персидские войны, даже история Четырех Лесных Кантонов, даже восстановление Италии. Сами враги наши снимают шапку пред величием этого грандиозного упорства. В конце концов, люди забыли все наши заслуги, забыли, кто им дал единого Б-га и идею социальной правды; нас они считают изолгавшимся племенем, в душе которого ничего не осталось, кроме коллекции уловов и уверток, наподобие связки отмычек у вора; и если перед чем-нибудь еще преклоняется даже злейший из клеветников, если в чем-нибудь еще видит, не может не видеть символ и последний остаток великой, исполинской нравственной мощи, — это только в уцелевшей, ни на миг доселе не дрогнувшей способности страдать без конца за некое древнее знамя. В этом упорстве наша высокая аристократичность, наш царский титул, наше единственное право смотреть сверху вниз. И теперь, над могилами несметного ряда мученических поколений, разорвать этот круг, распустить самооборону, выдать старое знамя старьевщикам? Что же нам останется? Как это мыслимо? Как это возможно?! — Так ощущаем мы, еще не ликвидировавшие предрассудков. Но ведь это ощущение, а не доказательство.

Не знаю, как другие, которые умнее меня, но я должен сознаться, что не все могу доказать. В 1907 г. пришел ко мне (было это в Одессе) один юноша, когда-то мой протеже, и изложил мне обычный в те дни план устройства личной жизни: он напишет банкиру такому-то письмо с требованием дать столько-то тысяч, а если не даст, то его подстрелят. Я возмутился, заволновался, стал его отговаривать, а он меня срезал вопросом:

— А почему нельзя? Докажите!

И со своей стороны изложил мне свои аргументы. Он голодает, мать голодает... А банкир богат. И так далее — эту аргументацию все мы слышали, и у всех

она жива еще в памяти. И сколько мы с ним ни спорили, верх оставался за ним, потому что по логике он был логичен, — а все-таки есть вещи, которые не доказываются.

Другие молодые люди пошли дальше. Они увидели, всмотревшись поглубже, что если «можно» экспроприировать у банкира, то «почему нельзя» у лавочкицы предместья? Богатство — понятие относительное и гибкое. Богат для меня тот, кто в данную минуту богаче меня: если у лавочкицы в кассе лежит 80 копеек выручки, а я голоден, она для меня богачка, и я имею полное право... А потом другие пошли еще дальше. Почему я для этого непременно должен быть голоден в грубом смысле слова, физически голоден? А если желудок мой полон, но душа голодна, если мне тоже хочется прифрантиться, сходить в театр, покататься с барышнями, то почему я должен страдать, за что должна увядать без блеска и радости моя молодость, когда один удачный налет может распахнуть предо мною всю полноту жизни? И опять приходилось разводиться руками и молчать, не находя ответа. Потому что неприменима таблица умножения в социальных отношениях. Те молодые люди, что в памятную эпоху налетов срамили и топтали наше народное доброе имя, что хуже черной сотни с ее резинами терзали и разоряли нашу нищую массу, были, по большей части, ловкие диалектики и по таблице умножения очень искусно доказывали свою высшую правоту. Но в то же время настерпимый чад гнусной, неслыханной деморализации разливался от них вокруг, и было ясно, что, наперекор всякой диалектике, все-таки есть вещи недозванные, и должна быть в человеке внутренняя брезгливость, которая без слов, непосредственно подсказывала бы ему, «почему нельзя». Этическое познается не рассуждениями, а ощупью, и в ком этого таланта ошупи нет, тот калека.

Бывают, конечно, калеки разной степени. Из примеров, которые приведены только что, не следует заключать, что я ставлю дезертиров на одну доску с кем-либо из перечисленных героев. Понятно, нет. Но, с другой стороны, я не награжден от Б-га и той снис-

ходительностью, которая считает переход в чужую веру ради голой выгоды за нечто невинное. Думаю, что этот акт ясно и непреложно говорит о нравственной глухоте субъекта. И в особенности тогда, когда он совершается в наших здешних условиях, над поверженным и израненным телом затравленного, окруженного повсюду врагами и беззащитного русского еврейства.

В эпоху студенческих волнений был однажды такой случай. Десять студентов посадили в одну небольшую камеру; им было там невыносимо тесно, душно и грязно. Одного из них пристав знал, так как игрывал в карты с его отцом; он вызвал этого студента и предложил перевести его в камеру вестового. — И вам будет удобнее, и товарищам все-таки легче, — сказал любезный пристав. Но студент отказался. Собственно говоря, почему было ему не согласиться? Ведь от него за то никаких «услуг» не требовали, и товарищам его отказ никакой видимой пользы не принес — напротив, если бы один выбыл, все же стало бы просторнее. Но студент отказался, потому что у него было этическое чутье. Он понял, или, вероятнее, просто почувствовал, что его переход на привилегированное положение, когда товарищи по беде остаются в яме, посеял бы в атмосфере какую-то неуловимую, невесомую деморализацию, которая гораздо ядовитее спертго воздуха. — То был маленький случай, и беда была сравнительно маленькая. Теперь мы стоим перед великим национальным горем, в глубокой яме копошатся не десять человек, а шесть миллионов, целая Португалия, две Норвегии, и вопрос о том, есть ли у нас это чутье невесомых преград, разрастается до размеров огромной национальной трагедии. Перед лицом этой трагедии человек, которому дано перо в руки, не имеет права считаться с личными переживаниями отдельных дезертиров. Он должен напомнить во всеуслышание старую истину, через которую вы слишком цинично преступили: что именно талант внутренней безгливости, именно чутье невесомых святынь и преград, создает то, что мы называем порядочностью, *sittlicher Ernst*;

и у кого в такую тяжелую эпоху медленной пытки, затяжного погрома не оказывается в наличии этого чутья, тот должен сам понять себе цену и не удивляться, если другие называют ее вслух.

Хочется говорить об этом как можно более сдержанно, и оттого главным образом приходится настаивать на невесомых моментах. Ведь с той стороны это — главный довод: «живя согласно со строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла». Хочется напомнить людям, что если даже допустить, будто и в самом деле «никому не сделано зла», это еще само по себе далеко не отворяет двери в ту комнату, где у Б-га помещены джентльмены. — Люди, которым можно доверять, люди, с которыми можно вместе страдать и которые не вылезут в окошко... Но, в конце концов, этот вечный припев каждого дезертира, что он «никому не сделал зла», тоже неправда.

Когда люди еще верили в Государственную Думу, в одном городе черты оседлости была выставлена кандидатура бывшего еврея, популярного местного деятеля. Националисты были против этого, и один из них сказал меткое слово: — Вам нужен в Думе человек, который отстаивал бы ваше равноправие. Так не посылайте в Думу человека, который сам является живым доказательством того, что можно великолепно обойтись и без равноправия.

Сейчас выборов нет, и больше о таких кандидатурах не слышно, и все эти безобидные молодые люди, которые «никому не делают зла», идут представлять о нас не в Думу, а на самое торжище жизни. Но тем глубже политическое влияние этого массового представительства, и мы, остающиеся в яме, еще учтем его плоды на своей шкуре. Ибо никогда еще мы не выпускали в мир с такой легкостью такого множества живых доказательств, что можно при желании обойтись и без равноправия. В Германии, например, уже давно знают, что «рenegатство, оказывая губительнейшее нравственное влияние, кроме того, еще тормозит борьбу германского еврейства за фактическое осуществление его политических и гражданских прав. Теперь, когда немецкое

еврейство ведет упорную борьбу за свои конституционные права, ренегаты, добиваясь этих прав при помощи «Taufzettel», наносят общему делу еврейства непоправимый ущерб» (резолуция съезда германских еврейских деятелей в 1910 г.). Тем хуже положение в России. На глазах у врагов и равнодушных наша молодежь с такой легкостью меняет религию, что у зрителя возможен только один вывод: раз это так легко и просто, то, очевидно, те, которые этого не проделывают, далеко не так страшно угнетены, и особенно о них беспокоиться нечего. Этот вывод естественно складывается и оседает не только у врагов, но, что гораздо важнее, у равнодушных, т.е. именно в том кругу, от которого зависит дать перевес друзьям или врагам. Как, какими доводами бороться тут за отмену еврейского бесправия, за создание выхода из ямы, когда нам ответят: позвольте, но ведь выход уже есть, и очевидно вполне для вас приемлемый! Как, какими словами отстаивать эмансипацию общины, из которой сотнями дезертирует ее «цвет», ее молодая интеллигенция, и самым фактом своего массового бегства кричит на всю Россию: монастырь оставлен на вымирание, стоит ли о нем еще думать!

В конце концов все это выливается в подстрекательство к новому гнету. Светская власть, может быть, и не особенно рада этому новому устремлению строптивного племени и склонна его рассматривать (не без основания), как новый массовый «обход закона», новую «еврейскую уловку», по беззастенчивому цинизму превосходящую все прежние. Но ведь есть в России и духовная власть, очень влиятельная, в иные периоды даже всемогущая. Духовенство господствующей церкви нигде и никогда не оставалось безучастным к приросту своей паствы: призванное блюсти интерес церкви, оно всегда и всюду смотрело на такой прирост, как на явление положительное, и не особенно допытывалось о причинах и внутренних побуждениях, справедливо рассуждая, что, каковы бы ни были эти побуждения, во втором поколении от них не останется ни следа, а останется только чистый прирост... Так рассуждала и по сей день рассуждает

господствующая церковь всюду на Западе и на Востоке. Как отнесется она в России к этому еще небывалому урожаю неопитов, предсказать не берусь. Но очень боюсь, что мы даем в могущественные, очень могущественные и принципиально враждебные нам руки сильнейший довод в пользу не только сохранения, но и усиления висящего над нами гнета.

Зато молодые люди нас утешают, что «выход из религии не есть выход из национальности». Нация наша, значит, и впредь будет почтена их присутствием. Лестно. Но тут опять сказывается нечуткое резервство, неспособность ощутить то важное, что несомно. Говоря вообще, это — совершенно справедливый принцип: национальность сама по себе, а религия сама по себе. В дни свободы, когда мы еще мечтали о созыве «национального собрания», многие даже среди сионистов и националистов провозглашали, что «членом еврейской национальной общины является каждое лицо, признающее свою принадлежность к еврейской национальности, без различия вероисповедания». Но — нашим мечтам тогда рисовалась совершенно другая картина, чем то, что видим теперь. Нам рисовался большой праздник свободы, когда еврейский народ на радостях амнистировал бы старых дезертиров за старый грех, а впредь уже крещения могли бы происходить только по убеждению. Это было бы совсем, совсем другое дело. Перемена веры из внутреннего убеждения в превосходстве новой религии — это к чести человека, а не к стыду... Но когда *эти* сегодняшние молодые люди, только что ради голой выгоды с легкостью вальса увильнувшие от той круговой поруки, которой только и может нация держаться, милостиво предлагают и впредь числиться по нашему национальному списку — то уж это с их стороны любезность чрезмерная и излишняя. Нет уж, молодые люди, скатертью дорога, а нам в утешение останется умное слово Герцля: «мы терпим тех, в лице которых мы ничего не теряем».

«Выход из еврейской религии не обуславливает выхода из еврейской национальности»... Если эти молодые люди искренно так думают, то они горько обма-

нываются. До сих пор уходившие из нашей религии уходили и из нашей национальности. И больше того: в Европе существует формула: «дед ассимилятор, отец крещен, сын антисемит». Это вполне естественно. У «отца» еще все-таки что-то теплое осталось в душе от воспоминаний детства, связанных с субботой, или хоть от слез матери в тот день, когда он пошел к священнику. Но уж у его сына не может быть ничего, кроме глухой досады на всех евреев за то, что его еще все-таки иногда поругивают Judenbub'ом. Забыть о сврействе ему не дадут, любить еврейство он не может — остается одно: ненавидеть, и это одно с неизбежностью, в той или иной степени, повторится и в России. Еврейский народ не новичок в этом вопросе — он уже привык, глядя влогонку уходящему дезертиру, горестно думать о том, что, может быть, ровно через одно поколение новый камень с улицы ударится в его окошко. Кто знает, еще может быть, их дети некогда будут выселять из Киева наших детей.

Множество софизмов пущено теперь по улице, чтобы оправдать эту вакханалию бегства, и все софизмы гнилые и неискренние. Самый холкий тот, что, мол, крестятся вовсе не «для голой выгоды», а ради науки. Это болтовня. Науку юридическую, философскую, историческую и т.п. можно получить в публичной библиотеке, и еще бесплатно. А науку медицинскую или инженерную можно получить за границей, в крайнем случае голодая, как голодают тысячи наших юношей и девушек в разных Бернах и Женевах, предпочитающие мучиться, но не креститься. Крестятся ради диплома, т.е. ради выгоды, ради того, чтобы вести потом сравнительно привольную жизнь адвоката, инженера или врача, а не быть вынужденным (о, ужас!) пасть, например, до приказчика. Я понимаю, что страшно больно бросить посредине раз намеченное русло жизни, ликвидировать мечты: но если люди не чувствуют, что дезертирство — это еще страшнее, еще больнее, если изо всех тяжелых перспектив им представляется наиболее приемлемой именно та, которая для здорового чутья должна казаться самой ужасной — отступничество, то какое

подыщешь имя, кроме нравственной глухоты? Да, наконец, разве только ради университета крестятся в наше просвещенное время? Больно перечислять в печати, пред чужими людьми, из-за каких пустяков это проделывается на каждом шагу... Ибо зачем терпеть даже малое неудобство, когда есть такой легкий выход, понимаете ли, такой *легкий*?! Эта легкость, необыкновенная, беспримерная, еще неслыханная в еврейской истории — это и есть главная особенность теперешней эпидемии, придающая последней совершенно своеобразный характер полного паралича высших этических центров. Где-то в яме копошатся шесть миллионов, голодают, стонут, рвут на себе волосы; сто тысяч ежегодно берут в руки посох, пробиваются через границу, иногда без паспорта, под выстрелами, — едут на край света бороться за кусок хлеба, и все это для них оказывается легче, чем отступничество! Дураки — они еще не поняли, что отступничество-то легче всего...

При всем том эти молодые люди находят, что, пуская корни на новой ниве, они оную ничуть не «засоряют». Это дело вкуса, судить об этом, в конце концов, могут только сами новые единоверцы наших беглецов. Что-то, однако, не слышно, чтобы неофиты из евреев где-либо, в какой бы то ни было христианской общине слыли украшением. Еврейству, впрочем, все равно, как и где акклиматизируются те, которые от него уходят. Но что не «все равно» — это самый факт, что нам, сидящим в яме, назначена премия за отступничество, и что в этом растлевающем сознании вырастает наша молодежь. В конце концов, ничего мудреного, если в ее душе развивается такая готовность к дезертирству по первому востребованию жизни. Она с детства знает — и ей не дают ни на минуту забыть, — что все запретное станет дозволенным, если только согласишься, с ложью в душе, поклониться чужим алтарям. Это сознание расшатывает характеры, ослабляет задерживающие центры, вытравливает нравственную брезгливость. А что может наша молодежь противопоставить этому соблаз-

ну? Из современного еврейского воспитания выброшено все, что могло бы закрепить в ее душе положительные связи с еврейством. Чуда нет, если в результате остается голая, плешивая, пустая душа. Пусть это иным покажется жестокостью, но, мне думается, лучше было бы российскому еврейству остаться совсем взаперти, без выхода, чем иметь перед собою *этот один выход*, эту развращающую перспективу уплаты наличными за самое отвратительное из лицемерий. Одно время долго держался слух, будто этих молодых людей так и не примут в университет. Сознаюсь, я бы очень мало этим огорчился. И еще менее огорчился бы, если бы это стало правилом, распространяющимся на все области полноправия. Ибо личная судьба нескольких «юрких Заксов» интересует нас, как прошлогодний снег; но для народа нашего, для подрастающих детей наших не было ли бы здоровее, если бы во мраке нашего бытия перестали мерцать эти тридцать серебрянников равноправия, покупаемые таким путем...

1910.

ОБМЕН КОМПЛИМЕНТОВ

Разговор

Это был именно разговор, беседа, *causerie*; я в ней не участвовал, а сидел сбоку и слушал, и потому не отвечаю ни за доводы, ни за выводы. Тему беседовавшим лицам дала нашумевшая статья А.Столыпина о «низшей расе». Собеседников двое: один русский, другой еврей; оба мирно сидят за чаем и ласково беседуют о том, чья раса ниже.

— По-моему, — сказал еврей, — вообще нет высших и низших рас. У каждой есть свои особенности, своя физиономия, свой комплекс способностей, но я

уверен, что если бы можно было найти абсолютную мерку и точно расценить прирожденные качества каждой расы, то в общем оказалось бы, что все они приблизительно равноценны.

— Как так? Чукчи и эллины равноценны?

— Я думаю. Поселите чукчей в условиях древней Эллады — и они, вероятно, дали бы миру свои ценности. Не те самые, какие дали миру греки, потому что у каждого народа свое, но все же ценности и, быть может, равноценные с эллинскими. Доказать это, конечно, не в нашей власти: я вам только высказываю свое убеждение, но зато уж это — глубокое убеждение. Я не верю в то, будто есть высшие и низшие расы. Все одинаково по-своему хороши.

— Странно слышать это именно из уст еврея. Вы, которые исторически смотрели на себя, как на племя избранное...

— Да, да, знаю этот довод. Я вам и больше скажу: после разрушения второго храма Титом еврейские мудрецы больше всего убивались именно о том, что Бог предал их в руки «умма шефела». «Умма шефела» значит буквально низшее племя. Понимаете, в их глазах римляне, блестящие римляне эпохи принцепата, уже впитавшие в себя, кроме собственной культуры, изысканную ценность эллинизма, — были все-таки низшей расой. Но это доказывает только одно: что те мудрецы были ослеплены. И точно так же все новые теории о низших расах — продукт ослепления.

— Нет, я с этим не согласен. Конечно, А. Столыпин пересолит; это объясняется его личным горем, которое именно ослепляет; надо это понять и простить. Но все же и в другую сторону пересаливать нет надобности. Что все расы равноценны, это парадокс. Я мог бы сослаться на негров, которые живут в Америке рядом с белыми и все-таки не равны белым, на турок, которые устроили Стамбул на том самом месте, где арийцы создали Византию, и т.д. Но я считаю ваше общее положение, будто все расы равно-

ценны, настолько парадоксальным, что даже не стану его опровергать. Вы не найдете пяти человек даже среди ваших единоверцев — вернее, *особенно* среди ваших единоверцев, — которые согласились бы с этим мнением. Оставим поэтому общий вопрос в стороне. Речь у нас шла о еврейской расе. Повторяю, Столыпин пересолил. Я не скажу, чтобы и с Чемберленом был вполне согласен, хотя это очень образованный и очень вдумчивый мыслитель. Я также не во всем согласен с вашим собственным Вейнингером, хотя и он приводит много поражающих, глубоких аргументов в подтверждение того, что еврейская раса, так сказать, неполноценна. Затем я читал кое-что и с вашей стороны — Гертца, который вообще отрицает расу, и нового писателя Цольшана, который считает еврейскую расу превосходной. Главное же, чем я интересуюсь, это жизнь, и вот вам общее впечатление, которое у меня осталось по этому вопросу из книг и из наблюдения жизни. Вы, несомненно, раса с какими-то крупными органическими духовными недочетами. (Вы понимаете, я не говорю об исключениях — есть очень почтенные евреи, я сам знаю идеальных людей из вашей среды; впрочем, и эти исключения можно объяснить случайным смещением крови; но тут не о них идет речь, вы понимаете).

— Понимаю, понимаю, не стесняйтесь, мы привыкли.

— И вот мое общее впечатление: вы раса безусловно неполноценная. Полноценной я называю расу творческую и гармонично-разностороннюю. Вы — ни то, ни другое. У вас нет и никогда не было собственного творчества. Доказано, что ваше единобожие и ваша суббота заимствованы; вы по отношению к этим идеям сыграли только роль популяризаторов, если позволите — даже коммивояжеров; к этой роли еврейская раса, действительно, весьма приспособлена. Зато еврейская душа неспособна ко многим восприятиям, ваша гамма ощущений крайне мала и

не имеет хроматических оттенков: этим объясняется то, что у вас в лучшие времена вашей независимости не было никогда пластических искусств. Для постройки храма Соломону пришлось вызвать зодчего из-за границы. В вашей Библии — даже в «Песни песней» — нет, говорят, ни одного слова, означающего цвет, окраску. Только про Давида сказано, что он был рыжий, да Суламифь себя называет смуглой: но краски природы, неба, моря, листвы — все это игнорируется, точно не существует, не нужно, не интересно для сухого, расчетливого, монотонного еврейского духа. Сравните с этим Гомера, его *rhododactylos Eos* — зарю с розовыми пальчиками!..

— Позвольте, при чем тут раса? Из той же расы произошли потом Израэльс, Левитан... Да чуть ли не вся «русская» скульптура, простите, тоже произошла из этой расы — Антокольский, Гинцбург, Аронсон... Просто в древности не могло развиваться у евреев художество потому, что религия запрещала изображать то, что «на небе вверху и что на земле внизу»...

— Нет-с, это не довод. Религиозные верования не объясняют национального характера, они сами должны иметь свое объяснение в особенностях национального характера. Народ с художественными задатками никогда не принял бы антихудожественной религии. Но вы меня не прерывайте. Я иду дальше: и библейская этика ваша, которой вы так гордитесь, какая-то сухая, расчетливая, — не рыцарская, чтобы не сказать — просто неблагородная. Каждый параграф имеет ясную практическую санкцию, обязательство Господа Бога уплатить наличными: дать землю, текущую млеко и медом, продлить дни твои на земле... Библия не знает высших стимулов морали — ни идеи совершенства, ни приближения к божеству, ни загробной жизни. Вдумайтесь только в этот факт: народ, в священных книгах которого нет ни слова о том, что будет с человеком после смерти!

Сравните это с арийцами, у которых вся религия-то началась с культа «отцов»! Ведь это разительное доказательство полного отсутствия интереса ко всему, что не имеет непосредственной практической цели. За пределами практических надобностей общегития у вас не только воля, но даже мысль не работала. Просто не интересовались. Неужели все это не дает права отрицать многогранность еврейской души? Неужели она равноценна с душой арийца, всестороннего, рыцарственного, мечтательного, гармонического? Поймите, я не хочу обидеть...

— Понимаю, понимаю. Пожалуйста.

— Да я кончил. Хотел только прибавить, что и в жизни не могу не видеть подтверждений этого взгляда. Распространяться на эту тему не хочу, но все-таки согласитесь, что если все, всюду, всегда ненавидят и презирают одну и ту же расу, то ведь нельзя это так просто объяснить одним тем, что все люди, мол, мерзавцы. Меняются предлоги вражды, меняется содержание обвинений, предъявляемых к евреям, но вражда и презрение вечны. Неужели вам самим в голову никогда не приходит, что, верно, есть в вас что-то такое неприемлемое, нестерпимое, раз всегда и повсюду вы наталкиваетесь на одно и то же отношение? Возьмите только список выдающихся людей, которые терпеть не могли евреев: кого вы там только не найдете! Цицерон, Ювенал и Тацит, Джордано Бруно и Лютер; Шекспир, Вагнер, Дюринг, Гартман, в сущности и Ренан; Пушкин, Гоголь, Шевченко, Достоевский, Тургенев... Это даже не десятая доля полного списка. Наконец, вот что я вам скажу. Вы, евреи, вообще мало встречаетесь с русскими, даже с юдофильствующими; а я среди них живу и знаю, как они к вам относятся, когда вас нет поблизости. Вы, господа, сами не знаете, сколько у вас врагов даже среди ваших друзей. Может быть, это не «вражда» в настоящем смысле, даже не презрение: это именно какое-то непреодолимое ощущение низшего существа, низшей расы. Это ощу-

шение есть у всех, и если какой-нибудь Миллюков или даже Плеханов станет меня уверять, будто оно ему не знакомо, я ему не поверю. А когда одно и то же чувство разделяют все, тогда то чувство — правда.

— Вы кончили?

— Кончил. Жду ваших возражений.

— Я не буду возражать.

— Вот как?

— Не буду. Разве укажу вам на две-три мелочи, которые мне больше запомнились. Например, о загробной жизни. В Библии о ней, действительно, не говорится; тем не менее совершенно ясно, что верования о загробной жизни у древних евреев были. Саул в Эн-Доре вызывает тень пророка Самуила: Самуил «подымается» и спрашивает: «зачем ты меня потревожил?» Для всякого, кто привык разбираться в истории культуры, ясно, что такая легенда, такие выражения, вообще самая идея вызывания мертвецов может зародиться только там, где есть вера, что мертвец и за гробом продолжает жить. А другие выражения Библии, вроде того, что «Авраам присоединился к народу своему», иными словами — умер? Или та тщательность, с которой Авраам выбирает место, где похоронить Сарру? Всякий социолог скажет вам, что это явные черты народа, веровавшего в загробную жизнь. Прямого изложения этих верований в Библии не сохранилось, но не забудьте, что почти вся древнейшая литература евреев погибла, и Библия — только осколки ее. В книге Эсфири ни разу не упоминается имя Божие. Если бы уцелела только она, вы бы стали уверять, что евреи не знали идеи Бога... Или вот, тоже о красках и вообще о искусстве. Во-первых, кроме русого Давида и смуглой Суламифи, в Библии есть еще и «зеленеющие» деревья, и «красная» чечевичная похлебка, и «синяя» пряжа. Во-вторых, картины природы в «Песне песней», именно по богатству зрительных впечатлений, куда полнее Гомера и его розопестрой зари. В-третьих — почему вы напираете на отсутствие пластических

искусств, а забываете о высоком развитии музыки у древних евреев? Книги Паралипоменон полны музыки даже чересчур — на каждом шагу музыка и пение. Это еще спорно, какое искусство глубже, какое искусство более артистично — пластическое или тоническое. А что касается до иностранных зодчих, то ведь и вам в России долгое время все лучшие храмы строили заморские архитекторы, однако вы себе не отказываете в художественной душе... Но это все мелочи. По существу я с вами спорить не буду.

— Значит, согласны?

— Нет, это просто значит, что о вкусах не спорят. Из ваших слов ясно только одно: что мы вам не нравимся. Это дело эстетики. Объективного критерия тут быть не может. Вы считаете, что ждать награды в загробной жизни есть этика высшего качества, чем ждать награды в жизни земной, а я считаю, что наоборот. Вы считаете, будто учение о приближении к божеству выше учения о том, что надо время от времени прощать долговые обязательства, и во время жатвы оставлять край поля неубранным — для бедняков; а я полагаю, что в этих простых правилах куда больше правды, и не земной, а божественной правды, правды, приближающей к божеству. Вы считаете, что заимствовать элементы культуры у Вавилона значит быть коммивояжерами; а я считаю, что всякое творчество в мире опирается на заимствованные элементы, и что народ, который сумел, на самой заре своей жизни, собрать эти осколки золота и создать из них такой вечный храм, — что этот народ есть народ творчества *par excellence* среди всех народов земли. Словом, дело вкуса. Я ведь не отрицаю рас, я не спорю против того, что есть арийское начало и есть еврейское и что они различны по содержанию. Я только считаю нелепостью всякую попытку расценить оба эти начала, установить, какое из них «высшее» и какое «низшее». Думаю, что перед лицом объективности оба равноценны и равно необходимы человечеству. А всякая оценка может ис-

ходить только из предвзятой нелюбви. Хотите, я вам покажу опыт?

— Какой?

— Я попробую проанализировать несколько моментов из русской истории. Буду при этом действовать так же, как вы: возьму в руки такую мерку, какая мне нравится, и буду ее прилагать к событиям, изложенным у Иловайского. Посмотрим, что получится. Хотите?

— Пожалуйста. Compliments за compliments.

— Именно. Начнем с мерки. По-вашему, мерка высшей расы — это творчество и многогранность. Я мог бы поспорить и на ту тему, доказало ли русское племя в чем-нибудь свою творческую многогранность — дало ли оно миру хоть одно великое новое слово в области науки, религии, философии, законодательства, техники, искусства... Но оставим это. Дело в том, что я выдвигаю другой критерий высшей расы: самосознание. В существе высшей породы, будь это ученый среди дикарей или аристократ среди плебеев, всегда живет неискоренимое, неподвластное его собственной воле сознание своей ценности. Внешне оно выражается в том, что мы называем разными именами — чаще всего гордостью. Это есть та черта, благодаря которой король Лир и в рубище остается королем: он с о з н а е т себя королем. Он не может отделаться от этого сознания. Это ощущение своей аристократичности есть первый и главный признак аристократичности. Конечно, иногда рагчену выдает себя за аристократа; с другой стороны, и у бушменов есть поверье, что остальные люди хуже их. Но достаточно выскочке встретиться лицом к лицу с настоящим барином, и трещина в его сознании сразу вскрыется: он смутится, он собьется с тона — и он о щ у т и т свою инфериорность. То же самое происходит с бушменом при столкновениях с белым человеком: в конце концов, белый ему все-таки импонирует. У обоих есть сознание своего превосходства, но у белого оно уцелеет, а у бушмена расша-

тается и атрофируется, и белый получит над ним не только кулачную, но и моральную власть. Поэтому признаком высшей расы можно считать только такое сознание превосходства, которое оказалось способным выдержать в течение долгого времени сильные конфликты и не пошатнулось.

— А, я понимаю вашу мысль. Так как, мол, евреи три тысячи лет верят в свое превосходство, то они...

— Нет. Речь у нас не о евреях, а о вас, русских. Я только разъяснял, что понимаю под словом «самосознание» и почему считаю наличность такого самосознания главным признаком высшей расы (если, конечно, допустить, что есть высшая и низшая расы). Высшая раса должна обладать прежде всего самосознанием; ей присуща непоборимая гордость, выражающаяся, конечно, не в спеси, но в стойкой выдержке, в уважении к ценностям своего духа. Самая мысль о том, чтобы подчинить себя и свою душу чужому началу, должна быть органически неприемлема для такой расы. Теперь возьмем Иловайского и начнем мерить этой меркой вашу русскую историю.

— Посмотрим.

— На заре этой истории мы встречаемся с призванием варягов. Факт замечательный. Вы скажете мне, что это басня, а не факт. Я знаю. Конечно, на самом деле оно произошло не так; вероятно, варяжские викинги просто-напросто захватили когда-то власть силой, и потом смутное воспоминание об этом событии превратилось в легенду. Но ведь легенда есть плод народного творчества, и в ней сказывается народная душа. Поэтому, если за «призвание варягов» русский народ не ответствен, то за легенду о призвании варягов он отвечает. Та идея, которая лежит в основе этой легенды, была, очевидно, вполне приемлема, совершенно естественна для русского народного самосознания, иначе легенда не сохранила бы этой идеи. А в чем эта идея? Что собрались вожди русской земли и решили поставить над собой вождя из-за границы. Не кто-нибудь, не простое му-

жичье, а воеводы собрались, и не нашлось у них достаточно самолюбия, чтобы додуматься до другого выхода из положения. Очевидно, народу, который создал эту легенду, который так объяснял себе факт воцарения чужеземцев, это казалось естественным; очевидно, его не шокировала мысль о том, что предки его сами управлять не могли и что единственным средством завести порядок было выписать начальника из-за границы. Чтобы понять всю соль этой басни, сравните ее с еврейской легендой о том, что произошло на заре еврейской истории. На заре еврейской истории Израиль уходит из-под власти чужеземного царя и пускается через пустыню — завоевывает себе обетованную отчизну. Вам не кажется, что в этих двух легендах — две народные психологии?

— Нет, не кажется. Впрочем, я ведь не спорю, я слушаю.

— Перелистываем Иловайского дальше. Останавливаю ваше внимание на странице, где рассказывается, как весь народ при Владимире принимал новую веру. Стоят по горло в воде и принимают новую веру. В это же самое время они кричат Перуну, которого по княжьему приказу сбросили в воду: «выдыбай, боже!» То есть Перун для них еще бог, который может выплыть. Я понимаю, народ меняет веру, когда старая расшатана. Но когда старая вера еще целехонька, когда она из глубины души народной кричит «выдыбай, боже!» — в это самое время лезть всем скопом в воду и принимать новую веру — это ясно говорит об одном: не было самосознания, не было гордого уважения к своему внутреннему достоинству, не было ощущения, что мне нельзя ничего навязать такого, чему нет корней в моей совести. Если есть расы высшие и низшие, то так не действует высшая.

— Одно замечание: у Иловайского приведена поговорка, объясняющая, почему пришлось лезть в воду. «Добрыня крестил мечом, а Путята огнем».

— Не сомневаюсь. Позвольте вам только напомнить для сравнения, что нас, евреев, крестили и огнем, и мечом; это у нас не поговорка, и вся наша история за 2000 лет этим полна — и, однако, ни Путьята, ни Добрыня ничего с нами не поделали. Очевидно, мы такой народ, с которым нельзя разговаривать с палкой в руках... Но я отвлекаюсь; вернемся к Иловайскому. Перед нами татарское иго. Это одно из самых странных политических явлений на свете. Оно почти беспрецедентно. Когда римляне завоевывали страну, они ставили там гарнизон, выводили туда римские или латинские колонии; это была оккупация, в той или иной форме. Тут было совершенно другое. После страшного разгрома татары отхлынули к себе в орду; они, собственно, эвакуировали Русь, и не фактическим постоем, а одним только угрожающим видом своим, издали, держали ее в повиновении. Вам не кажется, что для этого нужен был ей какой-то особенный... талант повиновения? Конечно, разгром был ужасный, память об этом уроке изгладиться не могла; но, все-таки, есть характеры строптивые, жестоковейные, которые быстро забывают самый кровавый урок и дерутся, пока не обрубят им рук, — и есть другие характеры, помягче. Сравните опять-таки, ради параллели, отношение евреев к чужеземному владычеству над Палестиной. Пока хоть горсть иудеев оставалась на святой земле, страна не покорилась. Не с ордою кочевников, а с великим Римом воевали Бар-Гиора и Бар-Кохба! Татары оставили удельной Руси полную автономию, и она смирялась и платила дань. Римлянам пришлось провести плуг по Иерусалиму, сравнять с землей цветущие города Галилеи, истребить и разогнать еврейское население чуть ли не до последнего человека, и только тогда Иудея подчинилась. Кровавая баня Тита была тоже страшным «уроком», но через 70 лет Бар-Кохба уже успел его забыть. Очевидно, не все расы обладают счастливой способностью так свято помнить «уроки», чтобы достаточно было хоро-

шенько «проучить» один раз, и повиновение гарантировано на 200 лет. Есть расы неукротимые, и есть поддающиеся укрощению. Какие «выше»?

— Дело вкуса, как вы сами сказали. Но я вас слушаю, продолжайте.

— Нет, признаться, мне уж надоело. Мы ведь не так интересуемся вашей историей, как вы, антисемиты, нашей. Разве еще укажу на одну маленькую деталь, относящуюся к той же странице Иловайского — о татарском иге. Там рассказывается, что ваши князья ездили в орду на поклон и становились на колени перед ханом. Я этого не осуждаю, это было очень благоразумно и патриотично. Но вот вам параллель — из романа «Камо грядеши», сочинение Сенкевича. К Нерону приходят разные лица и становятся на колени; только два раввина не преклоняют колени, и Нерон с этим мирится, ибо, очевидно, понимает, что тут ничего не поделаешь: евреи не станут на колени. Да, словом, есть расы и расы, и какая из них «выше» — трудно разобрать...

— Знаете, что я вам на все это скажу? Вы еще больший руссофоб, чем я антисемит.

— Это я самым решительным образом отрицаю. Для меня все народы равноценны и равно хороши. Конечно, свой народ я люблю больше всех других народов, но не считаю его «выше». Но если начать меряться, то все зависит от мерки, и я тогда буду настаивать, между прочим, и на своей мерке: выше тот, который непреклоннее, тот, кого можно истребить, но нельзя «проучить», тот, который никогда, даже в угнетении, не отдает своей внутренней независимости. Наша история начинается со слова «народ жестоковыйный» — и теперь, через столько веков, мы еще боремся, мы еще бунтуем, мы еще не сдались. Мы — раса неукротимая во веки веков; я не знаю высшей аристократичности, чем эта.

— Гм... — сказал русский. — Да, вы правы, это дело вкуса. Я... остаюсь при моем вкусе.

1911.

ВМЕСТО АПОЛОГИИ

Если вникнуть как следует во вкус ритуального обвинения, возникает ощущение очень тяжелое, для впечатлительного человека нестерпимое. Вы вдумайтесь: ведь это про нас — про меня, вас, вашу мать! Каждый из нас, говоря с иноверцем, должен, значит, помнить, что тот, быть может, в эту самую минуту ежится и думает: «а кто тебя знает, не хлебнул ли когда-нибудь и ты из ритуальной рюмочки?» Попробуйте во все это вникнуть! В сущности, ведь это ужаснее, чем все остальное, что мы переносим в этой тюрьме. Я себе представляю, что впечатлительный человек, вдумавшись в это обвинение как следует, во всю глубину, может сойти с ума от обиды и отчаяния, или, по крайней мере, должен рыдать и рвать на себе волосы...

Человек менее слабонервный, но зато наивный, должен выбежать на улицу, хватать там прохожих за полу или за пуговицу и доказывать им, пока не охрипнет горло, что это клевета, что мы ни в чем подобном не виноваты. Наконец, человек слепорожденный (среди нас таких очень много) поступит иначе. Он себя успокоит обычными успокоительными фразами: что в такую нелепость никто в сущности не верит; что сами обвинители в нее не верят; что это просто политический маневр; что вся благоразумная часть христианского населения (а таковая, конечно, в подавляющем большинстве) слушать не желает подобной клеветы, даже возмущена ею; что, словом, все обстоит благополучно и на Шипке спокойно.

Я не принадлежу ни к впечатлительным, которые охают, ни к наивным, которые оправдываются, ни к слепорожденным, которые не видят, что у них под носом происходит. Особенно резко должен отмежеваться от последней категории. Конечно, очень удобно и очень приятно воображать, будто все твои враги просто мошенники и сознательные обманщики; но такое упрощенное понимание неприятельской

психологии всегда в конечном итоге приводит к величайшим поражениям. Ибо оно неправильно и несправедливо. Среди наших врагов далеко не все лыком шиты и далеко не все сознательные лжецы. Очень советую одноплеменникам моим не заблуждаться на этот счет. Среди правых есть и вполне искренние люди. Эти люди совершенно искренно верят, что евреи действительно употребляют в пищу кровь христианских младенцев; по крайней мере, что среди евреев есть такая секта. Эти люди могут также совершенно искренно думать, что убийство Юшинского в этом смысле подозрительно и что надо его расследовать с особенной тщательностью, иначе богатые евреи подкупят отечественную Фемиду, и дело будет замазано. Они совершенно искренно считают евреев богатыми, а отечественную Фемиду покладистой. Поэтому отделаться от них будет не так легко и не так просто, как это думают многие из нас. Вообще все это дело гораздо сложнее.

Оно особенно сложно потому, что вера в ритуальные убийства распространена не только среди правых. В нейтральной, беспартийной массе, даже интеллигентной, тоже далеко еще не искоренилось это подозрение. Смешно и глупо замалчивать это обстоятельство. Мало ли раз всякий из нас, кому только приходилось встречаться с христианами, слышал от самых милых людей откровенные признания в этом сомнении? Конечно, милые люди выражают это сомнение не в такой грубой форме. Они обыкновенно говорят так: «Конечно, мы не сомневаемся, вы и ваши близкие об этом не знаете. Но... может быть, ваши раввины знают? Мало ли таких древних религий, в которых высшие таинства известны только немногим посвященным?». Другие еще добрее, они идут еще дальше по пути уступок и ставят вопрос так: «Может быть, это какая-нибудь особенная секта? Можете ли вы поручиться, что знаете наперечет все секты в лоне еврейства и все тайны каждой секты? Вот и у нас есть изуверы — хлысты и скопцы — разве мы за них в ответе? Зачем же вам так волно-

ваться и огулом отрицать то, что все-таки, быть может, имеется в действительности?» Так говорят многие, очень многие из самых милых наших соседей; причем я их называю милыми без всякой иронии, а серьезно. Есть вполне порядочные, совершенно благожелательные люди, которые, однако, высказываются именно в этом смысле. Кто скажет, будто таких нет, тому я просто отвечу, что он говорит неправду. Они есть, и всякий из нас имел случай их видеть и слышать. А сколько таких, которые не высказывают вслух, но думают то же или еще хуже? И больше спрошу: где гарантия, что это подозрение так цепко держится только в беспартийной, нейтральной среде? Неужели для того, чтобы стать кадетом, надо раньше искоренить в себе все предрассудки, даже взрощенные веками? Неужели в рядах трудовиков нет места человеку, который подписывается под всей партийной программой, но все-таки еще не может, положив руку на сердце, поручиться, что в Талмуде, который знать он не обязан, нет параграфа о ритуальном убийстве? Не хочу вести это рассуждение дальше налево, только напомню, что главный материал, из которого строятся или должны бы строиться русские левые партии, это — или крестьянство или фабричные, вчера вышедшие из деревни. Наши слепорожденные горько ошибаются, и суждено им еще горько разочароваться.

Ошибаются во многом и наивные — те, что по всякому поводу становятся в позу и начинают защитительную речь. Их доводы так же однообразны, как обвинения противной стороны. Одно и то же из века в век. Сначала доказывается, что еврейская вера воспрещает употребление крови: затем идет доказательство, что самые знаменитые ритуальные процессы всегда кончались торжеством истины, оправданием невинных и посрамлением клеветников. И толпа этих доводов не слушает, и никто в толпе с ними не считается. На перечень оправдательных приговоров отвечают: жида подкупили суд. На перечень

текстов, запрещающих употребление крови. отвечают: значит, есть еще один текст, который разрешает, и его-то вы нам не хотите процитировать. Вся аргументация пропадает даром, как вода в дырявой бочке. Я не вообще отрицаю полезность документальной защиты, но она полезна только в свое время и на своем месте. Место ей — на суде, место ей — в настоящем парламенте, но только в настоящем, где происходит действительно серьезное рассмотрение серьезных вопросов. Когда вместо парламента имеется митинг, чтобы не сказать хуже, — митинг, где с трибуны несутся ругательства, оскорбления, призывы «бей», где резонов никто не слушает и документами никто не интересуется, — тогда защитительное красноречие не имеет никакой ценности и никакого смысла. Двести раввинов (в который раз) печатно побужились, что евреи не пьют крови младенцев, — и никто этого не заметил, даже черносотенная пресса не огрызнулась как следует: просто прошла мимо, не оглянувшись. То же самое впечатление произвели и произведут все бывшие и будущие речи на эту тему еврейских депутатов. С документами и доводами считаются там, где собрались люди с намерением спокойно и беспристрастно исследовать. В атмосфере свалки, бешенства, битья чем попало — все оправдательные слова неуместны.

Может быть, даже вредны. Вот уже несколько лет, как евреи в России плотно сидят на скамье подсудимых. Это не их вина. Но вот что бесспорно их вина: они себя держат, как подсудимые. Мы все время и во все горло оправдываемся. Мы божимся, что мы совсем не революционеры, не уклоняемся от воинской повинности и не продавали Россию японцам. Выскочил Азеф — мы начинаем божиться, что мы не виноваты, что мы совсем не такие, как он. Выскочил Богров — и опять нас за шиворот тащут на скамью подсудимых, и опять мы входим в навязанную роль и начинаем оправдываться. Вместо того, чтобы повернуть обвинителям спину, ибо не в чем и не перед кем нам извиняться, мы опять божимся, что мы тут ни при чем, и для пушей убедительности начинаем

усердно отплевываться от памяти Багрова, хотя над этим — каков бы он ни был — несчастным юношей, в час изумительной его кончины, и без нас достаточно надругались те десять хамов из выгребной ямы киевского черносотенства. Теперь подняли гвалт о ритуальном убийстве — и вот уже мы опять вошли в роль подсудимых, мы прижимаем руки к сердцу, перебираем дрожащими пальцами старые кипы оправдательных документов, которыми никто не интересуется, и божимся на все стороны, что мы этого питья не потребляем, отродясь ни капельки во рту не бывало, разрази меня Бог на этом месте... Доколе? Скажите, друзья мои, неужели вам эта канитель еще не надоела? И не время ли, в ответ на все эти и на все будущие обвинения, попреки, заподозривания, оговоры и доносы, просто скрестить руки на груди и громко, отчетливо, холодно и спокойно, в качестве единственного аргумента, который понятен и доступен этой публике, заявить: убирайтесь вы все к черту? Кто мы такие, чтобы пред ними оправдываться, кто они такие, чтобы нас допрашивать? Какой смысл во всей этой комедии суда над целым народом, где приговор заранее известен? С какой радости нам по доброй воле участвовать в этой комедии, освящать гнусную процедуру издевательства нашими защитительными речами? Наша защита бесполезна и безнадежна, враги не поверят, равнодушные не вслушаются. Апологии отжили свой век.

Наша привычка постоянно и усердно отчитываться перед всяким сбродом принесла нам уже огромный вред и принесет еще больший. Население привыкло к этому, привыкло слышать из наших уст жалобный тон обвиняемого. Положение, которое создалось в результате, трагически подтверждает известную поговорку: *qui s'excuse s'accuse*. Мы сами приучили соседей к мысли, что за всякого проворовавшегося еврея можно тащить к ответу целый древний народ, который законодательствовал уже в те времена, когда соседи еще и до лаптя не успели додуматься. Каждое обвинение вызывает среди нас такой переполох, что люди невольно думают: как они всего

боятся! Видно, совесть нечиста. Именно потому, что мы согласны в любую минуту вытянуть руки по швам и принести присягу, развивается в населении неискоренимый взгляд на нас, как на какое-то специально вороватое племя. Мы думаем, будто наша постоянная готовность безропотно подвергнуться обыску и выворотить карманы, в конце концов убедит человечество в нашем благородстве: вот мы, мол, какие джентльмены — нам нечего прятать! Но это грубая ошибка. Настоящие джентльмены — это те, которые никому и ни за что не позволят обыскивать свою квартиру, свои карманы и свою душу. Только полнадзорные готовы к обыску во всякий час. И мы себя ставим именно в такое положение, не считаясь с самой ужасной опасностью: а что, если нам подбросят краденую вещь?

До сих пор ритуальные убийства подбрасывались нам почти всегда неумелыми, топорными руками. Но я считаю вполне возможным, чтобы и в этой области сказался однажды общий технический прогресс нашего времени. Может найтись виртуоз, который так умно и тщательно разработает план, учет и предусмотрит все неожиданности, что эффект получится самый ослепительный. В этом предположении нет ничего невероятного. Среди антисемитов теперь есть очень культурные люди, а с другой стороны — очень богатые и могущественные люди, которым доступны самые верные средства фальсификации. Не так трудно теперь найти и еврейчика-лжесвидетеля: этого добра и в прежние времена было немало, а теперь особенно. В результате могут пред нами в один прекрасный день разыграть такую правдоподобную комедию ритуального убийства, что самый честный, самый беспристрастный судья поколеблется. Что же мы скажем тогда — мы, которые чуть не всю свою оборону строим на том, что судьи нас по большей части оправдывали? Но я считаю возможным, даже вполне вероятным и другой, гораздо более ужасный случай. Еврейство сильно изнервничалось; кажется, мы один из первых народов по количеству душевнобольных. В той атмосфере травли, которую создает

вокруг нас басня о ритуальном убое, могут в конце концов у нас народиться и маньяки, помешавшиеся на этой басне. Если не ошибаюсь, в Падуе в XVI веке был такой случай: еврей Давид Морпурго впал в безумие и стал кричать, чтобы к нему привели 3-летнюю дочь соседа-католика — он ее зарежет и окропит ее кровью опреснок. Раввины связали его и выдали властям; по счастью, безумие его оказалось очевидным, и дело не кончилось погромом. Но за 400 лет наши нервы сильно расшатались, и теперь не будет чудом, если явится более утонченный маньяк, который кричать не станет, а просто возьмет и сделает. Я считаю странным счастьем, что этого до сих пор не случилось. Не забудьте, среди какого кошмара мы живем, под каким ужасом воспитывается наша молодежь. Мы уже видели таких, которые помешались на революции, на терроре, на экспроприациях; в эпидемии самоубийств есть несомненная примесь психического расстройства; недавнее половое поветрие тоже выдвинуло заметный элемент явных маньяков. И вот, если разразится такая беда, что мы скажем, какие тексты вытащим? Будем ждать реабилитации своего народного имени от суда и экспертов: если они признают, что это сумасшедший, то наша честь спасена; а если маньяк попадется вроде Джека-потрошителя, трезвый и уравновешенный во всем, кроме своей мании, и покажется экспертам здоровым, тогда мы, значит, признаем себя обесчещенными навек? Ибо таков будет неотвратимый вывод из нашей мании — реагировать на каждый попрек, принимать всенародно ответственность за каждый проступок еврея, оправдываться перед кем попало — в том числе и черт знает перед кем.

Я считаю эту систему ложной до самого корня. Нас не любят не потому, что на нас возведены всяческие обвинения: на нас взводят обвинения потому, что не любят. Оттого этих обвинений так много, они так разнообразны и так противоречивы. Сегодня нам кричат, что мы эксплуатируем бедных, завтра кричат, что мы сеем социализм, ведем бедных против эксплуататоров. Одна польская газета на днях уверя-

ла, что евреи расчленили Польшу и отдали ее России, а 100 русских газет уверяют, что евреи хотят расчленить Россию и восстановить Польшу. Итальянцы уверяют, что нападки на них во всей европейской прессе — дело евреев, а турецкая оппозиция утверждает, что на захват Триполи подбили Италию евреи. Что же, на весь этот визг и лай со всех сторон надо откликаться, божиться, уверять, присягать? Немыслимо и бесполезно. Если даже опровергнем одно, родится другое. Человеческая злоба и глупость неисчислимы. С оправданиями можно выступать только в редкие, исключительно важные моменты, когда есть полная уверенность, что сидящий пред тобою ареопаг действительно имеет справедливые намерения и надлежащую компетенцию. Но делать из апологии систему для каждого дня, выносить ее на улицы, на трибуну митинга, хотя бы и именуемого парламентом, на летучие столбцы газеты — это значит унижать себя до равенства с лающей псарней.

Нам не в чем извиняться. Мы народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из первых условий равноправия, требуем признать за нами право иметь своих мерзавцев, точно так же, как имеют их и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так мало при нынешних условиях. У других народов тоже много этого добра, а зато еще есть и казнокрады, и погромщики, и истязатели. — и, однако ничего, соседи живут и не стесняются. Нравимся мы или не нравимся, это нам, в конце концов, совершенно безразлично. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было; но если они хотят непременно верить, что «есть такая секта» — пожалуйста, пусть верят, сколько влезет. Какое нам дело, с какой стати нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам? Нисколько: ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо, и совершенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обя-

зана оправдываться. Даже тогда, когда есть в чем оправдываться. С какой же радости лезть на скамью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, и знаем цену ей, себе, им? Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим.

1911.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ШКОЛЫ

Почитать передовые газеты — выходит так, будто в законопроекте о всеобщем обязательном обучении, который теперь обсуждается в Государственной Думе, одно большое горе: земства и городские самоуправления отстранены от заведования проектируемой начальной школы. Если бы не эта беда, то со всем остальным, сделав маленькие поправки, можно было бы примириться. Так выходит по газетам, особенно по столичным. Несомненно, что устранение земств и городских дум — большая беда; хотя, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что при нынешних порядках возможны такие составы земских управ и городских муниципалитетов, которые, пожалуй, куда свирепее самого свирепого столоначальника. Но дело в том, что и при передаче школ в самое полное и безграничное ведение местных самоуправлений — этот законопроект остался бы абсолютно неприемлем без малого для двух третей населения России, т.е. для той его части, которая не принадлежит к великорусской народности. Ибо вопрос о всеобщей школе есть прежде всего вопрос о языке преподавания.

У «нас» об этом всегда забывают. Либералы-то «мы» либералы, радикалы-то «мы» радикалы, а в некоторых важных отношениях «наше» мирозерцание вполне направляется и диктуется начальством. Начальство принципиально не признает разницы между понятиями «русское» и «российское», и «мы» тоже в конце концов игнорируем эту разницу. Между тем она очень почтенна: «русское» означает свойственное одной из народностей, населяющих Империю, а «российское» означает свойственное всей России. Конечно, русская народность — величайшая в государстве, богатейшая по культурной силе — по крайней мере, в количественном отношении; она своим трудом и талантом создала это громадное государство, и она при каких угодно политических реформах, в силу своего удельного веса, останется здесь «первой среди равных». Но — среди равных, а это у «нас» даже радикалы забывают. Забывают, пользуясь тем, что вековое казенное насилие культурно обесплодило почти все эти национальные меньшинства, залушило в корне их творческие попытки и заставило — или отказаться от просвещения, или искать его в чужом источнике. В конце концов, это забвение, это замалчивание самой наличности гигантского иноязычного большинства незаметно и (надеюсь) бессознательно превращается у «нас» в косвенное содействие казенной руссификации. Создается такое впечатление, словно все уже обрусели, а те, которые еще не успели, только о том и мечтают, чтобы обрусеть; следовательно, давайте им помогать в этом похвальном стремлении и насаждать русскую культуру в качестве всероссийской. А инородцы удовольствуются театрами для простонародья — конечно, в такое время, когда сцена не занята под «серьезные» спектакли.

Между тем в действительности это все обстоит далеко не так. Большая публика мало знакома даже с элементарной арифметикой государства — с официальной статистикой населения. А не мешало бы знать. В 1897 году правительством была произведена

всероссийская однодневная перепись, результаты которой были официально опубликованы лет 5-6 тому назад. По этой переписи население России в отношении родного языка распределяется следующим образом:

Великороссы.....	43,30	проц.	всего населения
Украинцы.....	17,41	»	»
Поляки.....	6,17	»	»
Белоруссы.....	4,57	»	»
Евреи.....	3,94	»	»
Киргизы.....	3,18	»	»
Татары.....	2,91	»	»
Немцы.....	1,40	»	»
Литовцы.....	1,29	»	»
Латыши.....	1,12	»	»
Башкиры.....	1,12	»	»
Грузины.....	1,05	»	»
Армяне.....	0,91	»	»
Молдаване.....	0,87	»	»
Мордва.....	0,79	»	»
Эсты.....	0,78	»	»

Остальные народности, насчитывающие меньше миллиона членов, опускаю для краткости. Надо иметь в виду, что под этими скромными на вид процентами скрываются громадные абсолютные цифры. Украинцев, например, 22 с половиной миллиона — на 4 миллиона больше, чем, например, испанцев в Испании. «Каких-нибудь» литовцев — 1.658.000 тысяч: в Норвегии в то же время насчитывалось немногим больше 2 миллионов населения, а между тем норвежская культура поставляет модных писателей на весь цивилизованный мир. Иными словами, все это крупные народы, которые при других условиях могли бы создать свою самобытную культуру, прославить имя свое и, в конце концов, принести общему отечеству России несметно больше пользы, чем теперь, когда они прозябают почти все на задворках, в качестве бесплатного приложения к великорусской народности. При этом следует отметить еще одно

обстоятельство: количество великороссов в переписи несомненно преувеличено, так как на русском языке говорит — особенно в городах Малороссии, западного края, юга, Поволжья, северного Кавказа — множество руссифицированных инородцев, которые, однако, признают себя членами других национальностей и при первой возможности воспитали бы своих детей на другом языке. Таких элементов особенно много среди украинцев, а также евреев и армян. Несомненно, были крупные ошибки в пользу великорусского элемента и при переписи в сельских местностях Поволжья, где мордва, черемисы и чувашаи сильно перемешаны с русскими. Не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать наверняка, что действительное количество великороссов в России вряд ли многим выше одной трети всего ее населения. Это, приблизительно, то же место, которое занимают немцы в Австрии.

Конечно, дело не в одних цифрах, дело главным образом в психологии: есть ли у всех этих народностей воля к национальной жизни, или они, быть может, уже примирились с перспективой растворения в котле чужой культуры? У «нас» часто уверяют, будто уже примирились; особенно настойчиво утверждают это по отношению к украинцам и белоруссам. Какие, мол, они украинцы, какие белоруссы! Они сами только о том и мечтают, как бы скорее разучиться говорить по-мужичьи и перейти к господской речи. Сюда обыкновенно прищипливается «филологическая» справка о том, что украинский (а тем более белорусский) язык не язык даже, а просто наречие, один из говоров великорусского. Эта филологическая справка есть простая болтовня: испанский и итальянский, норвежский и датский, немецкий и голландский языки еще ближе друг к другу, чем русский и украинский, а все-таки это особые языки с особыми культурами, потому что самостоятельность языка определяется не филологами, а сознанием народов. Впрочем, и с филологической стороны дело обстоит

не так плохо: в 1905 году Петербургская академия наук в ответ на запрос комитета министров составила докладную записку, где обстоятельно доказывалось, что украинский язык сам по себе, а русский сам по себе и что замена первого вторым в народных школах Малороссии привела к понижению культурного уровня. — Но помимо всего этого, самостоятельное развитие украинской культуры есть факт непреложный и, так сказать, официальный — в двух шагах отсюда, в Галиции. Нечего уже говорить о литературе, театре и печати; но на этом языке — несмотря на все стеснения и препятствия со стороны шляхты, хозяйничающей в крае, — там ведется и преподавание в народных школах и в нескольких гимназиях: в львовском университете на этом языке читаются некоторые лекции, и на очереди стоит вопрос об учреждении специально-русского университета; наконец, на этом языке обязаны судить и рядить судьи и чиновники в восточной Галиции. Всему этому из России помешать нельзя, и потому вопрос о том, «может» ли и «должен» ли украинский язык создать особую культуру, есть вопрос праздный. Какие там разговоры, какое там «может» или «должен», когда есть на лицо?

Вопрос же о том, есть ли у многочисленных народностей России воля к национально-самобытной жизни, решается тоже не рассуждениями, а фактами, опытом жизни. Ясный ответ дает недавно вышедшая книга «Формы национального движения в современных государствах». Там в ряде отдельных очерков, написанных такими специалистами, как проф. Грушевский, Л.Крживицкий, С.Дубнов, член Думы Булат, прив.-доц. Авалов, Л.Штернберг, изображено настроение главнейших народностей европейской и азиатской России в эпоху освободительного движения. Выводы получаются очень любопытные. Оказывается, при первом ветерке свободы все они, без исключений, потребовали эмансипации от чуждой им русской культуры и права на свою национальную

школу. Вот несколько примеров. В сентябре 1906 года епархиальный съезд духовенства (!) Подольской губернии возбудил перед синодом ходатайство о введении в начальных школах губернии преподавания всех предметов на украинском языке, а также о введении обязательного изучения украинского языка, истории и литературы в каменец-подольской духовной семинарии. Полтавская городская дума постановила вести в школе имени Котляревского преподавание на украинском языке. Во множестве сельских школ эта реформа была введена «явочным порядком» — не только на крамольном левом берегу Днепра, но и в благонамеренной правобережной Украине, напр., в Брацлавском уезде. — Съезд б е л о р у с с к и х учителей, собравшийся в мае 1907 года, постановил о необходимости вести все преподавание в начальных школах на белорусском языке. Вслед за этим образовалась «Белорусская национальная хэура» — союз учащихся в Глуховском учительском институте (Черниговской губ.); союз тоже ставит своей целью национализацию школы. Автор статьи, г. А.Новина, сообщает: «Нам известен ряд школ — конечно, частных, где обучение детей ведется по-белорусски (в Могилевской, Минской и Виленской губ.). Спрос на учителей для таких школ растет». — У е в р е е в требование национальной школы, с преподаванием всех предметов на еврейском языке выставлено было всеми, без исключения, еврейскими партиями: и сионистами, и Бундом, и даже петербургской обруселой буржуазией. — У л и т о в ц е в борьба за родной язык осложнялась борьбою за родной алфавит: до 1904 было запрещено печатать литовские книги иначе, как русскими буквами. Однако «литовские родители считали и считают своей обязанностью хоть тайно обучать своих детей, по крайней мере, чтению на литовском языке». В дни свободы началась в сельских школах повальная замена чужих учителей литовскими. Возникли разного рода культурно-просветительные общества. Одно из них, «Светило»,

основало ряд школ, где преподавание велось на литовском языке: другое, «Свет», с 18 отделениями, 10 библиотеками, организовало театральную группу и тоже учреждало школы. В 1905 году образовался «союз учителей-литовцев», требовавший национализации всех школ Литвы и возрождения виленского университета, но уже не в качестве польского, а литовского. — Л а т ы ш и требовали латышского языка в школе, суде и самоуправлении, латышского г о р о д с к о г о театра в Риге (частные театры у этого в высшей степени культурного народа есть в изобилии), даже латышских надписей на улицах, трамваях и т.д. — У а р м я н «под влиянием новых условий жизни и новых идейных факторов национальная идея не только не ослабевает, но приобретает более широкий и ясный характер». Некоторые остатки национальной школы у армян еще сохранились, благодаря церковной автономии, так что в этом отношении им в 1905-1906 году пришлось требовать не реформы, а только упрочения и развития существовавшего порядка. — У к а л м ы к о в и б а ш к и р в 1907 году возникли «учительские союзы» с национально-культурной программой. Б у р я т ы «категорически требуют введения родного языка в школе, суде и самоуправлении»; они же учреждают издательство учебников и переводных книг. В апреле 1904 г. состоялся в Чите с разрешения губернатора съезд бурят и тунгусов Забайкалья, выработавший проект реформы управления краем, а в том числе всеобщего обязательного обучения на монгольском языке. Я к у т ы учредили в Якутске национальный театр, где ставились «не только драмы, но даже оперы» и т.д.

Всех не перечислишь, да и не нужно. Все ведь это смела реакция, уничтожила большую часть драгоценных культурных ростков. Но приведенные факты остаются фактами и непреложно доказывают одно: воля к национально-самобытной жизни есть. Около 60 процентов населения России не хотят великорус-

ской школы, ибо хотят учиться на своих языках и творить свои культуры. Россия им дорога, как идея общности, взаимной защиты, круговой поруки; она им рисуется в перспективе будущего прекрасным человеческим садом, где самые разнообразные культурные цветки мирно распускаются один подле другого, каждый в своем своеобразии, соперничая друг с другом красотой и ароматом, а не кулаком и обухом. Вне этого идеала для них нет просвещения и нет прогресса, а есть только грубое насилие, загримированное (да еще неудачно) под цвета просвещения и прогресса.

Законопроект предусматривает какое-то двухлетнее обучение на «местном» языке, с тем, однако, чтобы с третьего года все преподавалось по-русски; но и эта «льгота» предусмотрена только для уездов с нерусским большинством, причем, конечно, украинцы и белоруссы будут любезно зачислены в состав «русского большинства». Кроме того, предстоит, очевидно, отбор «местных» языков, причем некоторые будут просто признаны несуществующими: украинского языка не существует, белорусского тоже, молдавского в Бессарабии тоже, финских наречий на Волге и на севере тоже, а об еврейском языке и говорить нечего: «обретается в не тех» и не имеет никакой культурной реальности. Несколько щедрее оказываются, судя по телеграммам, октябристы: они собираются голосовать за четырехлетнюю, а не двухлетнюю отсрочку принудительной руссификации. Но и октябристы не согласны признать школьными языками такие, как украинский или еврейский. 22.500.000 малороссов, 6 миллионов белоруссов, 6 миллионов евреев, 3 миллиона поволжских и северно-российских финнов и прочая «м е л к о т а» обрекаются на национальное исчезновение.

Конечно, в самом горьком положении окажутся при этом порядке евреи. Этот народ живет главным образом среди поляков, украинцев, белоруссов, литовцев, эстов, латышей и молдаван и меньше всего

соприкасается с великороссами. Как же будет решена его судьба? В какие школы будут гнать его детей? Из проекта это неясно. Во всяком случае, раз преподавание на еврейском языке исключено, а посещение школы обязательно, остается одно из двух: или школы местного большинства — польские, литовские, латышские, эстонские, немецкие, — или русская школа. В том и в другом случае горемычному племени уготовляется в недалеком будущем перспектива, одновременно курьезная и трагическая. Что значит обучение в школах местного большинства, это мы видим в Австрии, где часть евреев воспитывается по-немецки, часть по-польски, часть по-чешски, часть по-итальянски, все они друг от друга отрезаны, друг друга не понимают, не могут объединиться ни для отпора против антисемитизма, ни для борьбы за действительное осуществление бумажного равноправия и, в результате, представляя собою народ в миллион с четвертью индивидуумов, не играют в Австрии никакой политической роли, тогда как словинцы, итальянцы, хорваты, которых гораздо меньше, имеют в руках прочную долю влияния на государственные дела и извлекают из этого влияния реальные выгоды. Тем хуже будет в России, где равноправия не только на бумаге, но и в перспективе нет и где евреям, как свет и воздух, необходимо единство, солидарность, организация. Вместо этого им, кажется, предоставлено будет распределиться по нациям: рижские будут числиться латышами, ковенские литовцами, ломжинские поляками, а мы, южане, значит, будем великороссы. А там, даст Бог, лет через 20, разовьются у нас и соответствующие национальные чувства. Мы, южные великороссы моисеева закона, будем гордо смотреть сверху вниз на ковенских литвинов иудейского вероисповедания и будем их корить:

— Что у вас за культура? Ерунда, а не культура. «Наша» лучше!

А «литвин» скажет:

— Врешь, «наша» куда лучше!

В Австрии эта картинка встречается сплошь и рядом. Худшие шовинисты-подстрекатели, наиболее резко призывающие венских немцев душить чеха, — это евреи из редакции «Neue Freie Presse». Зато в австрийском рейхсрате три четверти немецких депутатов — непримиримые антисемиты, а в Вене двадцать лет господствуют христианские социалисты.

Еще приятнее другая альтернатива: если нас застают учиться только по-русски. Уже и теперь евреи во многих городах черты оседлости, где великорусского населения нет, являются единственными, так сказать, представителями русской культуры, т.е., говоря точнее, единолично руссифицируют край. Вильна, например, руссифицирована только еврейской интеллигенцией; и что-то незаметно, чтобы за эту услугу евреев очень любили тамошние великороссы, — а зато поляки и литовцы открыто ставят евреям этот подвиг в большую вину. То же самое в Малороссии. Украинская печать вообще и прогрессивна, и демократична, но когда речь заходит о руссификаторской роли еврейской интеллигенции, эта печать выходит из себя и положительно сбивается на антисемитские ноты. И хуже всего то, что не знаешь, какими словами протестовать. Ибо ведь действительно правда, что города Украины, где великороссов можно по пальцам перечесть, и вполтину бы не носили того характера, который носят теперь, если бы еврейская интеллигенция не так усердно шла навстречу администрации в смысле насаждения русского языка. Прикрепощение евреев к русской школе зафиксировывает этот порядок вещей и делает еврейское население окончательно ненавистным в глазах самых демократических элементов местного большинства...

Из всего сказанного следует ясный вывод: всеобщее обязательное обучение, если оно не производится для каждой группы населения на том языке, который группа эта признает языком своей национальной культуры, не имеет ничего общего ни с про-

свещением, ни с прогрессом. Ярко и отчетливо заявил это однажды в Думе польский депутат: лучше никакой школы, чем такая. Нет ни одного здорового народа, который не присоединился бы к этим словам.

1910.

О ЯЗЫКАХ И ПРОЧЕМ

П.Б. Струве в январской книжке «Русской Мысли» (1911) затронул интересный и важный вопрос. Жаль только, что затронул мимоходом и аподиктически разрешил на 4 страничках. Этот спор об этнической природе государства российского, о том, считать или не считать малороссов и белоруссов за особые нации, о том, быть ли России «национальным государством» или же пути ее ведут к так называемому Nationalitätenstaat, — спор этот заслуживает самого серьезного, самого, если позволено так выразиться, увесистого обсуждения. И я глубоко убежден, что постепенно он и станет во всей серьезной российской публицистике предметом такого именно обсуждения. Ибо вопрос о национальностях есть для России кардинальный вопрос ее будущности, более важный, более основной, чем все другие политические и даже социальные проблемы, включая хотя бы самое аграрную реформу. Пишу эти слова и, конечно, знаю, что лишь очень немногие с ними согласятся. И тем не менее, — оно все же так. Было время, когда и в Австрии думали, будто национальная проблема есть второстепенная мелочь, скромно отходящая на задний план, как только на сцену выступают «настоящие» интересы, особенно экономические. А жизнь доказала, что все бытие государства, точно вокруг оси, обречено вращаться вокруг проблемы национальностей, и под конец даже социал-демократия стала да-

вать основательные трещины как раз по швам национальных разделений. От судьбы не ушла Австрия, от судьбы не уйдут и ее соседи.

Я тоже не имею в виду братья за «увесистое» рассмотрение вопроса, затронутого П.Б. Струве. Но хочу сделать несколько беглых замечаний по поводу одной из деталей этого вопроса: о том, куда зачислить малороссов и белоруссов. Вряд ли, впрочем, уместно тут слово «деталь»: это не деталь, а центр тяжести всего спора. В самом деле: если малороссов и белоруссов зачислить, как хочет П.Б. Струве, в состав единой русской нации, то нация эта возрастает до 65 процентов всего населения Империи, т.е. до громадного большинства в две трети; и тогда, пожалуй, картина действительно недалека от «национального государства». Наоборот, если малороссов и белоруссов считать за особые народности, то господствующая национальность сама оказывается в меньшинстве (43 проц.) против остального населения, а сообразно тому изменяются и все виды на будущее. Поэтому смело можно сказать, что разрешение спора о национальном характере России почти всецело зависит от позиции, которую займет тридцатимиллионный украинский народ. Согласится он обрусеть — Россия пойдет по одной дороге, не согласится — она волей-неволей пойдет по другому пути. Прекрасно поняли это правые в Государственной Думе. Когда решался вопрос о языках инородческой школы, они, смеху ради, голосовали даже за каких-то «шайтанов» и «казанских греков»; они даже не подняли рук против еврейского языка, очевидно, желая сделать весь законопроект ненавистным и неприемлемым для начальства; но когда речь зашла об украинском языке, они отбросили и паясничество, и хитроумные расчеты и просто подняли руки против, ибо почуяли, что тут самое опасное место, решительный шаг, при котором ни шутки шутить, ни лукаво мудрствовать не приходится.

Возражение П.Б. Струве вызвано следующими мо-

ими строками, напечатанными в той же «Русской Мысли»:

«На этих страницах П.Б. Струве неоднократно высказывал, что считает Россию государством национально-русским. В этом очерке не место спорить о таком сложном вопросе; но считаю нужным кратко оговорить, что стою на резко противоположной точке зрения. Примыкаю к тем, которые не закрывают глаз на статистику и помнят, что народность, язык которой называется русским, составляет, по несомненно преувеличенным данным переписи 1897 г., всего 43 процента населения Империи. Это много, но этого недостаточно для того, чтобы остальные, «инородцы», добровольно согласились на роль бесплатного приложения к великорусской народности. Относясь с глубочайшим уважением к этой народности и к ее могучей культуре, желая с ней жить и дальше в тесной близости духовного обмена, они, однако, полагают, что естественной вотчиной этой культуры являются пределы этнографической Великороссии, и если теперь оно не так, то причина, главным образом, в вековом насилии и несправедливости. Мы, «инородцы», предвидим только одну из двух возможностей: или в России никогда не будет свободы и права, или каждый из нас сознательно использует свободу и право прежде всего для развития своей самобытной национальной личности и для эмансипации от чужой культуры. Или Россия пойдет по пути национальной децентрализации, или в ней немыслимо будет ни одно из оснований демократии, начиная со всеобщего избирательного права. Для России прогресс и Nationalitätenstaat — синонимы, и всякая попытка перескочить через эту истину, утвердить в государстве прочный порядок наперекор воле и сознанию трех пятых населения — кончится крахом. Так полагают «инородческие» националисты, и не только они; а кто прав, ответит будущее».

«Изумительно прежде всего, — отвечает П.Б.Струве, — в какой мере политическая или иная

тенденция способна слепить глаза и скрывать от зрения самые внушительные и непререкаемые объективные факты. Какая-то упорная традиция, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенденцией, скрывает от некоторых людей огромный исторический факт: *существование русской нации и русской культуры*. Именно русской, а не великорусской. Ставя в один ряд этнографические «термины» — «великорусский», малорусский», белорусский», автор забывает, что есть еще термин «русский» и что «русский» не есть какая-то отвлеченная «средняя» из тех трех «терминов», а живая культурная сила, великая, развивающаяся и растущая национальная стихия, творимая нация (*nation in the making*, как говорят о себе американцы)).

Прежде всего замечу, что П.Б. Струве не прав, полагая, будто я забываю о термине «русский». Напротив. Я даже совершенно согласен с г. Струве в том, что русская нация и культура «не есть какая-то отвлеченная средняя» из великороссов, малороссов и белоруссов. Конечно, не есть. Русским языком называется у людей язык одного только великорусского племени; ни украинского, ни белорусского языка этот термин не обхватывает. А русской национальной культурой называется культура, созданная на этом языке. На языке великороссов и только великороссов, а не на каком-то отвлеченном «среднем» из трех языков. Ибо такого среднего и на свете нет. Следовательно, русская культура есть национальная культура великорусского племени. Малороссов и белоруссов можно заставить присоединиться к ней, или можно даже мечтать, что они к ней все добровольно присоединятся; но это будет именно присоединение к *чужой* (хотя бы и родственной) культуре, созданной *не на природном* языке присоединяющихся национальностей. Термины «русская культура» и «великорусская культура», взятые в чистом своем значении, совершенно совпадают, ибо русский язык и русская культура ни для кого, кроме великороссов,

не являются природными. Я лично всегда охотнее употребляю термин «русский» вместо «великоросс»; если в данном случае отступил от этой привычки, то только во избежание неясности, так как знал, что есть — повторю выражение П.Б. Струве — «какая-то упорная традиция» совершенно неточно смешивать под словом «русский» в одну кучу три народа, отличных друг от друга по языку, по истории, по темпераменту, по физическому типу, по внутренней индивидуальности, по быту и общественному строю.

Есть «какая-то упорная традиция, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенденцией», уверять самих себя и всех добрых людей, будто русская нация есть не «живая культурная сила», реальная, осязаемая и отграниченная, а именно «какая-то отвлеченная средняя», некая метафизическая сущность, сочетающая в своем единстве три различных начала. Это, конечно, чистейшая фантазия. Но, мне кажется, если кто заслуживает упрека в таком фантазировании, то уж никак не те, для кого русская нация сама по себе, и украинская или белорусская — тоже сама по себе, — а скорее те, которые не признают тождества «русской» культуры с «великорусской» и непременно хотят придать первому термину какое-то более широкое значение...

Правда, сами украинские публицисты часто употребляют слово «русский» в другом значении, чисто этнографическом, и в этом смысле причисляют к «русскому племени» и украинскую народность. Если не ошибаюсь, такая формулировка родства между великороссами, малороссами и белоруссами освящена еще авторитетом Костомарова. В одной статье одного украинского националиста она была выражена так: «Я — славянин по расе, русский по племени, украинец по национальности». Сомневаюсь, имеет ли эта сложная классификация какую-либо ценность с точки зрения этнологии; но во всяком случае за пределы этнологии и этнографии ее значение не простирается. Специфическую культуру создают не «расы»

и не «племена» (да и вообще эти термины так неопределенны и расплывчаты, что теперь ими надо пользоваться только с величайшей осторожностью); культуры создаются *национальностями*, и каждая из национальностей ревниво бережет свою культуру и противится, когда сосед ей навязывает свою, хотя бы сосед этот числился ей двоюродным братом «по расе» и единоутробным «по племени». Хорваты и словинцы — и тесные соседи, и близкая родня по расе, племени, вере и т.д., и даже языки их куда ближе друг другу, чем русский с украинским; однако это две разные национальности с двумя разными культурами. Венгерские словаки — ближайшая родня чехам, настолько близкая, что словацкое население соседней Моравии считает своим национальным языком чешский; но словаки Венгрии считают себя словаками, ревниво берегут отличия в своем диалекте, охраняют свою литературную речь от чешских оборотов и, насколько это мыслимо при мерзостях мадьярского режима, творят свою словацкую, а не чешскую культуру. Ибо для этого творчества ни этнология, ни даже филология не указ. Для него указ — национальное сознание. Кто «украинец по национальности», для того все остальное родство по племени, по расе и т.д. может иметь только побочное значение: при выборе культуры решающий голос принадлежит не «расе», не «племени», а осознанной национальности.

Еще одна оговорка. Обыкновенно, когда хотят доказать, что русская культура есть продукт тройственного взаимодействия, а не одних великороссов, на сцену вытаскивается Гоголь, а иногда, в последнее время, и Короленко. Вот, дескать, малороссы, участвовавшие в создании «общерусской» литературы. Убедительность этого доказательства под большим сомнением. Величайший венгерский поэт Шандор Петефи назывался в сущности Александр Петрович и был сыном словака; но никто в этом не видит доказательства, что мадьярская литература будто бы есть «общевенгерская». У немцев тоже был крупный поэт,

даже с проблесками гениальности, по имени Шамиссо, а по происхождению француз: разве поэтому немецкая литература стала немецко-французской? Разве она стала из-за Гейне немецко-еврейской? Общий фон, общий характер данной культуры не изменяется оттого, что случайно жизнь забросит в ее ряды человека другой крови, хотя бы даже гениального. Он или целиком ассимилируется с окружающим фоном, как Петефи или Шамиссо, или только наполовину, как Гоголь, на чьих произведениях лежит сильнейшая печать украинского темперамента, или совсем не ассимилируется и остается бобылем, непризнанным изгоем, как Гейне, — но национальный характер данной культуры остается неприкосновенным, и инородные пятна только выделяют и подчеркивают ее основной цвет, подобно тому, как черные «мушки» оттеняют белизну кожи. Десять Гоголей и сто Короленко не сделают русскую литературу «общерусской»: она остается русскою, т.е. великорусскою, а рядом с нею украинская народность, пробиваясь сквозь строй великих трудностей, создает *свою* литературу на *своем* языке.

Я написал, что если русская культура играет теперь неестественную роль культуры всероссийской, то «причина, главным образом, в вековом насилии и несправии». П.В. Струве с этим не согласен. Русская, мол, культура преобладает и в Киеве, и в Могилеве, и в Тифлисе, и в Ташкенте «вовсе не потому, что там обязательно тянут в участок расписаться в почтении перед русской культурой, а потому, что эта культура действительно есть внутренне властный факт самой реальной жизни всех частей Империи, кроме Царства Польского и Финляндии». Тут уж П.В. Струве безусловно несправедлив к нашему благопопечительному российскому начальству. Как же можно отрицать его великие, неискоренимые из нашей памяти заслуги по части насаждения русской культуры за пределами Великороссии? П.В. Струве с легким сердцем констатирует, что теперь в Киеве «нельзя быть участником

культурной жизни, не зная русского языка», и думает, будто «участок» тут ни при чем, а между тем это великая ошибка. Напротив, все дело в участке и в его многовековом усердии. Вот как рассказывает об этом усердии известный украинский историк, проф. М. Грушевский: «Покончив с политической особенностью Украины, правительство не удовлетворилось этим: оно решило стереть и уничтожить также и проявления ее национальной жизни, и даже особенности украинского национального типа. Начиная с Петра I для украинских изданий вводится цензура, имевшая целью привести их к единообразию в языке с изданиями великорусскими. Руссифицируются украинские школы. Вводится великорусское произношение в богослужении. Всякие проявления украинского патриотизма ревностно преследуются и подавляются».

Но зачем заглядывать так глубоко в старину! Вот перед нами новейшее время: с половины прошлого столетия замечается в России подъем украинского движения — и тотчас же начинается сверху ревностная борьба против «хохломании» и «сепаратизма». В 1863 г. министр Валуев провозглашает: «Не было, нет и быть не может украинского языка» — а в 1876 г. издан был указ, просто-напросто воспретивший украинскую культуру. Отныне разрешалось печатать по-украински только беллетристику да стихи и разыгрывать пьесы в театре; что касается до газет, журналов, серьезных книг и статей, лекций, проповедей и т.п., — все это было воспрещено, а об украинской школе и говорить нечего. Что же удивительного, если на этом поле, начисто опустошенном и распаханном усилиями урядника, с такой легкостью и вне всякой конкуренции взошли посевы той культуры, которую урядник, по крайней мере, терпел? И ничуть ее пышный расцвет в Киеве не доказывает, что дело исключительно в ее собственной мощи, что она и без помощи урядника все равно заглушила бы все соседние ростки и воцарилась единодержавно. Напротив. П. В. Струве сам не будет спорить против того, что если

бы вместо указа о воспрещении украинской культуры явился в 1876 г. указ о разрешении вести на украинском языке преподавание в школах и гимназиях, то уважаемому публицисту вряд ли пришлось бы теперь так победоносно констатировать, что в Киеве без русского языка нельзя быть культурным человеком.

Что в Киеве, то было и повсюду. Всюду на окраинах русская культура появилась только после того, как земский ярыжка расчистил ей дорогу, затоптав сапожищами всех ее конкурентов. На Литве с 1863 года были запрещены польские спектакли, польские газеты и даже польские вывески, а литовцам запретили печатать литовским алфавитом что бы то ни было, даже молитвенники. Воспрещены были спектакли на еврейском жаргоне (еврейских актеров заставляли играть «по-немецки»), и до начала этого века не разрешали ни одной газеты на жаргоне. То же или почти то же происходило на Кавказе, и только потому П.В. Струве имеет ныне возможность записать и Тифлис в перечень городов, завоеванных русскою культурой. Точнее, куда точнее было бы сказать: «Завоеванных урядником для русской культуры». Это, конечно, не мешает нам всем высоко ценить и даже любить русскую культуру, которая многому хорошему нас научила и много высокого дала. Но зачем игнорировать историю и уверять, будто все обошлось без кулака и будто успехи русского языка на окраинах доказывают внутреннее бессилие инородческих культур? Ничего эти успехи не доказывают, кроме той старой истины, что подкованными каблучищами можно втоптать в землю даже самый жизнеспособный цветок.

Дальше следует у г. Струве аргумент, который странно даже слышать из уст такого вдумчивого, совсем не шаблонного писателя и мыслителя: «Постановка в один ряд с русской культурой других, ей равноценных, создание в стране *множества культур*, так сказать, *одного роста*, поглотит массу средств и

сил, которые при других условиях пошли бы не на национальное размножение культур, а на подъем культуры вообще». Такое «размножение культур» будет «колоссальной растратой исторической энергии населения Российской Империи». Это, да простит глубокоуважаемый автор, песня старая, петая, перепетая — и отпетая. Теперь от нее даже непрошибаемые социал-демократы отказались. Самое лучшее, самое прекрасное в мировой культуре — это именно ее многообразие. Каждая историческая нация внесла в нее свои особые, неподражаемо-своеобразные вклады, и в этом бесчисленном множестве *форм*, а не в количестве *результатов* и заключается главное богатство человеческой цивилизации. Если бы маленький двухмиллионный народ, населяющий Норвегию, послушался во время оно советов г. Струве и, вместо того чтобы «тратить» силы на создание собственной культуры, записался в немцы, — то в учебнике немецкой словесности числилось бы несколькими именами больше, но за то не было бы на свете того совершенно своеобразного, особенно благоухающего, индивидуально ценного божьего букета, который называется норвежской литературой. Да и нельзя никак противопоставлять «размножение культур» «подъему культуры вообще». Ибо с равным правом (а по моему с большим) можно сказать, что «культуры вообще» нет, что это абстракция, ибо конкретно существуют (если, конечно, не считать машин и прочей мертвой утвари) только отдельные культуры отдельных наций. И это значит, что отдельная личность, участвующая в создании культуры, будь это поэт, философ, ученый или политик, может наилучше развить и использовать свои творческие силы, наиполнейшим образом *sich ausleben* только в родной среде, в родной обстановке и атмосфере, где все хотя не осязаемо, но ошутимо пропитано родными соками. В чужой обстановке значительная часть творческих сил уходит на преодоление какого-то естественного трения, хотя бы иногда неосязаемого, и потому резуль-

таты такого творчества меньше и беднее. С этой точки зрения стоит (даже в интересах «подъема культуры вообще») потратить много сил и много лет на создание особой бурятской или якутской культуры, чтобы создать обстановку, в которой потом бурятские и якутские таланты разовьются лучше, полнее и с большею пользой для человечества, чем развились бы в «общерусской» среде, созданной и пропитанной влиянием других наций. Раздробление сил, «растрата энергии» тут с лихвою будут возмещены впоследствии интенсификацией творчества в отдельных национальных коллективах. Если тут есть «обособление», то это обособление законное, необходимое: так «обособляется» художник, когда затворяется в своем кабинете, убранном по его вкусу, никого к себе не пускает — и пишет прекрасное произведение на радость и пользу всем людям.

Но все это зады, которыми прилично было заниматься лет пять или шесть тому назад, когда «мы» все были еще очень наивны и верили, будто национальный вопрос выдуман злоумышленниками. Теперь, слава Богу, известно и признано, что право каждой народности на самобытную культуру определяется и доказывается не теориями, а ее собственной волей к национальному бытию. Наличие этой воли показали и малороссы, и белоруссы, и все остальные, несчетные и несметные народы Российского государства; а остальное доделает время.

1911.

УРОК ЮБИЛЕЯ ШЕВЧЕНКО

Удивительно, до чего люди непоследовательны. Когда мы произносим А, то по большей части и не думаем о том, что надо же в таком случае произне-

сти и Б. Подходим к общественному факту так, как будто он изолирован, вырван из жизни и за собою никаких последствий не влечет. Вот теперь мы чествуем память Шевченко или, по крайней мере, откликаемся на чествование. Но при этом — никаких выводов. Не только у слушающих и у читающих, но иногда у самих пишущих незаметно, чтобы они хорошо вдумались, к чему обязывает признание этого юбилея. Ведь одно из двух: или Шевченко есть культурное недоразумение, филологический курьез и раритет, и тогда нет никакого смысла устраивать ему юбилей; или Шевченко есть закономерное и характерное явление развивающейся жизни, симптом чего-то грядущего, и тогда каждому из нас необходимо, сказав А, произнести и Б, т.е., признав этот юбилей, определить свое отношение к тому огромному явлению, о неизбежности которого пророчествует нам этот юбилей. А об этом, кажется, мало кто думает.

Может быть, объясняется это тем, что внутренне еще многие, многие из нас и впрямь потихоньку считают Шевченко за филологический курьез. Что греха таить, многие так рассуждают. Им это кажется причудой, капризом: знал человек прекрасно по-русски, мог писать те же самые стихи на «общем» языке, а вот заупрямился и писал по-хохлацки. Другие идут еще дальше и спрашивают: да разве есть какая-нибудь серьезная разница между обоими языками? Одно упрямство, одно мелочное цепляние за отдельные буквы. Что за причуда — писать непременно так: «Думы мои, думы мои, лыхо мини з вами! Чому стали на папери сумными рядами?» — Когда можно было с таким же успехом написать вот как:

Ах вы думы мои, думы,
Ах, беда мне с вами!
Что стоите на бумаге
Грустными рядами?

Один господин недавно взял при мне в руки томик стихов Олеся и стал доказывать наглядно, что

стихи эти можно читать сразу по-русски и выйдет почти все в полном порядке: и размер не изменится, и почти все рифмы сохранятся. Может быть, он и был прав: я его не дослушал до конца и, пока он декламировал на московский лад: «Ой, на що ж малу литину доручала ти степам?» — я задумался о другом. Я вспомнил, что Шевченко писал что-то такое и по-русски. Литераторы из газеты «Киевлянин» ставят ему это в великую заслугу и стыдят теперешних ма-зепинцев: видите, он не то, что вы, он «не чуждался общерусского языка!» Допустим; но за то странным образом «общерусский» язык чуждался украинского поэта, и не склеилось у него ничего путного на этом языке. И Шевченко не единичное явление. В 40-х годах жил в Риме большой поэт Белли; о нем, кажется, есть где-то упоминание у Гоголя. Он писал главным образом на римском диалекте. Римский диалект, не в пример другим местным наречиям Италии, почти совершенно совпадает с итальянским языком: если бы не скучно было для читателя, я бы взялся исчерпать *все* различие ровно в пятнадцати строчках. Но Белли писал на диалекте великолепные вещи, а на итальянском языке — вещи совершенно бездарные. Его сонеты на *romanesco* изумительны, его итальянские элегии водянисты, риторичны и позабыты. Тоже, очевидно, крепко заупрямился человек: так заупрямился, что и сам Бог его покидал, как только он в своем творческом порыве переступал через какую-то едва заметную межу — и Белли, по сю сторону межи большой поэт милостию Божией, по ту сторону вне-запно превращался в жалкого писаку...

Родной язык! Нужна вся наша российская наивность, неопытность, социальная необразованность, вся наша пигасовщина, весь грубо-эмпирический площадной практицизм, исповедуемый нами по отношению ко многим священным вопросам духа, чтобы так делать большие глаза и недоумевать, зачем это нормальному человеку, при полном уме и здоровой памяти, непременно упираться и

настаивать на том, что говорится «світ», а не «свет». Дурь, причуда! Магьяры сколько лет ведут борьбу за магьярскую команду в венгерской армии, а всего-то язык команды состоит ровным счетом из 70 слов. Из-за 70 слов падают министерства, откладываются важнейшие реформы, трещит по шву реки Лейты политическая карта Европы. В венгерском парламенте, среди четырехсот с лишком магьяр, сидят сорок депутатов из Кроаии и свято хранят свое право говорить с трибуны по-хорватски, т.е. на языке, которого никто, кроме них, не понимает и употребление которого в парламенте поэтому, казалось бы, не только бесполезно, но даже вредно для самого хорватского дела. Эти же хорваты подняли бунт, когда венгерское начальство попыталось завести в некоторых правительственных учреждениях Загреба, рядом с хорватскими вывесками, также и магьярские: были уличные демонстрации, столкновения с войсками, лилась кровь... Дурь, причуда! — говорим мы, мы, захолустные обыватели захолустной страны, мы, с высоты нашего политического ума и опыта. А не гораздо ли правильнее было бы взглянуть на дело с другой стороны и понять, что с фактами не спорят? Ведь тут пред нами целый ряд ярких фактов, то массовых, то еще более характерных, индивидуальных. Вот беснуются чуть ли не целые народы из-за семидесяти слов или десяти вывесок на чужом языке: вот большие поэты, мгновенно теряющие дар Божий, как только попытаются сделать внутри себя маленький, крохотный, невинный подлог: сказать «свет» вместо «світ», «buona sera» вместо «böna sera». Это все факты, непреложные явления жизни, которые не изменятся оттого, что мы будем их порицать или одобрять. Не порицать и не одобрять их надо, не ставить двойки или пятерки мировому порядку и его проявлениям, а скромненько учиться из них уму-разуму: брать жизнь такую, какой она есть в основе своей, и на этой основе строить наше мировоззрение.

Мимо факта шевченковского юбилея мы проходим с почтительным поклоном, и нам даже не приходит в голову, что это — факт исключительной симптоматической важности, пред лицом которого, если бы мы были разумны, опытни и предусмотрительны, следовало бы пересмотреть некоторые существенные элементы нашего мировоззрения. Что такое Шевченко? Одно из двух. Или надо смотреть на него как на курьезную игру природы, нечто вроде безрукого художника или акробата с одной ногою, нечто вроде редкостного допотопного экспоната в археологическом музее. Или надо смотреть на него как на яркий симптом национально-культурной жизнеспособности украинства, и тогда надо открыть пошире глаза и хорошо всмотреться в выводы, которые отсюда проистекают. Мы сами здесь на юге так усердно и так наивно насаждали в городах обрусительные начала, наша печать столько хлопотала здесь о русском театре и распространении русской книги, что мы полконца совершенно потеряли из виду настоящую, осязательную, арифметическую действительность, как она «выглядит» за пределами нашего куриного кругозора. За этими городами колышется сплошное, почти тридцатимиллионное украинское море. Загляните когда-нибудь не только в центр его, в какой-нибудь Миргородский или Васильковский уезд: загляните в его окраины, в Харьковскую или Воронежскую губернию, у самой межи, за которой начинается великорусская речь, — и вы поразитесь, до чего нетронутым и беспримесным осталось это сплошное украинское море. Есть на этой меже села, где по сю сторону речки живут «хохлы», по ту сторону — «кацапы». Живут испокон веков рядом и не смешиваются. Каждая сторона говорит по-своему, одевается по-своему, хранит особый свой обычай; женятся только на своих; чуждаются друг друга, не понимают и не ищут взаимного понимания. Съездил бы туда П.Б. Струве, автор теории о «национальных отталкиваниях», прежде чем говорить о единой

трансцендентной «общерусской» сущности. *Такого* выразительного «отталкивания» нет, говорят, даже на польско-литовской или польско-белорусской этнографической границе. Знал свой народ украинский поэт, когда читал мораль неразумным дивчатам:

Кохайтеся, любитеся,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужи люде...

Я не разделяю теории П.В.Струве и не думаю, чтобы «отталкивания» принадлежали к необходимым и нормальным жизнепроявлениям национальности; во всяком случае полагаю, что легализировать (в научном смысле) эти «отталкивания» следовало бы только с большими и суровыми оговорками. Я не считаю ни нормальным, ни вечным явлением тот антагонизм между великороссом и малороссом, который окристаллизован в простонародных кличках «хохол» и особенно «кацап»; уверен, напротив, что при улучшении внешних условий не только украинство, но и вообще все народности России прекрасно уживутся с великороссами на почве равенства и взаимного признания; даже верю, что большую и благотворную роль в этом сыграет именно великорусская демократическая интеллигенция — и недавно, в одной киевской лекции, подчеркнул эту веру настолько резко, что встретил даже несочувствие со стороны некоторых украинских слушателей. Но нельзя отрицать, что «отталкивание» от инородца есть один из признаков присутствия национального инстинкта, особенно там, где национальная индивидуальность, из-за внешнего гнета, ни в чем ином, ни в чем положительном выразиться не может. В таких случаях «отталкивание», наблюдаемое на этнографических границах, остается поневоле лучшим доказательством того, что угнетенная народность стихийно противится перелицовке своего естества, что истинные пути ее нормального развития тянутся в другом направлении. Таково стихийное настроение всякой

большой и однородной массы; таково и стихийное настроение тридцатимиллионного украинского простонародия, сколько бы ни лжесвидетельствовали о противном разные эксперты из национальных оборотней. Эксперты этого рода столько же компетентны в оценке национальных чувств того народа, от которого они отстали, сколько компетентен дезертир в оценке патриотизма и боевого духа той армии, из которой он сбежал. Украинский народ сохранил в неприкосновенности то, что есть главная, непобедимая опора национальной души: деревню. Народу, корни которого прочно и густо впились на громадном пространстве в сплошную родную землю, нечего бояться за свою племенную душу, что бы там ни проделывалось в городах над бедными побегамися его культуры, над его языком и его поэтами. Мужик все вынесет, все переживет, всех переспорит и медленно, шаг за шагом, но неуклонно и непобедимо со всех сторон втиснется в города, и то, что теперь считается мужицким говором, будет в них через два поколения языком газет, театров, вывесок — и еще больше.

Вот что значит юбилей Шевченко для всякого, кто умеет последовательно мыслить и заглядывать в завтрашний день. Мы, к сожалению, этими талантами не богаты. Украинское движение, растущее у нас под носом, считается у нас чем-то вроде спорта: мы его игнорируем, игнорировали до этого юбилея и будем, вероятно, игнорировать и после юбилея. Не то слепота самодовольства, не то косность человеческой мысли руководит нашими действиями, и в результате мы допускаем грубую, непростительную политическую ошибку: вместо того, чтобы движение, громадное по своим последствиям, развивалось при поддержке влиятельнейших кругов передового общества и привыкало видеть в них свою опору, своих естественных союзников, — мы заставляем его пробиваться своими одиночными силами, тормозим его успехи замалчиванием и невниманием, раздражаем и толкаем в оппозицию к либеральному и радикаль-

ному обществу. Роста движения это не остановит, но исковеркать этот рост, направить его по самому нежелательному руслу — вот что нетрудно, и вот чего следовало бы остерегаться. Самые тяжелые последствия для будущих отношений на огромном этом юге России могут отсюда родиться, если мы вовремя не спохватимся, не поймем и не учтем всей громадности того массового феномена, о котором напоминает нам юбилей Шевченко, и не сообразуем с ним всей нашей позиции, все нашей тактики в делах местных и государственных.

Выскажу одно соображение, которое давно у меня сложилось и подкреплено изучением западноевропейского опыта, но в ответ на которое читатель, должно быть, пожмет плечами. Наш юг стал излюбленной ареной черносотенства, и подвизается у нас оно, особенно в городах и местечках, с солидным успехом. И до сих пор мы себе не дали отчета, можно ли бороться против этого явления, и если можно, то как, каким оружием. А между тем вопрос этот имел бы право на всяческое наше внимание, потому что при нынешних настроениях не впрок нашему краю ни городское самоуправление, ни даже право посылать депутатов в Государственную Думу. Депутаты юга — главная опора реакции, и так было еще до изменения избирательного закона, до третьей Думы. Чем же можно бороться против этого настроения мешанских масс юга? Чистый, отвлеченный либерализм какой угодно марки им недоступен: мешанство не идет за либералами, если те не догадаются дать ему в придачу еще нечто. На социалистическую пропаганду мешанство органически не способно откликнуться: экономические идеалы этой среды всегда неизбежно реакционны и вращаются в лучшем случае вокруг средневековых идеалов цехового строя, в худшем — это мы видим в Вене, в Варшаве, на последнем ремесленном съезде — вокруг хозяйственного и правового вытеснения инородцев. Единственный идеальный лозунг, который, в данных условиях, спосо-

бен поднять городские мещанские массы, очистить и облагородить их мировоззрение, — это лозунг национальный. Если они идут теперь за правыми, то ведь не потому, что правые проповедуют бараний рог и ежевые рукавицы, а только потому, что правые сумели задеть в них националистическую струнку. Но не струнку творческого, положительного национализма, а струнку «отталкиваний» от инородца. И никакие на свете яркие знамена не отвлекут наше южное мещанство от лозунгов ненависти, кроме одного знамени: собственного национального протеста. Я не компетентен судить о том, насколько готова какая-нибудь Слободка-Романовка к восприятию украинского национального сознания: утверждаю только одно: выжить оттуда союзников удастся или украинскому движению, или никому. Повторяю: все это так далеко от сегодняшнего положения вещей, что читатель, я знаю, пожмет плечами и скажет: гадания, фантазии. Я же думаю, что гадают и фантазируют те, которые видят только то, что торчит на переднем плане, и не заглядывают ни в статистику, ни в историю, ни в опыт мудрого Запада. Поживем — увидим. А может быть, если не изменится во время наша тактика, то и почувствуем...

Когда приходится, по долгу службы, чествовать юбилей Шевченко, мы стыдливо рассказываем друг другу, что покойник, видите ли, был «народный» поэт, пел о горестях простого бедного люда, и в этом, видите ли, вся его ценность. Нет-с, не в этом. «Народничество» Шевченко есть дело десятое, и если бы он все это написал по-русски, то не имел бы ни в чьих глазах того огромного значения, какое со всех сторон придают ему теперь. Шевченко есть *национальный* поэт, и в этом его сила. Он национальный поэт и в субъективном смысле, т.е. поэт-националист, даже со всеми недостатками националиста, со взрывами дикой вражды к поляку, к еврею, к другим соседям... Но еще важнее то, что он — национальный поэт по своему объективному значению. Он дал и

своему народу, и всему миру яркое, незыблемое доказательство, что украинская душа способна к самым высшим полетам самобытного культурного творчества. За то его так любят одни, и за то его так боятся другие, и эта любовь и этот страх были бы ничуть не меньше, если бы Шевченко был в свое время не народником, а аристократом в стиле Гете или Пушкина. Можно выбросить все демократические нотки из его произведений (да цензура долго так и делала) — и Шевченко останется тем, чем создала его природа: ослепительным прецедентом, не позволяющим украинству отклониться от пути национального ренессанса. Это значение хорошо уразумели реакционеры, когда подняли накануне юбилея такой визг о сепаратизме, государственной измене и близости столпотворения. До столпотворения и прочих ужасов далеко, но что правда, то правда: чествовать Шевченко просто как талантливого русского литератора № такой-то нельзя, чествовать его значит признать все то, что связано с этим именем. Чествовать Шевченко — значит понять и признать, что нет и не может быть единой культуры в стране, где живет сто и больше народов: понять, признать, потесниться и дать законное место могучему собрату, второму по силе в этой империи.

1911.

СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ

Газеты одного крупного города черты оседлости, описывая тамошнюю попытку публичного чествования памяти Комиссаржевской, устроенную литературно-артистическим клубом, отметили, что русской публики на торжестве было мало, а зато было очень много публики еврейской. Это, действи-

тельно, любопытное явление; мне давно хотелось его отметить и побеседовать на эту тему, но не решался. Ни для кого не тайна, что литературные клубы в черте оседлости вообще на девять десятых посещаются евреями; огромное большинство членов — тоже евреи. Арийский элемент представлен обычно десятком-другим отдельных любителей слова и музыки; пусть это талантливые и симпатичные люди, но их мало. Остальная, массовая часть членов и посетителей состоит из евреев.

Читатель, вероятно, тут заспорит и скажет: «Позвольте, что же в этом дурного — напротив, очень хорошо, что евреи так отзывчивы, так интересуются — это делает им честь»... Честь или не честь, это другой вопрос; но займемся пока не евреями, а русскими. Где они? Отчего не приходят? Почему они так мало отзывчивы, почему они не интересуются, почему они не хотят «делать себе честь»?

Странно: ведь арийская интеллигенция велика и обильна. Несомненно, есть же в том городе достаточно образованной русской публики, чтобы заполнить три таких зала, особенно, если присчитать учащуюся молодежь. Отчего же *эти* не ходят? Вот, оказывается, и в Петербурге их не было на вечере памяти Комиссаржевской. Петербург в этом отношении особенно характерен. Город русский, евреи там вряд ли составят и две сотых населения. Там тоже было, а может и теперь есть, литературное общество аналогичного типа, «объединяющее все национальности». И на рефератах этого общества очи видели ту же знакомую картину: 10-15 репрезентативных христиан из радикальной литературы, а в публике почти исключительно евреи. Что за притча? Где русская интеллигенция? Смешно ведь даже спрашивать, есть ли она в столице, интересуется ли делами культуры. Это ведь *она* создает русскую культуру, *она* создала все, что было ценного в русской литературе, *она* создала и Комиссаржевскую. В чем же дело?

Лучшим ответом на вопрос было бы узнать мне-

ние самих отсутствующих — мнение тех самых русских интеллигентов, которые культуру-то создают, а на рефераты и вечера известного рода упорно не ходят. Но мне их взгляд совершенно неизвестен. Зато приходилось часто говорить об этом «странном» явлении с их, так сказать, заместителями — с еврейскими ассимиляторами. Многие из них вообще не желают говорить на эту тему. Они не замечают. Но некоторые все же разговорились и разоткровенничались. У меня получилось от этой откровенности странное впечатление. Они мне говорили известные старые вещи: что евреи — прекрасный фермент, что их миссия — будить всюду интерес к идее и культуре, что они — авангард, увлекающий за собой неповоротливых домохозяев, и пр. Я, как известно, грешник, считаю национальность альфой и омегой своей веры, дорожу ею больше, чем прогрессом, и т.д. Но признаюсь, я совершенно не способен проникнуться этим взглядом на еврея, как на соль земли, без которой остальные вахлаки совсем бы закисли. Для меня совершенно ясно, что не только эллины в древности, но и многие народы в настоящее время, например, англичане и немцы, куда талантливее евреев во всем, решительно во всем, начиная с литературы и кончая банкирскими конторами. Я в этом не вижу никакой обиды для евреев, потому что не смотрю на них, как на народ, который всю жизнь держит перед кем-то экзамен и должен непременно получать все пятерки. Право народа на самобытность и равенство не нуждается ни в каких оправданиях. Конечно, раз мы тут по Европе околачиваемся столько веков, мы естественно принесли ей много пользы, обогатили ее жизнь; иначе и быть не могло — ведь и мы же не лыком шиты, и если занимаем среди исторических наций не первое место, то и не последнее. Но смешно пересаливать. Не будь евреев, культурный мир тоже бы теперь не в лаптях ходил. В частности, русский народ свою литературу создал без всякой помощи евреев, так же, как и французский, и английский, и

итальянский. Да будет позволено спросить: если бы в Петербурге и Одессе совсем не было евреев, неужели там и здесь так-таки никогда не возникли бы литературные клубы? Мое скромное мнение таково: не только возникли бы, но и процветали бы не меньше теперешнего, только публика была бы в них — русская.

Здесь я должен привести мнение одного известного журналиста, родом из евреев. Прошу читателя не принять эту ссылку за литературный прием: это был настоящий разговор с настоящим известным журналистом еврейского происхождения. Он живет в русском городе, русскими интересами, вращается почти исключительно в русском обществе, следовательно, знает ту самую публику, которая «не ходит»: кроме того, сам пользуется репутацией умного, образованного и хладнокровного человека. Я всегда знал его за ассимилятора; впрочем, он не отрицал того, что еврейство национализируется, но не сочувствовал этому процессу. Речь зашла о том самом «странном» явлении: что «они» «не ходят». Совершенно ручаюсь за точную передачу мысли моего собеседника.

— Я вот что здесь наблюдаю уже не в первый раз. — сказал он. — Возникает какое-нибудь общество или, скажем, литературный орган: основатели его — русские люди с именами. (Это не всегда бывает так, но я нарочно беру только те именно случаи, когда основатели — русские). Когда дело наладится и машина пущена в ход, первое время все идет нормально. Русская публика интересуется, участвует, посещает, читает и сама пишет. Но со второго или третьего месяца начинается наплыв евреев. Основатели радушно их принимают, даже очень рады — знаете, нет ведь ничего добродушнее и искреннее хорошего русского интеллигента; он, право, по большей части и не замечает, кто вы такой. Через несколько недель — ваша аудитория полна евреев. И тогда вы начинаете замечать странную вещь: по мере того, как прибывают евреи, убывают русские. Не только в смысле

процента, но абсолютно. Где их прежде было 100, там их остается 20. Уходят. Не ругаются, не сердятся, не жалуются, вообще ничего не говорят, а просто отстраняются. Спросишь их: почему? Сами не умеют объяснить. Да, да, вы правы, надо будет опять записаться, просто, знаете ли, вылетело из головы... Иногда я в этом чувствую привкус сознательной юдофобии; но, право, гораздо чаще ничего подобного не могу нащупать. А вижу только разительное падение интереса к делу именно с того момента, как им так ревностно заинтересовались евреи. Оно с этого мгновения как бы стало для русской публики чужим, ее туда уже больше не тянет, ей там больше не уютно и не занятно, хотя сюжеты прений или статей остались те же. Это повторяется и с обществами, и с газетами, — быть может и с партиями — и, говорю вам, не в первый раз. Чем это объяснить, я не знаю; но нельзя отрицать, что есть какое-то невидимое «отталкивание». И вот мой вывод: хорошо это или печально, но Россия должна будет пройти через полосу национального размежевания точно так же, как проходит через нее Австрия. Придется взять эту линию и евреям, отмежеваться в обоих смыслах: политически и культурно. Я, конечно, исключаю тот десяток-другой евреев, которые для еврейства — отрезанные ломти, давно ушли, завязали новые связи и пустили корни в чужой среде. Но еврейское общество в целом должно будет отграничить себя от русского и в политике и в культуре. Этим оно окажет большую услугу и себе и русским: оно им даст, наконец, возможность организовать внутри себя, по-своему, без посторонних примесей, которые в таком количестве для них, очевидно, неприемлемы...

За точную передачу мысли, как уже сказано, я ручаюсь. Ручаться за правильность наблюдения и вывода, конечно, не мое дело. Я не знаю ни той публики, ни ее настроений. Но позволю себе напомнить тем, для которых эти щекотливые вопросы поневоле должны быть интересны, что «странное» явление все-

таки должно иметь свою причину. И до тех пор, пока жива на свете логика, эта причина может быть только одна из двух. Она или в русской интеллигенции, или в еврейской. Или первая органически неспособна интересоваться, откликаться, реагировать и т.д., и только евреи, эти единственные ангелы-хранители русской культуры в Петербурге и на окраинах, еще спасают положение, держат знамя и прочее, и тогда остается только изумляться, откуда у этого равнодушного русского племени взялось столько творческого подъема, чтобы создать без всякой еврейской помощи Толстого или Комиссаржевскую. Или — *их* к евреям просто «не тянет», и когда они видят, что на их собственном празднике танцует слишком много евреев, то даже лучшие из *них* предпочитают праздновать у себя дома; и если это так, то евреям и дальше придется нести на себе лестную роль единственных музыкантов на чужой свадьбе — с которой хозяева ушли.

1912.

НА ЛОЖНОМ ПУТИ

Заметка о «странном явлении» вызвала оживленный газетный спор, но спор этот, к сожалению, пошел по нелепой линии. Получилось такое впечатление, точно я в своей заметке спрашивал русских: почему вы, добрые люди, не ходите в собрания? Не потому ли, что вам не хочется якшаться с евреями? И вот, несколько почтенных русских сограждан удостоверили, что они, напротив, очень рады якшаться с евреями, да только как-то все не случалось. — и несколько почтенных еврейских коллег тоже откровенно признались, что настоящая русская интеллигенция чрезвычайно любит еврейскую. Очень прият-

но, прочел с удовольствием. Но зачем это все было написано — не знаю. Я этого вопроса не ставил. Отчасти потому, что нет смысла наивничать и спрашивать «любишь ли ты меня?» там, где каждый ребенок на улице знает всю правду. А главным образом потому, что как раз я меньше всего этим вопросом интересуюсь. По-моему, он никакого отношения не имеет даже к спору о том, надо ли «размежеваться». Журналист еврейского происхождения, о котором я в той статье рассказывал, действительно дошел до мысли о необходимости «размежевания» только потому, что заметил со стороны русских явное нежелание «якшаться». Но на то он ассимилятор. Для людей моего лагеря суть дела совершенно не в том, как относятся к евреям остальные народности. Если бы нас любили, обожали, звали в объятия, мы бы так же непреклонно требовали «размежевания». Ибо мы думаем, что миссия каждой нации — создать свою особую культуру; и мы думаем, что это достижимо только путем любовного размежевания. Какое нам дело с этой точки зрения до любви или антипатии соседей? Если они евреев не любят, мы об этом очень жалеем; если полюбят, будем очень рады и будем платить взаимностью; но наше отношение к ассимиляции от этого не зависит. Мы не желаем, чтобы евреи стали русскими, даже если русская интеллигенция начнет скопом ходить на вечера литературного клуба.

Моя заметка имела в виду совершенно другую цель. Интересует меня не отношение христиан к еврейской ассимиляции, а самочувствие еврейских ассимиляторов. Я считаю их позицию в основе и по существу ложной и стараюсь проследить и отметить те случаи, когда эта внутренняя ложь обнаруживается особенно выпукло, когда сама жизнь, так сказать, демонстрирует против ассимиляции. Такой случай, по-моему, теперь налицо, когда ассимилированные евреи в огромном городе вынуждены фигурировать в роли единственных носителей русской культуры — «единственных музыкантов на чужой свадь-

бе, с которой хозяева ушли». На эту ситуацию я хотел обратить внимание самих «музыкантов», предложить им обдумать ее и сделать выводы. Так как дискуссия вместо того направилась по совершенно постороннему фарватеру, то позволю себе вернуться к сути вопроса и сделать эти выводы так, как я их понимаю.

Совершенно неопровержимо установленным я считаю тот факт, что ассимилированные евреи в нашем городе действительно очутились в роли единственных публичных носителей и насаждателей русской культуры. Этого никто во всей дискуссии даже не пробовал отрицать, ибо это слишком яркая очевидность. Обсуждая и оценивая эту любопытную ситуацию, я прежде всего нахожу ее в высочайшей степени комичной.

Почему она комична — я доказать не умею. Смешное не доказывается, анекдот не требует аргументации. Комизм ощущается непосредственно, и basta. И я утверждаю, что этот комизм положения, когда евреям в полном одиночестве приходится чувствовать Пушкина и Комиссаржевскую, ощущается решительно всеми, прежде всего самими «музыкантами». Я часто встречаюсь со своими противниками, но не встретил еще ни одного, который не чувствовал бы этого комизма. Иначе нельзя объяснить и переполоха, который вызвала именно эта моя заметка. Мне случалось уже писать, например, и о том, что много рядовых либеральных христиан в глубине души верят в ритуальную сказку: это похуже, поопаснее, чем нехождение на «четверги», и однако никто из ассимиляторов так не взволновался, как на сей раз. На сей раз было такое впечатление, словно людей вдруг обнажили, указали пальцем как раз на ту мозоль, за которую им в душе особенно неловко, и вот они изо всей силы стараются прикрыть ее чем попало. Очевидно, каждый в душе чувствует, что «ассимиляция», «слияние» с окружающей средой обязательно требует «рецепции», согласия окружающей среды: для того.

чтобы обрусение не было унижительным, необходима тут же наличность большой русской толпы, в которой евреи могли бы рассыпаться, разместиться, растаять — и притом с ее хотя бы молчаливого согласия. Тогда бы в этой массе действительно все перемешалось; рядом с тремя русскими ораторами мог бы тогда выступить четвертым и еврей и тоже сказать «мы, русские» или «наша русская литература» — и это стерлось бы, утонуло бы в общем впечатлении. Но когда русской толпы нет и никак ее не заманишь и не притянешь, и на празднествах русской культуры в полумиллионном городе одни евреи, совершенно лишенные русского прикрытия, бьют в барабан и кричат «ура» во славу «нашей литературы», — то эта ситуация комична, потому что комична. Лет пять тому назад польская печать горячо обсуждала вопрос, ехать ли в Прагу на всеславянский съезд: наконец все согласилось, что надо ехать — Роман Дмовский согласился, Сенкевич согласился, графы Тышкевичи, князя Радзивиллы и прочие лидеры и магнаты согласились. Один только Станислав Кемпнер (тот самый, которого Немоевский называл потом «Шая Кемпнер») долго еще упирался и настаивал, что «мы, поляки», не должны ехать в Прагу, ибо это братание с остальными славянами может повредить «нашим» польским интересам. Может быть, я не точно помню все имена, но случай этот был. И вся Польша хохотала над этим сверхполяком и была права, потому что это было комично. Ассимиляция по природе своей требует незаметности, *наглядной* возможности утонуть в громаде ассимилирующего тела; где девять русских, там еврей еще кое-как может быть «десятым русским»; но когда пропорция обратная или того хуже — весь, как говорится по-еврейски, «миньян» состоит из великороссов еврейского происхождения, то это есть явление высочайшего и глубочайшего социального комизма.

Конечно, когда обнаруживается социальный комизм какой-нибудь ситуации, разные люди по-раз-

ному на это реагируют. Одни, у которых более плоская душа и более толстая кожа на ланитах, продолжают выступать гоголем; о таких нечего разговаривать, так как это элемент, лишенный всякой культурной ценности. Но есть и в ассимилированном лагере люди более тонкой организации. Для таких увидеть себя в ситуации, полной такого органического комизма, есть болезненный удар в ту самую точку сердца, где хранится у человека его лучшее богатство — его гордость. Для таких людей комизм превращается в трагизм. Я уверен, переполох, вызванный в стане ассимиляторов дискуссией по поводу «странного явления», объясняется еще и тем, что лучшие, наиболее чуткие и вдумчивые люди этого стана почувствовали не простую неловкость от комического положения, но и настоящую боль, укол в самое чувствительное место, и им на минуту стало жутко от мысли: а что, если все это правда? А быть может, я и сам давно все это подозревал, только не решался формулировать? И на минуту почудилось им, что, быть может, вся работа их жизни действительно прошла по ложной колее и завела их вместе с их паствой, куда не надо... — Но, конечно, даже чуткий человек, если он уже затратил несколько десятков лет на данной черте, в конце концов прогонит черные мысли и даст себя успокоить обычными словесами. Остается только маленькая трещина в душе — и если она осталась, я очень рад: этого я добивался.

Но патологичность ситуации не только в ее комизме и даже не в трагическом привкусе этого комизма. Еще хуже другое. Хотя мы здесь «шумим, братец, шумим», а настоящие русские молчат, но тем не менее для всего мира ясно глубокое несоответствие между шумом и ценностью. Ни один серьезный зритель не сомневается, что хоть шумят на русских культурных праздниках евреи, а все-таки истинной, стихийно-нерушимой опорой и источником русской культуры служат не те, которые шумят, а те, которые молчат. Если судить по шуму, то выходит, будто

русские 1-го разряда, активные русские — это и есть ассимилированные евреи, тогда как люди настоящего русского происхождения — это, как выражается Отто Бауэр, *Hintersassen der Nation*, русские 2-го сорта. Между тем ясно и неопровержимо, что это в сущности как раз наоборот. Именно с момента, когда еврей объявляет себя русским, он становится гражданином 2-го класса.

Я, националист, ни за что не признаю себя в России гражданином 2-го разряда. Я считаю себя принципиально таким же хозяином в этом государстве, как и русского: я желаю говорить, учиться, писать, судиться, управляться на моем национальном языке, ни к кому не намерен подлаживаться и приспособляться и требую, напротив, чтобы государство приспособлялось к моим национальным домогательствам точно так же, как оно должно приспособиться к домогательствам русских, украинцев, поляков, татар и т.д., гармонизировав эти все требования в общем «народо-союзном» строе. Покуда я так смотрю на свое место в России, я не выше других и не ниже других, мы все граждане одного ранга. Но если я захочу пролезть непременно в русские, то дело сразу меняется. Тут я попадаю в положение неопита. Чужая национальная сущность, чужая психика и ею пропитанная культура не могут быть по-настоящему усвоены даже за срок целого поколения, даже за срок нескольких поколений. Сохраняется акцент в речи, и точно так же сохраняется особый «акцент» души. Могут ли эти оттенки совершенно исчезнуть впоследствии, через много-много лет, это вопрос другой, которого я здесь не касаюсь; но покуда они есть, до тех пор я обречен числиться не настоящим, неполным русским, кандидатом в русские, подмастерьем русско-культурного цеха. Меня могут любить или не любить, это к делу не относится; но совершенно ясно, что источник и оплот русской культуры не в неопите, а в той массе, с которой он еще только старается слиться. Когда людям понадобится настоящее рус-

ское творчество, они оттолкнут изделие неопита и скажут: может быть, это подделано очень мило, может быть, это и лучше, чем настоящее русское, — но извините, нам нужно не это, а настоящее русское. Это и значит быть русскими 2-го разряда. Надо различать понятия: россиянин и русский. Россияне мы все от Амура до Днепра, русские только треть в этой массе. Еврей может быть россиянином первого ранга, но *русским* — только второго. Так на него в этой роли смотрят другие, и так на себя невольно смотрит он сам.

Здесь я не буду вновь поднимать спор о том, многим или малым обязана русская, немецкая, французская и пр. литературы ассимилированным евреям, достаточно ли усвоили эти писатели из евреев соответствующий национальный «дух» и т.д. Спорить об этом трудно потому, что это вопрос чутья, оцупи, и еврейские судьи тут совершенно не компетентны. Сколько бы ни божился еврейский критик, что Гейне — подлинный немец по духу, вопрос этим не будет решен. Но я интересуюсь этим вопросом больше с политической стороны. Здесь дело яснее, здесь мы не бродим в потемках эстетических оценок, а имеем пред собой массовые факты. И эти факты ясно говорят, что ассимилированный еврей при первом серьезном испытании всегда и всюду оказывается таким же плохим «ассимилятором», как и плохим евреем. Он объявляет себя немцем, покуда господствуют немцы, и старается делать так, чтобы по виду его нельзя было отличить от настоящего немца. Но как только господство переходит к другой национальности, моментально обнаруживается различие: настоящие немцы остаются немцами, выдерживают борьбу и несут на себе все жертвы, между тем как тевтоны израильского происхождения с поразительной быстротой начинают отрясать прах немецкий и присоединяться к национальности нового хозяина. Я уже несколько раз вскользь упоминал об этих поразительных превращениях, но стоит еще раз на них остано-

виться, и подробно, ибо они гораздо яснее всех прочих доводов показывают истинную внутреннюю прочность еврейской ассимиляции.

В 40-х годах прошлого столетия Австрия, включавшая тогда и Венгрию, была почти сплошь онемечена. По крайней мере, так должно было показаться туристу, который посетил бы *города* империи. Только на юго-западе, в итальянских провинциях, он нашел бы сильную итальянскую культуру — и то с большими немецкими заплатами; но Будапешт весь говорил по-немецки, мадьярская речь едва слышалась на задворках; в Праге и думать забыли о том, что где-то на свете есть чешская речь; и даже в Галиции немецкая речь на улицах, в официальных учреждениях, в университетах и на вывесках соперничала с польской, и большей частью победоносно соперничала. Словом, картина онемечения *городской* Австрии была полная. Где-то в деревне прозябали чешские, словинские, русинские мужики, но с ними никому и в голову не приходило считаться: казалось совершенно ясным, ясным прежде всего для них самих, что их речь — мужицкая речь, для культурных целей непригодная, и для каждого порядочного человека просвещение — синоним германизации. Некоторые сомнения вызывали упрямые итальянцы, беспокойные мадьяры и крамольные поляки, но благоразумные люди надеялись, что и эти злоумышленники сами поймут свою ошибку. Ведь человечество должно сблизиться, а не разделяться; это проповедывал еще мудрый император Иосиф II, начертавший в одном декрете: «Нет лучшего средства приучить граждан ко взаимной между собой любви, как дав им единый общий язык». И в доказательство сослался — на Российскую Империю. Но прав он был в том отношении, что внешняя культурная физиономия Австрии в его время и десятки лет после него была очень похожа на тогдашнюю или теперешнюю культурную физиономию России: и там, как тут, господствовали почти нераздельно язык и культура

главного хозяина; и там, как тут, совершенно или почти совершенно забыли о существовании других народностей.

В этой обстановке началось пробуждение австрийского еврейства. Выйдя из гетто, сняв халаты, подрезав пейсы, его передовые сыны осмотрелись вокруг и увидели, что все приличное общество говорит по-немецки. Они тоже заговорили по-немецки; это им далось даже легче, благодаря жаргону, чем соседям. В Праге, во Львове, в Будапеште евреи начали считать себя немцами, были очень довольны таким повышением в чине и думали, что на этом можно и успокоиться.

Но вот они стали замечать, что, например, в г. Праге начинает твориться что-то странное. Какие-то оригиналы вдруг затеяли говорить по-мужицки, и не только у себя дома, но и на улице, и в театре, да нарочно так, чтобы все слышали. Сначала это смешно, потом начинает раздражать. Тем более, что эти оригиналы выдвигают еще в придачу какие-то претензии. — Мы, чехи, в этом крае большинство, — заявляют они, — а потому Прага должна быть наша, в судах и школах и даже в университете должен господствовать наш язык, а немецкому достаточно места в Вене. — Слыша такие вздорные речи, немцы пожимают плечами: как смеют мечтать о таких вещах эти санкюлоты, у которых даже литературы еще нет? А они отвечают: у нас есть Ганка, Палацкий, Краледворская рукопись; начало есть, а продолжение будет. — Немцы сначала отшучивались, а потом стали сердиться и отвечать возгласом: долой чехов!

И тут евреи попали в щекотливое положение. Раз они записались в немцы, то надо было показать себя хорошими немцами. А так как еще к тому же настоящие немцы немного косились на них и не вполне им еще доверяли, то надо было особенно постараться — так сказать, перекричать самого заправского немца. Кроме того, их и в самом деле раздражали претензии некультурного чеха. Как так? Значит, в Праге будет,

например, в городском театре не немецкая, а чешская драма? В обществе придется вести светский разговор не по-немецки, а по-чешски? Этим бедным людям с таким трудом дался немецкий язык, столько пришлось попотеть над устранением предательского акцента — и что же, все это насмарку? Начинать сначала учиться по-новому? Нет, не бывает тому! И вот, наравне с немцами и еще громче немцев начали евреи подпевать: долой чехов! Прага «наша», немецкая!

Но чехи не испугались ни немцев, ни евреев. Шаг за шагом, день за днем, напоздали из деревни в Прагу чешские муравьи, постепенно проникали во все щели и по крохам строили свою культуру. У них появились газеты, книжки, потом книги, потом целая литература, потом гимназия, потом университет. И вдруг, в один прекрасный день, немцы моисеева закона не узнали своей Праги. От немецкого всевластия остались одни огрызки. В городской думе ни одного немца, на улицах и в театре чешская речь, придишь в магазин — не желают тебе отвечать по-немецки, а если ты сам купец — изволь говорить с покупателем по-чешски, а то наденет шапку и уйдет в соседнюю лавку — к чеху. А в газетах, даже самых либеральных, очень недвусмысленно пишут, что евреям следовало бы поостеречься насчет немецкого рвения, потому что, ежели немцам мы его прощаем, то уж евреям не простим. И... евреи начали понемножку переписываться из немцев в чехи. Появились чехи моисеева закона. Сначала мало, потом больше, а теперь большинство. Но так как настоящие чехи кричат: «долой немцев», а еврей старается быть совсем как настоящий чех и даже еще лучше, то дети или младшие братья тех, что кричали когда-то «долой чехов!» — тоже кричат вместе с новыми хозяевами: — Долой немца!

То же самое было в Галиции. Известно, до какого раболепства дошел теперь на польской службе галицийский ассимилятор, знаменитый «Мошко». Он и туда, он и сюда, он за польщизну душу готов поло-

жить, он за польскую культуру согласен раздавить и русин, и евреев, а уж немцев, притесняющих «его братьев» в Познани, он ненавидит выше всякой меры. Но хотите знать историю этого польского энтузиазма? Ярким образчиком ее был покойный депутат Эмиль Бык, член польского коло и ярый полонизатор, умерший в 1906 г. Не далее, как в 1873 г. он еще состоял всей душой в немцах, разъезжал по Галиции и агитировал, чтобы все евреи записались в немецкую партию. Но потом, хорошенько осмотревшись и увидев, куда ветер дует, он «перестал быть» немцем и «сделался» поляком с той же легкостью, с какой человек из маклера становится сватом, и с тех пор не было у поляков в Галиции более верного лакея и у немцев более грозного врага. И эту эволюцию проделало все старшее поколение ассимиляторов. Когда-то они состояли в немцах и ворчали на поляков; теперь они состоят в поляках и стараются делать все так, как делают настоящие поляки. Но настоящие поляки боятся теперь в Галиции не немца, а нового врага. На сцену все решительнее выдвигается новый претендент: русины. Их в Галиции 3 миллиона, а в восточной половине они составляют огромное большинство; Львов лежит в Восточной Галиции, а потому они заявляют на него самые категорические притязания. Это не Лемберг, говорят они, и не Львов, а Львив, столица австрийской Украины; город этот должен быть наш, в судах, в участке, в университете должен господствовать украинский язык, а для польского довольно места и в Кракове. Иными словами, повторяется история с Прагой... И духовные братья Эмиля Быка, с недалевидностью, типичной для всех ренегатов, во все горло подхватывают лозунг «долой гайдамаков!» — забывая, что через 30 лет эти «гайдамаки» неизбежно будут полными господами Восточной Галиции... Впрочем, что за беда? Мошко тогда перевернется в третью национальность.

Я теперь не спорю о том, хорошо это или дурно с

нравственной точки зрения. Настаиваю только на одном: это *факты*, и эти факты неопровержимо доказывают одно: когда еврей воспринимает чужую культуру, превращается в немца, чеха или поляка. то каков бы ни был его энтузиазм, нельзя полагаться на глубину и прочность этого превращения. Ассимилированный еврей не выдерживает первого натиска, отдает «воспринятую» культуру без всякого сопротивления, как только убедится, что ее господство прошло и хозяйское место переходит в другие руки. Он не может служить опорой для этой культуры; с каким бы он пылом о ней ни говорил, неглубокость и непрочность корней, которыми она связана с его душой, обнаруживается при первом серьезном испытании. К этому выводу приходят все авторитетные наблюдатели национальных отношений, самые серьезные, самые спокойные, как проф. Раухберг в своем капитальном труде о Богемии¹, как М. Hainisch в своей обстоятельной статистико-экономической монографии о перспективах австрийского развития². И даже социал-демократ Шпрингер, говоря о венгерских евреях, которые тоже 60 лет тому назад «были немцами», а теперь на каждом шагу поют гимны «нашей мадьярской культуре», — ставит им уничтожающий прогноз: «Они останутся мадьярами, покуда венгерским государством правят мадьяры, — ни минуты дольше»³. Но настоящие мадьяры, и потеряв владычество над инородцами, все же останутся мадьярами — и в этом, а не в шуме скажется различие между мадьярами первого и второго сорта...

Всем тем из стана ассимиляторов, которые не утратили еще прямого взгляда на вещи и самостоятельности мышления, я задаю вопрос: где доказательство, что здешние евреи сделаны из лучшей глины, чем евреи Будапешта, Лемберга, Праги? Те ведь

¹ Prof. H. Rauchberg, Der nationale Besitzstand in Böhmen. I, стр. 673.

² Dr. M. Hainisch, Die Zukunft der Deutsch-Österreicher, стр. 31.

³ R. Springer, Die Krise des Dualismus.

тоже не были сознательными лицемерами, субъективно они были искренни и тогда, когда обожали все немецкое, и теперь, когда обожают чешскую или мальярскую культуру. Следовательно, дело не в субъективном энтузиазме, который вовсе не доказывает глубины чувства, а дело в каких-то объективных моментах, которые создают действительную, кровную связь между человеком и его культурой, рожденной его предками и его братьями из его национальной души. У евреев ближнего запада этих моментов при испытании не оказалось. Почему мы забываем о том, что и нам, по-видимому, грозит точно такое же испытание? Главная масса евреев живет среди украинцев, поляков, белоруссов, литовцев; эти народы начинают теперь подымать головы так же точно, как 60 лет тому назад начали делать это чехи. Это происходит у нас на глазах, пройти мимо этого явления может только близорукий. Надо же иметь нам линию поведения не только на сегодняшний, но и на завтрашний день. Ведь одно из двух: или Россия останется в полицейских тисках, или все эти народности используют политическую свободу прежде всего для того, чтобы сделать из России большую Австрию; хотим мы этого или не хотим, это будет, и ни Струве, ни мы с вами не «уговорим» ни тридцатимиллионную массу малороссов, ни даже маленький литовский народ. Как же мы определим свою позицию к этому моменту? Какова будет наша роль в этой будущей России, где сто народов вокруг нас будут развиваться самобытно, создавая свои национальные ценности на своих языках? Останемся ли мы тогда в роли, на которую намеки есть уже и теперь — в роли единственных носителей руссификации на окраинах? Или пойдем по пути австрийских ассимиляторов, меняя национальность при каждом перемещении политических сил? Или, быть может, изберем третью дорогу, предоставим русским быть русскими, полякам поляками, а сами воздвигнем свои маяки?

Я прекрасно понимаю, что «ассимилятор» есть,

чаще всего, продукт ассимиляции, и переделать себя он в известном возрасте уже не может. Он привык жить русской культурой, ему другая недоступна, и ему некуда уйти. Не обречь же себя на духовный голод. Это я понимаю. От каждого отдельного человека нельзя требовать личных жертв, да еще таких длительных, на всю жизнь. Речь идет пока не о личном поведении того или иного еврейского интеллигента. Речь идет о политической ориентации. Мы не только лично живем, но мы и прокладываем линии для будущего. Если мы попали в тупик и известной части нашего поколения уже нет из него выхода, то ведь остается долг — направить завтрашние поколения по другой колее. Созидание национальной культуры, борьба за ее гегемонию в еврейской душе — это задача и для того из нас, кому лично уже не суждено пить из ее родников. Пусть он строит для своего сына, пусть чертит план жизни для более счастливых. И главное, пусть громко признает, что *его* путь был ложный путь, и станет на пороге западни, куда сам попал, — станет на пороге, не пуская других.

1912.

ЧЕТЫРЕ СЫНА

По еврейскому обряду полагается, рассказывая в пасхальный вечер об исходе из Египта, применяться к психологии четырех типов детей. Один — умный, другой — нахал, третий — простак, а четвертый — «такой, что даже спросить не умеет». И надо ответить каждому по порядку, каждому по его вкусу и по мере его понимания.

Умный мальчик пытливо морщит выпуклый лоб, всматривается большими глазами и хочет понять, в чем было дело. Почему его предков сначала любили в

Египте, приняли с раскрытыми объятиями, а потом начали притеснять и мучить; и так странно — притеснять притесняли, мучить мучили, мальчиков в воду бросали, а выпустить ни за что не хотели. — Как это понять, папа? — спрашивает умный.

«Видишь ли, сын мой, философия исхода из Египта заключается в двух фразах, которые записаны в Вечной книге. Эти две фразы — как альфа и омега в азбуке, начало и конец благополучия твоих прадедов в Египте; и еще можно сравнить их с двумя полюсами, между которыми проходит ось, а вокруг этой оси вращается весь еврейский вопрос в Египте. И не в одном Египте. Когда вырастешь и будешь читать много книг, ясно тебе станет, что во всех скитаниях твоего народа, в каждом этапе есть и эта альфа, и эта омега; что каждый этап с того же начинается и тем же кончается, чем начался и кончился в Египте; и что полюсы, между которыми судьба швыряет твое племя, с той незапамятной поры не изменились и не передвинулись.

Что же это за две фазы? Одну ты найдешь в книге Бытия, где рассказывается, как Иосиф представил фараону своих братьев и что им перед этим советовал. Умный и хитрый человек был Иосиф, истинный сын отца своего Якова, того самого, который так ловко обошел и собственного родителя, и брата, и тещу, что антисемиты — об этом ты в свое время узнаешь — называют его «первым жидом на земле». Ты, кстати, этого не стыдись, потому что умел Яков и хитрить, умел и бороться — с самим Богом боролся лицом к лицу всю ночь до зари, и остался непобежденным; умел и любить и четырнадцать лет служил батраком за любимую женщину. Был это удалой человек, на все руки мастер, и купец, и боец, и рыцарь, и судья, хищный и благородный, осторожный и отважный, расчетливый и сердечный — настоящий человек, широкий, с великими доблестями и недостатками, с душой, как семицветная радуга, или как арфа, на которой все струны. Жизнь его была и осталась самой увлекательной поэмой, какая только рассказана была на земле, и ты читай ее почаще и учись

из нее уму-разуму. Учись и любить, учись и бороться, учись и хитрить, ибо земля есть волчье царство, где нужно владеть всеми орудиями защиты и натиска.

Сын его Иосиф был тоже умен и хитер. Знал он хорошо все дела египетские, знал, чего египтянам не достаёт, а особенно хорошо знал душу фараона и его людей. И вот дал он своим братьям, которые просились в Египет, такой совет: скажите, что вы скотоводы. И прибавил фразу, которую ты, сын мой, затверди на память, ибо в ней скрыта главная мудрость нашего народного скитания: *«Ибо мерзость для египтян всякий пастух»*.

Вторую фразу ты найдешь в книге Исхода. Прошло уже много лет, одни говорят — 400, другие меньше, но, во всяком случае, давно умер и Иосиф, и братья его, и все то поколение, и тот фараон, который знал Иосифа. Воцарился новый царь и нашел, что потомки Иосифа чересчур сильно расплодились. Тогда и произнес он вторую фразу, которую надо тебе затвердить на память, ибо с тех пор и поныне замыкается этой фразой каждый привал, каждая передышка твоего народа на пути его скитаний, и как только прозвучит эта фраза, приходится ему опять укладывать пожитки в дорожную торбу. «Давайте ухитримся против него, чтобы он не умножился», — сказал новый фараон.

Из этих двух фраз, сын мой, складывается, в сущности, вся философия наших кочеваний. Ты спросишь: как так? Зачем велел Иосиф своим братьям называться скотоводами, если скотоводы — мерзость в глазах египтян? А в том-то и дело. Заниматься пастушеским делом египтяне считали непристойным, но скота-то у них было много, и творог они ели с удовольствием. Потому и нужны были им скотоводы. Сам фараон, когда услышал то, что сказали ему сыновья старого Якова по мудрому совету Иосифа, очень обрадовался и тотчас распорядился назначить их смотрителями царских табунов и стад. И вообще, должно быть, не малая радость была в Египте, что,

вот, нашлись добрые люди, которые за нас сделают то, чего мы сами делать не любим...

Что же произошло за те годы, что отделяют эпоху первой фразы от эпохи второй? Почему вдруг стали так обременительны потомки ханаанских скотоводов? Неужели решено было во всем Египте не держать более скота? Напротив. Скота было много, и египтяне очень им дорожили: одной из самых чувствительных казней оказался для них, по преданию, падеж скота. В чем же дело? Ты не понимаешь? Сын мой, если бы ты знал историю наших новых скитаний, ты бы легко догадался, в чем причина охлаждения. — Очевидно, египтяне сами за это время привыкли к скотоводству. Сначала стеснялись и гнушались, а потом научились у евреев же, начали делать на первых порах робкие, единичные попытки, а потом приободрились, вошли во вкус занятия — и в один прекрасный день вдруг нашли, что теперь евреев слишком много, и можно бы уже и без них смело обойтись. Конечно, не сразу: массового ухода фараон не хотел допустить, ибо тогда все-таки еще могла бы остаться без присмотра известная часть отечественной скотины. Но помаленьку, полегоньку, через постепенное вымирание — это дело другое, перспектива приятная и не грозящая никакими неудобствами, ибо тем временем коренное население окончательно приберет к своим рукам всю захваченную чужаками отрасль отечественного хозяйства. И вот, «давайте ухитрима»...

Так, сын мой, с тех пор и пошло. Будешь ты потом изучать историю наших скитаний по белому свету и увидишь, что всюду было то же самое. Начиналось с того, что «мерзость для египтян всякий пастух», и потому опальные профессии охотно предоставляли нам.

У египтян был своеобразный вкус, и им не нравилось именно скотоводство. А, например, у европейских народов был вкус другой, и им долго не нравилась торговля. Быдло пахало землю, а знатные господа пили вино и разбойничали по большим дорогам, грабя проезжих купцов. Грабить купца считалось вполне приличным, но быть купцом считалось

очень неприличным. Эта была «мерзость для египтян». И эту «мерзость» отмежевали нам, да еще как охотно. Давали привилегии, защищали от дворян и черни; от времени до времени грабили нас и жгли, но потом опять задабривали привилегиями. Один ученый немец Зомбарт, хорошо изучивший все это дело, утверждает, что вместе с евреями шел по Европе из страны в страну всякий хозяйственный прогресс, что они, собственно, дали миру ту международную торговлю, без которой величайшие столицы земли по сей день остались бы грязными захолустьями, они развили кредит и банковое дело, они снарядили Колумба на открытие Америки. И пока они все это делали и, зарабатывая для себя тысячи, клали десятки миллионов в ненасытную утробу фараоновых карманов, — европейцы приглядывались, учились, стали пробовать и свои силы, привыкли, приободрились, вошли во вкус «мерзости» — и, конечно, вдруг увидели, что евреев развелось что-то слишком много. «Давайте ухитримся»... Когда мальчик научился грамоте, гувернера выбрасывают на улицу. Так это и повторялось с твоими предками в каждой стране. Примут, окажут покровительство, возьмут, что надо, а потом начнут «ухищряться, чтобы *он* не умножился...»

Ты не думай, сын мой, что слово «мерзость» надо понимать в буквальном смысле. Часто египтяне чуждаются пастушества не потому, что оно мерзко в их глазах, а потому, что руки у них коротки или страшно обжечься. Тогда они очень бывают рады, если найдется пришелец, у которого руки подлиннее и пальцы не боятся ожога, — и станет таскать для них каштаны из огня. Так бывало, например, при некоторых революциях. В 1848 году в Вене первую революционную речь произнес еврей Фишгоф; а в Берлине тогдашний король издавал прокламации, где уверял, что все это евреи бунтуют, и когда хоронили убитых, то, действительно, много работы по отпеванию выпало на долю тамошнего раввина. Зато и ласковы были с нами тогда египтяне. А потом — вы-

мерло то поколение египтян, и дети его снова нашли, что слишком много осталось потомства от Иосифа, так недавно обжигавшего для них пальцы горячими каштанами...

«Так было, так есть, так будет».

Второй мальчик — «нахал» — сидит, развалиясь, заложив ногу на ногу, иронически скалит зубы и спрашивает: — Что это у *вас* за курьезные какие-то обычаи и воспоминания? Пора бы давно забыть старые глупости!

Расскажите ему, в ответ на насмешку, что были уже такие, как он, были и в старом Египте. Скалили зубы на все надежды своего племени и предпочитали лнуть к стороне фараона. Об одном из них уцелела память и в Библии. Юноша Моисей заступился за еврея, которого бил египтянин, и убил того египтянина, а другой еврей это видел и вознегодовал на Моисея. Можно ли поднять руку на хозяина? И на завтра он или другой из его породы начал показывать зубы Моисею. «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами?» А потом еще кто-то из этой породы донес фараону, что явился такой опасный фантазер и занимается перевоспитанием еврейской воли. В те времена мир был устроен просто, общественного мнения не существовало, и потому доносчик обратился прямо во дворец: будь это в наше время, он, вероятно, как человек приличный, избрал бы другие пути, постарался бы очернить Моисея не перед личным, а перед коллективным фараоном — перед просвещенным обществом Египта. Про убийство насильника он, как человек приличный, умолчал бы, но обрушился бы на ту психологию, которая побудила Моисея обратить внимание, изо всего множества насильий, несомненно чинимых ежедневно в Египте, только на эту расправу египтянина с евреем. Мало ли вообще было рабов в Египте? Зачем такой человек, как Моисей, тратит свои силы на эмансипацию какой-то горсти пастухов, а не на преобразование и обновление всего Египта? И куда это он их зовет? Господи! Да разве не грех оторваться от этой богатой страны, где есть в изобилии всякая всячина, и

хлеб, и горшки с мясом, и лук, и чеснок, и много папирусов, исписанных мудрыми иероглифами, тогда как родители Моисея — бедняки без собственности и культуры? «Что это у вас за выдумки?» — иронически спрашивал тот человек у Моисея и Аарона, развалясь, заложив ногу на ногу и оскалив зубы.

«Притупи ему зубы», — советует относительно этого сына ритуал пасхальной вечери. Но я сомневаюсь, чтобы можно было притупить ему зубы. Он слишком хорошо вооружен, ибо ведь нет ничего более непобедимого, чем равнодушие. Ничем вы его не прошибете: раз он уже научился говорить о своем народе: «у вас» — пиши пропало. Он вас высмеет, а материалу для насмешки у него сколько угодно. Над побежденными нетрудно издеваться, особенно когда издевающийся — свой человек и знает все раны и прорехи. Шишек на лбу у нас много, спина порядком сгорбилась, от векового перепугу руки трясутся; скарб наш убог и сделан по старой моде... есть над чем посмеяться при желании, уничижительно сравнивая нашу скудость с богатством Египта. Правда, сынок этот и сам-то Египту приходится сельмой водой на киселе; но ведь известно, что с наибольшим презрением к бедному родичу барина относится не сам барин, а его лакей. Оскалит на вас зубы, и ничем вы их не притупите.

Да и не надо вам притуплять зубы этого сына. Пусть идет своей дорогой с крепкими зубами. Бедняга, они ему еще понадобятся там, в стане ликующих, куда его тянет. Твердые орехи придется ему там разгрызть: из них самый твердый — орех презрения. И много, много раз придется ему молча глотать пинки в ответ на любовные признания и плевки в ответ на лесть, — и смиряться, и стискивать зубы. И в конце жизненного пути, когда он увидит, что весь этот путь был притворством и ложью перед людьми и собственной душой, и если сама душа и поверила этой лжи, то люди ни на минуту не поверили, — тогда бросится, быть может, в отчаянии беглый сын ваш лицом вниз, и будет ломать руки, рвать на себе волосы и грызть землю — теми самыми зубами, что теперь оскалены насмешкой над вашими святынями.

Пусть сохранит свои зубы, они ему еще понадобятся и для фальшивых улыбок, и для скрежета бессильной злобы...

А третий мальчик — простака. Глаза у него честные, ясные, прямые. Он не из тех, которые допытываются, доведываются, копаются в противоречиях. Мир для него прост и непререкаем; он любит верить и благоговеть ясной верой примитивного человека. В таком роде был простаком и Самсон: любил драться, любил и шутить, и острить, и загадки загадывать, и проказничать, и вкусно поесть, и сладко выпить, а доверчив был до того, что после трех обманов опять уснул на груди у Далилы. У сегодняшнего сына-простака нет, конечно, той полнокровной жизнерадостности, что была у Самсона — времена не те. — но основа типа та же самая — бесхитростная, прямодушная доверчивость.

— Папа! — спрашивает он, и кладет локти на стол, прижимается грудью, вытягивает шею и весь тянется к вам, словно к источнику в день жажды, и уже заранее верит во все, что скажут ему, ибо хочет верить: — Папа! Когда станет лучше?

И вы расскажите ему просто и тихо про все, что делается теперь в великой, необъятной диаспоре. Расскажите ему, как в тысяче мест тысячами рук строится вновь рассыпанная храмина бессмертного племени. Расскажите ему, как постепенно снова на наших глазах срастается распыленная доньше народная воля, как снова из обломков складывается настоящий народ, настоящий народ, настойчивый, эгоистичный, исключительный, как все здоровые нации. Расскажите ему, как рушатся одна за другою последние кафедры, с которых еще недавно раздавалась проповедь национального самоубийства. Расскажите про еврейскую молодежь университетов Берлина, Вены, про этих сыновей онемеченных коммерциепратов, про то, как они гордо носят на груди еврейские цвета:

Белый — как снег в этом крае печали

Синий — как вы, о влекущие дали

Желтый — как наш позор.

Расскажите, как повсюду с каждый днем растет гордость, уважение к собственной самобытности и горькая ненависть к ренегатству; как научились и парижский драматург, избалованный успехами, и нищий шинкарь в галицийском местечке, дрожащий перед паном, кричать в лицо всему свету: я еврей! Расскажите про то, какие дивные поэты пишут теперь на нашем языке, и как прекрасен и могуч этот язык, и что за великое счастье для народа — обладать таким языком. И еще расскажите ему, как бойко и весело щебечут на этом языке дети палестинского колониста, и как шаг за шагом, по малому камушку, с великим трудом, сквозь строй тысячи препятствий, начиная с жгучего солнца и кончая пулей бедуина, воздвигается там и растет нечто новое, точка опоры для самых грандиозных замыслов и пророчеств. Расскажите простой и верующей душе все это и многое другое. Он возьмет ваши слова полными пригоршнями и бережно сложит их в открытом сердце, и с той минуты одним борцом больше станет в нашем полку.

Четвертый мальчик не умеет спрашивать. Сидит на вечере чинно, делает, что полагается, и не приходит ему в голову расспрашивать, как и что, отчего и почему. Ритуал велит не ждать его вопроса и рассказать ему все по собственному почину. Я в этом не согласен с ритуалом. Ценная вещь — любознательность; но есть иногда высшая мудрость, высшее чутье и в том, что человек берет нечто из прошлого, как должное, и не любопытствует ни о причинах, ни о следствиях. Такую мудрость надо беречь и не спугивать ее лишними словами.

Такою мудростью мудр бывает серый, массовый человек. Это — тот невзрачный горемыка, что точает сапоги, шьет платья, разносит яйца, скупает старые вещи, переписывает свитки завета, торгует в мелких лавчонках, бегаёт на посылках, тянет все те полунадорванные лямки, от которых его еще не прогнали, кряхтит, а по пятницам вечером наполняет дома молитвы. Это он, знаменитый Бонция-Молчальник из сказки Леона Переца, несет на своем горбу все бремя диаспоры, поставляя из своей среды человеческое мясо и для эмиграции, и для погромов; он агонизи-

рует и не умирает, гибнет и не погибает, и творит исконный обряд, как творили деды, почти машинально, почти равнодушно, с той подсознательной верой, которая, быть может, в глазах Б-жьих прочнее всякого экстаза. Он, этот серый массовый молчальник, «не умеющий спросить», он есть ядро вечного народа и главный носитель его бессмертия.

Ритуал велит рассказать этому сыну про все то, о чем он не спрашивает. А по-моему, пусть и отец промолчит и молча поцелует в лоб этого сына — самого верного из хранителей той святыни, о которой молчат его уста.

1911.

Из «Хроники еврейской жизни»

ЕВРЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Поздно теперь ставить вопрос о том, «должны» или не «должны» были евреи принимать участие в революции. Точнее было бы сказать: «в революционной борьбе с самодержавием», — так как в понятие революции, кроме этого негативного момента, входит еще и другой, творческий, созидательный. Этот второй момент российского переворота еще не вполне выступил на сцену, и, когда он выступит, легко может оказаться, что евреи в нем никакой или почти никакой роли не сыграли. Между тем здесь-то им, пожалуй, и следовало бы проявить особенную энергию — главным образом в выработке и создании новых форм для сожительства разнородных национальностей. Но сегодня речь не об этом моменте, а о первом — о революции в обывательском значении слова. Тут уж, конечно, не о чем хлопотать: «должны» или не «должны» были евреи вмешаться в нее. — они

фактически приняли в ней огромное участие, и, значит, так было необходимо, а иначе быть не могло. Damit Punktum.

Но за каждым из нас должно быть признано право, на исходе определенного периода революции, в такие дни затишья, как нынешнее, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то дурное, что произошло для нас от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать. Я попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо, без всяких апелляций к чувству. Речь идет о подсчете, об итоге, и я хочу действовать, как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель — получить, насколько это в его силах, правильный баланс.

Один выигрыш от революции для меня вне всяких сомнений. Я о нем писал уже несколько раз. Это — выигрыш моральный. Роль нашей молодежи в огромных событиях российского переворота создала, особенно в Европе, совершенно новое мнение о нашем народе. Этим нельзя пренебрегать. Мы, сионисты, всегда издевались над попытками апологии, и были правы, ибо апология, как цель, унижительна, смешна и бесполезна. Личность и народ должны действовать ради своих интересов, а не ради доброго мнения соседей.

И лучший способ реабилитировать себя в глазах других, это — идти своей дорогой, ни на кого не оглядываясь. Такой реабилитацией нельзя не дорожить. Куда бы ни пошла дальше линия нашей национальной самодеятельности, — нам пригодится то, что племена земли не считают нас больше народом трусов. Великую или малую пользу принесет нам эта перемена в общем представлении — другой вопрос, ответить на который можно было бы лишь гадательно, а я гадать не хочу. Но пренебрегать нельзя. В этом отношении наша роль в революции уже окупилась.

Есть еще и другая сторона в этой моральной пользе — сторона субъективная, подъем боевого духа в самом еврействе. Нечего таить: ведь не только во взгляде других на наш народ совершилась перемена — перемена совершилась и в нас. Еврей сегодня уже не похож на еврея 25 или даже 10 лет тому назад. Конечно, смешно было бы думать, что русская революция создала этот подъем. Он создан ходом еврейской жизни, который привел к пробуждению национальной самодеятельности, активно-исторического творчества. Но русская революция была школой для этого нового духа. Она приучила еврея «к огню», как выражаются военные, и эта выучка нам еще не раз и не раз понадобится в будущем. В *этом* отношении наша роль в революции тоже не прошла для нас без пользы. Я не повторю, что и здесь она вполне «окупилась» — это, пожалуй, было бы чересчур, потому что и без такой выучки — слишком дорогой выучки! — развилась и взросла бы активная энергия народа в силу внутренних процессов его собственного роста. Можно было дешевле заплатить и приобрести то же самое. Но если мы переплатили, то все же приобрели. Честный бухгалтер должен записать и малую прибыль.

Честный бухгалтер должен записать и убытки. Здесь я должен задуматься. Мы подходим к трудному казусу политического счетоводства: что нам дала и что нам даст наша роль в революции в смысле реальных выгод? Реальные выгоды — это, в данном случае, права. Я, допустим, не сомневаюсь, что *революция* в конце концов нам их даст, но не о том вопрос. Вопрос о *нашем* участии, о *наших* затратах на революцию. Окупятся ли они? И даже больше спрошу: оправдается ли этот великий расход еврейского народа, — будет ли доказано, что эти затраты действительно были *необходимы* для получения полных прав в обновленной России?

Сложный вопрос. Я выше сказал, что раз евреи приняли участие в революции, значит, так было не-

обходимо. Но я имел в виду другую необходимость — внутреннюю. Видно, таково было настроение народа, что из него *должен был* выделиться известный процент революционеров. Но была ли объективная, так сказать, «деловая» необходимость, в том простом смысле, что, не будь евреев-революционеров, мы не получили бы никогда равноправия?

Многие так именно и полагают. Я не могу присоединиться к этому мнению. Я, конечно, не ручаюсь за то, что в этом случае — не будь наших революционеров — нам обязательно дали бы права. Может быть, и не дали бы. Но ведь киргизы бесспорно получают все права, которых им недостает, хотя и духу их не было в революции. Значит, евреи на особом положении. Не спорю. Но тогда я не вижу реального смысла именно в *этом* средстве завоевать себе полноправие. Одно из двух: или Россия, настоящая народная Россия, хочет нашего равенства или не хочет. Если хочет, то дала бы его нам и без учета наших заслуг по революционному делу. Если не хочет, то не можем же мы ее заставить. Наша революция бессильна против парламента России — в этом никто не сомневается.

Или то, чего нам иначе не хотели бы дать, будет нам дано именно в благодарность за наши заслуги? Наши революционеры почти все исторические материалисты. Странно было бы услышать из их уст, что благодарность или память о заслугах может явиться реальным фактором в истории...

Но, конечно, в этом еще не весь вопрос. Если бы даже и была полная уверенность, что революция, все равно, даст нам права и без всяких заслуг, — то ведь самой революции не было. Надо было вызвать ее. И эту роль взяли на себя евреи. Они — легко воспламеняющийся материал, они — грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России. И так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным на белом и считается большой истиной. Но я счетовод и над этой затратой еврейского народа останавлива-

юсь в нелегком раздумье и не знаю, окупилась и окупится ли она.

О, бесспорно, это прекрасная задача: быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 130-миллионном народе, поднять красное знамя на Литве так высоко, чтобы увидел и Тамбов, и Саратов, и Кострома, — чтоб увидали и сказали друг другу: «Пойдем за ним». И, конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело от еврейских революционеров: знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы?

Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны Кострома, бесспорно, вводилась в искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызывать у нее, Костромы, соблазнительной мысли: значит, можно и нашего околоточного... таким же манером? — В то же время отдельные евреи добивались и до самой Костромы, и лично старались там претворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело, конечно, к пробуждению политического сознания. Но... А другая сторона?

Я вспоминаю потемкинские дни в одесском порту. Огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что через несколько часов она же будет лизать ликер с булыжника мостовой и жечь пакгаузы. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все, что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец, с хорошим открытым лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собой штурмом на город и повесить Дмитрия Нейдгардта на фонаре у Строганова моста. И ораторов.

действительно, слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» — с большими круглыми глазами, с большими ушами и нечистым р. И в толпе всякий раз, со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? — Именно замечание, а не возглас, не окрик: в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы — это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, чтобы оратор был *свой* от головы до ног, чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей повадки его веяло родным — деревней, степью, Русью.

Тут были ведь не пропагандированные люди, которых можно взять резонами, — тут была масса, неподготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу, надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа, нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не покоробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь именно этого не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но без увлечения; чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль: жида пошли — ну, значит, все это, видимо, их только, жидов, и касается. Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз о нем главным образом радеют чужие. И больше ничего. Да и этого было довольно: расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награбленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город, оставив порт и босячество на волю судьбы.

Я далек от того, чтобы медленный рост революционного настроения в русских массах объяснять всецело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь

в одном: подымать народную новь может только свой. У чужого — если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются. — у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака и особенно чужаков, если их много, и инстинктивно сторонится.

А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девяносто и кричат народу: берегись, это еврейское дело! И народ им верит, или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине. Когда неведомо становились страдания русского народа и вот-вот готов был прорваться его гнев, — кто сосчитает, сколько раз в такие моменты самодержавие спасало себя искусной игрой на этой слабой струнке стихийного существа — на недоверии к революции, предводимой инородцами?

Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры нисколько не ответственны за то, как освещало самодержавие их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты. И я говорю, что если с одной стороны еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то с другой стороны преизобилие евреев в рядах крамолы давало самодержавию ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отрицать это значило бы лгать самим себе. И пусть не думают, что это был слабый или недействительный фактор затемнения! В 1863 году самодержавие сыграло такую же спекуляцию на польском повстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне.

И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России, но он же способствовал и затемнению этого сознания. Что же

было сильнее: первое или второе? Иными словами: ускорила или замедлила еврейская крамола наступление всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков, и женщин, и детей, которой нас заставили заплатить, под ножами предателей, за крушение самодержавия? Не выгодней ли было для народа подождать еще несколько лет — ведь и без евреев, наконец, не погибла бы Россия, — но дешевле заплатить за свободу?

Пусть, положа руку на сердце, отвечает, кто может, — я не могу, потому что не знаю ответа.

Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась «по собственной воле еврейского народа», и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовней все модные вопли о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров — значит, такова была атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так, я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию.

Но на пользу ли народу пошла эта революция? Не знаю. Воля народа не всегда ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет, — а на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит...

Только там, где на себя самого и ни на кого больше не должен рассчитывать народ, — только там воля народа всегда к благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги: мы строили и скрепляли народное единство, и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное недоверие к чужакам и скажут благо тем, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства.

Из «Рассвета»

АНТИСЕМИТИЗМ В СОВ. РОССИИ

Видный русский социалист-революционер, бывший морской министр в правительстве Керенского Вл. Лебедев несколько месяцев тому назад нелегально побывал в Сов. России; благополучно вернувшись из своей рискованной поездки, он в «Воле России» делится впечатлениями о виденном и слышанном. Специальный очерк посвящает Вл. Лебедев антисемитизму в Сов. России. Вдумчивый наблюдатель, безукоризненный в своем отношении к еврейству, Вл. Лебедев зарисовывает характерные картинки обывательского антисемитизма.

На рабочем собрании, — перед отъездом в..., — в ожидании докладчика по китайскому вопросу:

— Слышали, слышали?

— Что слышали?

— В Палестине-то...

— Что?

— Как что? Не читали разве?

— ?

— Погром, батенька! Самый настоящий погром. Арабы евреев бьют. Это тебе не Москва...

Помолчав немного:

— Дураки сионисты, а еще евреи! — поверили на слово... И кому? — англичанам...

— Да, это тебе не Москва...

Что звучало в диалоге совслужащих? Торжество ли по поводу погрома евреев? Или удовлетворение? Ведь бьют сионистов. Гордость ли оттого, что в Москве погрома быть не может? Или сожаление о том, что Палестина не в Москве?

Коротенький диалог был богат, насыщен тонами. Как понять эти тона, ударения, музыку диалога? В нем умещалось целое исследование на жгучую тему.

Истинный смысл музыки был понятен только собеседникам... Радость или сожаление?

В газетах тройная радость:

бьют *сионистов*,

бьют *арабы*,

бьют «у *англичан*».

Не понимает ли население эту правительственную радость как антисемитскую радость?..

Или вот другая сценка.

Сидит в «пивнушке» полупьяный прогоревший «частник», заказывает гармонисту то «Интернационал», то фокстрот, то комаринского, то, наконец, популярные «Бублички». Когда дошла очередь до словутого куплета

И в ночь ненастную меня несчастную.

Торговку частную, ты пожалей.... —

пьяный требовал, чтобы гармонист пел его в иной вариации:

..... меня несчастного

Торговца частного.....

— Говорят тебе, торговца частного. Ну, какая я торговка? Доказывать тебе, что ли?..

— Бывший частник, — шепнул мне приятель.

— Разорили, жида проклятые, — промолвил частник, когда замолкли последние звуки собранной гармонии.

Промолвил и оглянулся...

Источники этой злобы многочисленны. В Москве до 200.000 евреев, все пришлый элемент. А возьмите, говорил Лебедеву его приятель, телефонную книжку и посмотрите, сколько в ней Певзнеров, Левиных, Рабиновичей и прочих, как говорят советские антисемиты, гишпанских фамилий. Телефон — это свидетельство: или достатка, или хорошего служебного положения. Списки служащих наркоминдела, внешторга, ВСНХ, управлений трестов, пестрят еврейскими фамилиями. Конечно, евреи переполнили также и Соловецкие острова, сибирскую и другие ссылки и дома заключения, но этого население не видит. Как не видит оно вымирающих ремесленников — евреев белорусских и украинских местечек. Печать старательно замалчивает бедственное положение евреев в бывшей черте оседлости. Москвич понятия даже не имеет о том, что еврею вообще живется так же плохо, как и всем остальным.

В Ленинграде зоркий глаз Вл. Лебедева замечает другие «мелочи», бьющие по нервам русского обывателя: переименование улиц именами покойных большевистских вождей еврейского происхождения.

Урицкий, Володарский, Нахимсон... Три имени сопровождают вас в Петербурге повсюду. Они нагло лезут в глаза. Они назойливо звучат в ушах. Урицкий, Володарский, Нахимсон... Три ничтожества!

И надо же им было родиться евреями...

Вы на изумительнейшей площади города, перед Зимним дворцом, и площадь эта — площадь Урицкого.

Таврический дворец — какая страница истории!
— дворец Урицкого.

Таврический сад — сад Урицкого...

Лигово — Урицкое...

Литейный проспект — проспект Володарского...

Шестая часть столицы — район Володарского!

Смоленское, за Александро-Невской Лаврой, — село Володарское...

Сергеево — Володарское...

Шлиссельбургское шоссе — проспект села Володарского...

И неподалеку от Александро-Невской Лавры, у Невской заставы, бронзовый Володарский-оратор произносит речь... Здесь он был «убит социалистами-революционерами».

Владимирский проспект — проспект Нахимсона...

Владимирская площадь — площадь Нахимсона...

И собор Владимирской Богоматери — собор Нахимсона, — так острят ленинградцы.

Теперь их имена только — «бациллтрегеры». Бациллтрегеры — носители бацилл бытового большевистского антисемитизма. Урицкий, Володарский, Нахимсон...

И все же собеседники Вл. Лебедева не верят в еврейские погромы при перемене политического строя России:

— А громить не будут, Иван Яковлевич? — спросил я.

— Что вы, Семен Лукич, что вы... Мы и в царское время боролись против погрома и черной сотни. А кому же их теперь громить? И зачем? То все — прошлое.

— И я так думаю, Иван Яковлевич. Навеки прошлое.

ЧЕРНАЯ СОТНЯ

Фельетон

Еврейская печать, насколько я знаю, считает долгом относиться к большевикам с великой осторожностью. Их очень редко порицают; и даже когда порицают, то не во весь голос, а — как сказано в былине про Соловья Разбойника — в полсвиста. Причины тому разные: во-первых — корректное отношение советской власти к равноправию евреев; а также страх, что если большевики рассердятся, то выместят это на единомышленниках, или на родственниках, или на однофамильцах пишущего; а также некоторое уважение к партии, которая, как-никак, стоит за права трудовой бедноты.

Я этого отношения к большевикам не разделяю. За признание равноправности граждан независимо от веры и племени никакой благодарности не полагается, как не полагается ее за проведение телефонов, за поливку улиц и вообще за употребление носового платка. — То, что большевики на каждого еврея в России, особенно на каждого сиониста, смотрят как на заложника и вымещают на нем свою злобу, как только их кто-нибудь обидит за рубежом, — это, по-видимому, правда. Но есть старая истина: полдаться вымогательству значит поощрять вымогательство; если хотите отбить у шантажиста охоту к его ремеслу, лучшее средство — послать его сами знаете куда. Сентиментальные люди на это не решаются: сердце болит за однофамильцев, которые без вины страдают. Я не сентиментален: опыт и арифметика доказывают, что невинных жертв накопится, в конце концов, гораздо больше, если лать укрепиться шантажу; и сердце мое, как ни стыдно в этом признаться, считается с арифметикой.

Еще меньше действует на вашего покорного слугу третий довод: «все-таки это партия, стоящая за некую социальную правду». Каждая партия стоит за

некую — в ее глазах — социальную правду. Дело не в идеалах, а в программе действия. Я имел честь вырасти и воспитаться в традициях и русского, и еврейского освободительного движения девяностых и девятисотых годов. Мы стояли за свободу печати, слова, союзов и собраний; за всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право; за равенство граждан без различия происхождения не только национального, но и классового. Все это было в наших глазах свято; в моих осталось свято и по сей день. Власть, которая не признает этих принципов, есть власть реакционная, черная сотня, какие бы у нее там ни были идеалы. В искоренении этой черной сотни я не обязан активно участвовать по той же причине, почему не вмешиваюсь в дела Мексики: мое «отечество» не там. Но искоренению этому, когда оно произойдет, буду очень рад, и буду считать его большим шагом вперед по пути прогресса политического и социального. А пока, в ожидании этого события, могу говорить о большевиках не только без благоговения, но и просто без уважения.

Поэтому спокойно сел писать эту заметку, хотя я в советских делах не начетчик. Знаю о том, что делается в России, главным образом по рассказам людей, оттуда спасшихся; правда, таких людей я перевидал много. Чтобы серьезно трактовать вопрос, этого мало; но я решительно не вижу, почему черную сотню обязательно полагается трактовать серьезно. Мера моего интереса к этой партии вполне исчерпывается формой фельетона: так и озаглавлена сегодняшняя заметка.

От М.А. Осоргина я слышал раз меткое слово: «С 1905 года в России ничего замечательного не произошло». Это не только парадокс: в этой фразе есть существенная правда. Конечно, в России за последнее десятилетие произошло много больших и трагических событий. Но все эти события были копией таких же событий, происходивших уже много раз в

других странах. Ничего по существу нового, никакого урока миру — вроде того, чем был 1789 год, — в этих происшествиях не было, и потому в высшем, «делающем эпоху» смысле ничего «замечательного» не случилось. Но большевики уверяют, что нечто новое произошло, а именно: не только переход политической власти в другие руки, но и заложение нового социального строя. А их противники утверждают, что это неправда, что по существу никаких признаков нового социального строя нет; внесен только беспорядок в старый социальный строй, что уже не раз бывало на свете, — а «замечательного» ничего не произошло. В этом споре я — насколько могу судить по моим скудным источникам — присоединяюсь к последнему мнению: в России произошла большая конфискация имущества, но социальной революции никакой не было.

Конечно, мои источники скудны. Но все-таки не советовал бы их недооценивать. Не проходит месяца, чтобы мы здесь не встречались с людьми, только что вырвавшимися из России. По большей части это люди нормальные, средней толковости и средней наблюдательности. Я бы даже не назвал их настроение односторонним: напротив, они любят и похвалить большевиков — например, за хороший (особенно в столицах) полицейский порядок, и вообще за административную расторопность. Конечно, они все жалуются на политический гнет — но тут я их сам сейчас же останавливаю, ибо эта сторона дела всем известна, и большевики ее сами не оспаривают. Задаю же я этим собеседникам всегда одни и те же вопросы: о чертах социального строя. Есть ли хотя бы зародыши, хотя бы проблески такого производства, которое можно было бы — без риторики — назвать социалистическим?

Мне скажут: вы ломитесь в открытую дверь, ответ заранее ясен — большевики сами признали, что социализма пока нет, сами создали нэп и неонэп, сами говорят о государственном капитализме. — Но беда

та, что из ответов моих собеседников получается всегда картина, непохожая даже на «государственный» капитализм. Она гораздо больше похожа просто на капитализм, только на очень старинный — на первую, средневековую эпоху зарождения буржуазного государства, когда власть и хотела, и боялась развития частного предпринимательства: одной рукой поощряла промышленника, а другой грабила его, как только он немного обрстет шерсткой. Вот общее впечатление от скопившихся у меня в памяти свидетельских показаний. «Государственный» контроль национализированных предприятий — поскольку они взаправду нечто производят — все больше сбивает на фикцию. Действительный характер носит он только в тех отраслях, с которыми справлялась и старая власть — например, железные дороги. На фабриках и заводах «государство» — такая же комедия, как (цитирую одного из собеседников) «сюзеренитет турецкого султана в Египте при английской оккупации». Исключений мало, и с каждым годом становится меньше. Предприятия, поскольку они действительно живут, живут и движутся личным интересом предпринимателя. Новые предприятия возникают почти исключительно на капиталистической основе, под очень прозрачной маской словесной «государственности». То же самое, и еще ярче, во внутренней торговле. То же самое, с неудержимой «наглостью», начинает проступать наружу и в последней, забронированной отрасли — во внешней торговле. Есть богатые? Есть, — «только они стараются не покупать дорогой мебели, чтобы не бросаться в глаза» (типичная черта из истории средневековой буржуазии). Есть нищие? Конечно, есть. Есть ли бытовое понятие «барин» и «простонародье»? Конечно, есть. Как относится — вне политической жизни — «простонародье» к «барину»? Снизу вверх, «как при царе Горохе». И т. д.

Очень трудно допустить, чтобы все эти десятки

очевидцев проглядели главное и, наоборот, подметили то, чего нет. Я старый журналист: знаю по опыту, что десять очевидцев, если их толком выпросить, дадут гораздо более верную картину, чем триста газетных вырезок — особенно вырезок из полназборной печати, с которой считаться вообще нельзя. Но еще характернее ответов и рассказов был для меня самый облик, самый тип этих выходцев из советской России. Конечно, все это «бывшая» буржуазия — и любопытно, что она осталась буржуазией в полном смысле этого слова. Те же вкусы, те же мысли, те же привычки, те же интересы, что были и раньше. Чувствуется, конечно, что люди вырвались из страны, где опасно было сказать слово или даже «купить мебель»; но чтобы люди приехали из страны, где жизнь пропитана другой социальной атмосферой. — этого совершенно не чувствуется. Более того: я видел ясный отпечаток новой социальной среды на еврейской молодежи, прожившей 3-5 лет в Палестине; здесь, во Франции, на каждом шагу встречаешь русских беженцев, особенно из христиан, которые внутренне разбуржуазились — не в смысле убеждений, а в смысле психологии. Ибо эти люди действительно прожили несколько лет в обстановке пролетарского быта. Из России каждый день приезжают люди — кто навсегда, а кто и на время, — которые явно и несомненно до вчерашнего дня жили там в типично буржуазной бытовой обстановке. И они — особенно те, которые собираются ехать обратно — успокоительно клянутся, что этот буржуазный быт все больше консолидируется.

Еще любопытнее их дети. Я встречал молодежь 18-20 лет, значит такую, почти вся сознательная жизнь которой прошла в советской атмосфере. Но единственная существенная разница между этой молодежью и той, какая была в России до войны. — это то, что теперешние еще слабее знакомы с гимназическим курсом. Вкусы, мысли, мечты, интересы у них те же, что были, типично буржуазные; особенно, по

моим наблюдениям, у девушек — и гораздо правильнее было бы сказать о них: у барышень. Иногда эти барышни или их братья сообщают вам: «А вот кузен у нас большевик». В самом тоне сообщения чувствуется, что это редкость, нечто незаурядное: вроде как в наше время говорил нам почтенный портной, не то с гордостью, не то с недоумением: «Третий сын у меня пошел совсем в сторону — он в рисовальном училище».

Один заграничный почитатель советской власти, когда я это ему сказал, возразил мне, что «по дезертирам нельзя судить о духе армии, из которой они бежали». Он даже прибавил, что эта цитата из какой-то моей старой статьи. Возможно. Но ведь я этих беглецов и не расспрашивал о «духе», какой царит среди самих большевиков; и если они бы стали божиться, что дух этот идет на убыль, я бы сам усомнился в их компетентности. Когда приходилось на иорданском фронте допрашивать турецких дезертиров, мы их никогда не расспрашивали о «духе войск», а расспрашивали о фактах: как кормят, как обращаются? Но чаще всего не приходилось и спрашивать, ибо ответ был сам собой ясен: дезертиры были отошавшие, бросались на похлебку с жадностью, платье в лохмотьях, и у некоторых были выбиты передние зубы. Беженец приносит с собой атмосферу. В данном случае тоже.

Повторяю: это не трактат о большевизме, а фельетон о впечатлениях не особенно заинтересованного чужака. Но впечатление мое настолько ярко, что я готов стоять за него горюю. «Ничего замечательного не произошло». Даже государственного социализма на деле никакого нет. Поскольку Россия работает, она работает фактически на старых началах. Советская Россия есть такая же буржуазная страна, какой была Россия до 1917 года: страна с буржуазным характером производства торговли и быта, но под управлением олигархии — как прежде. Разница только в

том, что буржуазный характер хозяйства еще не легализован, и поэтому нажившихся купцов официально грабят (это делалось в Моравии в 16 веке, а в Марокко еще недавно, до прихода французов), а заграничная торговля разрешается только на началах монополии (это было и в Европе 400 лет тому назад). Все остальное, по-видимому, риторика.

Отмечаю эти выводы без удовольствия. Существующий социальный строй не вызывает у меня никакого энтузиазма: за сохранение его я бы пальцем о палец не ударил; а разделение людей на бар и простецов мне и совсем ненавистно. Но мне никогда не верилось, чтобы переворот во всех этих отношениях можно было осуществить насильственно, при помощи черносотенных приемов действия. Так и оказалось, и полезно будет людям заучить этот урок наизусть.

Что касается до «духа», то тут автор сих строк даже для фельетона некомпетентен. Но одно должен сказать: вот уже больше года, как чувствуется на верхах коммунистической партии некая «мобилизация православных». В прошлом году неудобным оказался г. Троцкий; в этом году — г.г. Зиновьев, Каменев, Сокольников. Все евреи. Конечно, можно «утешаться» тем, что среди гонителей г. Троцкого главную роль играли те же г.г. Каменев и Зиновьев, а теперь на скамье подсудимых сидит и православная г-жа Крупская. Но эти мелочи не меняют основного тона событий: как только большой скандал и отлучение — главным отлученным оказывается еврей. Во главе ортодоксов теперь уже явно стоят православные — г. Бухарин, г. Сталин. Очень любопытно. Многие давно предсказывали наступление момента, когда большевизм, движение типично русское, родившееся в мозгу типичного русского сектанта Ленина, начнет освобождаться от своей — в широком смысле — евсекции. Похоже на то, что момент наступил. Будем

ждать его развития, с улыбкой равнодушного любопытства.

Всего этого я бы не написал в «Рассвете» (что нам до них за дело?), если бы советская власть сама не лезла из кожи вон, чтобы «заинтересовать» даже такое нейтральное движение, как сионизм. Ссылки сионистов в России продолжают. Около года тому назад в нашем «Дневнике» высказано было мнение — довольно распространенное, — что виновниками облавы являются не сами большевики, а только их еврейская прислуга из (специальной) евсекции. Но приходится пересмотреть это утешение. Прислуга прислугой; но когда хозяевам уже сто раз жаловались на похождения челяди и все-таки поход продолжается, то, по-видимому, не в псаре только дело. Сионистскому обществу, быть может, придется поставить на очередь вопрос об отношении ко всей черной сотне, управляющей ныне Россией. Евсекция — мелочь; душат еврейскую молодежь большевики.

КРИТИКИ СИОНИЗМА

В последнее время¹ появилось несколько статей, направленных прямо или косвенно против сионизма. Некоторые из них произвели впечатление. Я попытаюсь рассмотреть следующие: «Двадцативековая трагедия» А.С. Изгоева («Образование», 1903, № 10), «Об антисиионизме» Каутского («Восход», 1903, № 27), «О сионизме» И. Бикермана («Русское Богатство», 1902, № 7) и две заметки С.Н. Южакова в №№ 9 и 11 «Русского Богатства» за 1903 г. в отделе «Политика». Было еще несколько опытов критики сионизма, вроде брошюр г. Полякова («Сионизм и евреи»), г. Куперника («Еврейское царство») и т.п., но их можно обойти молчанием, в виду их незначительности.

Было бы лучше всего разобрать вышеназванные статьи сразу: выбрать из них общие главные возражения и дать на них посильный ответ. К сожалению, такая группировка совершенно невозможна, потому что между этими критиками сионизма нет единогласия; двое из них, правда, стоят на одной и той же научной точке зрения, но и они часто противоречат друг другу в основных пунктах вопроса. Каутский пишет: «Евреи *перестали существовать как нация, немислимая без определенной территории*» (стр. 23). Г. Изгоев говорит... «И, однако, еврейство — *нация*».

¹ Написано в конце 1903 г.

Он даже прибавляет: «*такая же* нация, как французы, немцы, англичане» (стр. 56). Г. Бикерман много раз называет мысль о создании еврейского автономного убежища (где бы то ни было) утопией, ненаучной химерой (например, стр. 68); г. Южаков пишет: «Колонизация Уганды во всяком случае *не* кажется химеричною и недоступною, хотя и сопряжена с массой трудностей...» (№ 9, стр. 166). Речь идет, понятно, не о простой колонизации (ибо кто же спорит против того, что простая колонизация возможна), а о проекте автономной колонии, т.е. именно о том, что г. Бикерман считает несбыточной мечтою, — и о чем, между тем, г. Изгоев говорит так: «Сионизм, как стремление к рациональной, планомерной земледельческой колонизации евреями такой местности, которая могла бы служить для них «правоохраненным убежищем», — *реальное, осуществимое дело, заслуживающее сочувствия и поддержки*» (стр. 67). Причем любопытно, что в глазах г. Изгоева даже «сионизм как мечта о восстановлении иудейского царства в Палестине» есть хотя и утопия, но «*безвредная*» утопия, между тем как в статье г. Бикермана доказывается, что сионизм, как его ни понимай, *вреден* и никакого «сочувствия» и ни какой «поддержки» не заслуживает. «Сионизм есть явление реакционное!» — утверждает автор на странице 69...

Тот же г. Бикерман говорит: «Но мы считаем своим долгом раскрыть ложь, заключающуюся в другом словечке, пущенном в ход этим словообильным сионистом (т.е. Нордау). Это слово — *Judennoth*... — не те обычные страдания, составляющие, вероятно, неизбежный удел человеческого рода, а другие, исключительные страдания, преследующие евреев не как людей, а только как евреев и от которых они могли бы избавиться, если бы не были евреями» (стр. 57). Г. Бикерман отрицает этот *Judennoth* и настаивает, что еврей данного класса страдает столько же, сколько и коренной житель из того же класса, не больше и не меньше. Следовательно, если класс пере-

станет страдать, тем самым перестанет страдать и еврей. А г. Изгоев говорит, что даже «при полном устранении общественного строя, основанного на конкуренции и меркантилизме» — все-таки «потребуется еще годы духовной работы для искоренения остатков предрассудков», вызывающих вражду к евреям, а значит, и специально еврейское горе. Каутский идет еще дальше. По его мнению, для устранения враждебности к евреям недостаточно ни падения капиталистического строя, ни культурной борьбы с предрассудками («чувствований человека нельзя изменить путем увещаний», стр. 24); враждебность будет устранена «только тем и тогда, когда еврейские слои населения перестанут быть чужими, сольются с общей массой населения». Ясно, что если для блага еврейства недостаточно того, чего вполне достаточно для блага других народов, а нужны еще особые меры, то значит, у еврейства, по мнению Изгоева и Каутского, кроме общечеловеческих страданий, есть еще и свое специальное горе — то самое, которое отрицает г. Бикерман. В то же время г. Бикерман совсем не разделяет мнения Каутского, что евреям необходимо ассимилироваться. Он говорит: «Сохранение и развитие *еврейского народа*, сохранение и развитие *его культуры*, сохранение и развитие того, что есть в ней лучшего, — такова задача» (стр. 68). Даже больше: по мнению г. Бикермана, еврей-ассимиляторы «существуют лишь в больном воображении охранителей» (стр. 41). Не является поклонником ассимиляции и г. Изгоев, по крайней мере, если понимать ассимиляцию по Каутскому — «слияния с общей массой населения». Ведь слиться с общей массой населения данного места значит принять ее национальность. А г. Изгоев говорит: «Еврей может прикнуться духовно только ко всему человечеству, как целому, возвышающемуся над всеми национальностями. Еврей, освободившийся от талмудической культуры, по духовному существу своему всегда неизбежно будет космополитом, международником»

(стр. 66). Последнее утверждение немного рискованно, если принять во внимание, что Герцль, Нордау и огромное большинство сионистов, бесспорно освободившись от талмудической культуры, стали не космополитами, а сионистами; но не в этом дело, а в том, что и быть космополитом не значит духовно «слиться с общей массой населения» данного места, и даже совсем напротив...

Критики сионизма, так сказать, не сталкивались между собою. У них у самих — разногласия по самым основным вопросам: о том, представляет ли еврейство нацию или нет; о том, нужна или не нужна ассимиляция; о том, возможно или невозможно создание еврейского правоохраненного убежища; о том, есть ли сионизм вообще явление вредное, — и даже о том, существует ли *Judennoth* или не существует. Собственно говоря, при наличии таких противоречий можно было бы и не спорить против наших критиков, а спокойно и безучастно любоваться на то, как они друг друга побивают. Но я все-таки предпочитаю рассмотреть их доводы и представить свои возражения; и так как, очевидно, отвечать разом на такую разноголосицу немислимо, я буду говорить о каждой статье особо. Начну с Каутского.

Каутский говорит, главным образом, об антисемитизме; разбирать его взгляд на этот феномен я не буду, так как не антисемитизм является предметом этой беседы. В данном случае нас занимает путь, указываемый Каутским: ассимиляция. Об этом идеале мы и будем говорить, и тут нам не мало поможет небольшая брошюра того же автора под заглавием: «Национальность нашего времени» [СПБ. 1903]. В конце этой брошюры (стр. 41—43) Каутский высказывает довольно определенные взгляды на будущее отдельных национальностей. Они, по его мнению, вообще стремятся к полному слиянию между собою, даже к замене национальных языков одним каким-нибудь универсальным. Национальные языки — говорит он на стр. 43 — «будут все более и более огра-

ничиваться областью домашнего употребления и здесь, наконец, займут такое же положение, как какая-нибудь старинная фамильная мебель, которую ценят и тщательно сохраняют, но не придают ей никакого практического значения». Никакого практического значения: то есть, очевидно, даже в сношениях между собою люди одной и той же страны будут, по мнению Каутского, пользоваться не национальным языком, а универсальным, — ибо Каутский не может не понимать, что язык, на котором говорят между собою люди данной местности, тем самым получает большое «практическое значение». Волапюка г. Каутский не признает, об эсперанто не упоминает, а думает, что универсальным языком явится какой-нибудь из существующих. Например, английский. Два коренных неаполитанца в беседе между собою будут говорить на языке Шекспира; к итальянскому каждый из них прибегнет только тогда, когда на досуге захочется поиграть звучными словами. Так рисуется Каутскому будущее.

О будущем, конечно, трудно спорить: никто не может поручиться, что верно угадает. Но все-таки логика властна и над будущим; постараемся же рассуждать логически и посмотрим, совпадут ли наши выводы с предсказаниями Каутского. Расово-национальные¹ особенности создаются под влиянием многих факторов — в том числе, конечно, климата, почвы и флоры той страны, где данное племя впервые развилось. Каутский настолько признает это, что даже психологию евреев выводит из того факта, что Палестина — горная страна [статья в «Восходе», стр. 23], причем отмечает, что отпечатки этого горного происхождения сохраняются и в чужой земле, т.е. даже в новой почвенно-климатической среде и в новых социальных условиях. Так сильна расовая за-

¹ «В современной науке, по крайней мере, нет точного определения понятий: раса и нация, и одинаково можно сказать: литовская раса и литовская нация» (Г.В. Плеханов).

кваска, полученная от матери-природы, даже когда племя уже давно перенесено под другое небо: пока старая кровь передается по наследству без инородных примесей или с малой примесью, до тех пор племя сохраняет свою старую индивидуальность. Конечно, эта индивидуальность уже исковеркана, и с каждым поколением под давлением новых почвенно-климатических влияний она будет все более уклоняться от основного типа; но все-таки и под чужим небом вы через много поколений отличите в чистокровном потомке черты его прадедов. Тем более сохранятся эти особенности, если данное племя всегда будет жить в той самой стране, на почве которой оно развилось. Это — прямой вывод из положения, что племенные особенности создаются суммой естественных факторов.

Я совершенно не касаюсь вопроса о том, как сложились ныне существующие национальности и сколько различных расовых ингредиентов вошло в каждую из них; я беру их такими, какими я их застаю при моем появлении на свет, и задаю себе вопрос: что с ними будет? Что вероятнее: то ли, что обитатели Апеннинского полуострова и впредь из рода в род будут жить на этом полуострове, или то, что они все переберутся на другое место? И на это, по-моему, невозможен другой ответ, кроме того, что первое предположение вероятнее, так как не предвидится никакой причины, которая принудила бы жителей Италии к такому массовому переселению. В настоящее время, как известно, итальянцы часто эмигрируют, ища работы за морем, в то время, как на полуострове и в Сицилии есть огромные пустыри-латифундии, пригодные для внутренней колонизации. Но ведь эмиграция — только маленький процент населения; да и та является следствием нужды, голода и непорядка. Каутский верит, что нужда и голод будут некогда совершенно упразднены, и я скромно разделяю эту веру. Но тогда исчезнет причина для эмиграции даже маленькой доли населения. Следовательно, это

население станет на своем полуострове еще более оседлым, чем теперь. Смешанные браки если и будут наблюдаться, то лишь в узкой пограничной полосе: главная масса нации сохранит свою расовую «чистоту». И то же самое совершенно бесспорно предвидится и для России, и для Франции, и для Скандинавии: нет никаких причин, которые побуждали бы население каждой из этих стран отрываться от родной почвы — и чем дальше, тем еще меньше будет этих причин, потому что единственные ныне побуждения к эмиграции — нужда и социальная неурядица — при социалистическом строе общества предполагаются устраненными. Шведы останутся в Швеции и грузины в Грузии; первые будут по-прежнему, из рода в род, подвергаться почвенно-климатическим влияниям своей Швеции, а вторые — своей Грузии. Покорение природы человеческой техникой здесь ни при чем: техника создает чудеса, будет, пожалуй, регулировать дождь и ведро, но ведь климат Стокгольма все-таки будет всегда отличаться от климата Тифлиса, и флора второго — от флоры первого. При всяких чудесах техники Великобритания все-таки останется равниной, а Англия все-таки будет приморской страной, и, значит, из рода в род будет продолжаться непрерывное влияние неодинаковых естественных условий на оседлое население как той, так и другой области. То есть англичанин сохранит свою английскую племенную индивидуальность, а великоросс — свою. Но если каждый сохранит свою национальность, то сохранит и национальный язык; потому что язык, естественно возникший у данного племени и развившийся в данной местности, должен, несомненно, ближе и точнее соответствовать всем изгибам психики населения, чем какой бы то ни было другой язык; и, следовательно, нет никакой научной возможности предположить, что национальный язык, исторически развившийся в тесной параллельности со всей психикой населения, вдруг начнет естественно вымирать, уступая место совершенно

чужому наречию, только потому, что на этом чужом наречии легче вести дела с иностранцами. Любопытно при этом заметить еще следующее: Каутский видит явный признак близкого торжества универсального языка в том, что уже и теперь конкуренция капиталистических стран делает необходимым знание чужих языков: «Кто больше знает языков, у того больше шансов одержать верх над конкурентами, говорящими только на одном своем языке» (брошюра, стр. 42). Странно слышать такие доводы в устах Каутского. Ведь именно ему, как социал-демократу, должно быть ясно, что промышленные сношения между разными странами не всегда будут вестись на почве индивидуальной конкуренции. В том грядущем, за которое ратует Каутский и в которое скромно верю и я, международный обмен продуктов, конечно, не прекратится, но производить его будут не частные торгаши, как теперь, а особые официальные учреждения. Теперь тысячи лиц ради наживы ведут торговые сношения с заграницей: тогда эти сношения будут, очевидно, сосредоточены, для каждой области, в специальном бюро с ограниченным штатом служащих. Следовательно, только этим служащим (рассуждая строго по Каутскому) и понадобится знание языков. Количество частных лиц, имеющих деловые сношения с иностранцами, сократится до минимума, — тогда как сношения между земляками-согражданами, при тогдашнем строе общества, станут, напротив, гораздо теснее и многообразнее, чем теперь. Каким образом при таких условиях общежития начнет вымирать язык земляков, с которыми каждый человек именно тогда будет связан тысячами уз, — и воцарится взамен того языка универсальный, хотя именно тогда производственные отношения вовсе не будут требовать этого, — непостижимо...

Я, конечно, не сомневаюсь в том, что будущее приведет к самому тесному сближению между различными странами и народностями, как не сомневаюсь в

том, что когда-нибудь, и даже скоро. люди по взаимному уговору признают какой-нибудь язык международным. Но не «универсальным». Это будет язык для международных сношений, и только. Внутренняя жизнь каждой нации будет по-прежнему выражаться при посредстве ее национального языка, и язык этот будет самобытно развиваться и богатеть по мере духовного развития нации. И точно так же, как с национальным языком, будет с национальной психикой. Не смешиваясь браками с чужою расой, да еще к тому же живя постоянно в одной почвенно-климатической среде, впитывая из рода в род ее влияние, каждая народность естественно сохранит и будет самобытно развивать и углублять свою индивидуальную психику, внося национальный оттенок во все проявления своего творчества. Не к слиянию национальностей ведет естественный процесс, а к обеспечению за каждой из них полной самобытности. Исчезнет война, упразднится таможня, но никогда не сгладятся индивидуальные различия, врожденные расе и вечно питаемые различиями в почве и климате и нисколько не препятствующие ни дружному прогрессу, ни взаимному уважению наций.

Но мало того, что сохранение национальных особенностей представляется, со строго позитивной точки зрения, совершенно *неизбежным*: следует помнить и о том, что оно также в высшей степени *желательно*. Мы называем богатой и счастливой природу той страны, где растет и пальма, и кедр, и вишня, и дуб, где есть и горы, и леса, и озера: напротив, бедною и скупою считаем мы природу тех стран, где растительность однообразна и ландшафт один и тот же всюду. Никогда никто не видел идеала в однообразии: напротив, мы и инстинктивно, и сознательно всегда предпочитаем всевозможное многообразие разновидностей, гармонически, но самобытно живущих и развивающихся друг подле друга. Человек не может быть исключением из этого идеала. Если бы национальных различий не существовало, то в инте-

ресях всего человечества *il faudrait les inventer*, их надо было бы изобрести, чтобы дух человеческий мог проявляться во всяческом многообразии оттенков. Есть уже не новый, но очень подходящий в этом случае пример: представьте себе человечество в виде огромного оркестра, в котором каждая народность как бы играет на своем особом инструменте. Возьмите из оркестра всех скрипачей, отберите у них скрипки и рассадите их по чужим группам—одного к виолончелистам, другого к трубачам и так далее; и допустим даже, что каждый из них играет на новом инструменте так же хорошо, как на скрипке. И количество музыкантов осталось то же, и таланты те же — но исчез один инструмент, и оркестр в убытке. Если только мы понимаем прогресс как стремление к наибольшей полноте, сложности и богатству жизненных проявлений, а не наоборот — к наибольшей скудости и однообразию, то мы должны дорожить неприкосновенностью национальных индивидуальностей не менее, чем дорожим неприкосновенностью отдельной человеческой личности; и если никакой жертвы не жалко для исправления социальных неустойчивостей, угнетающих личность, то не жаль никакой жертвы и в борьбе за то, что может обеспечить национальную индивидуальности законную неприкосновенность.

Тут я могу непосредственно перейти к г. Южакову, у которого прорываются такие фразы: «Тот, кто желает служить делу правды и совести, делу принципов, должен тщательно оберегать себя от всякого общения с национализмом» (ноябрьская книжка, стр. 144). Впрочем, после всего сказанного нет необходимости пространно спорить против этой точки зрения: мы встретимся с нею у остальных разбираемых критиков, а собственных оригинальных доводов г. Южаков не выставляет. Г. Южаков слишком честный человек, чтобы притворяться, будто ему непонятна разница между национализмом угнетенной народности, отстаивающей свою самобытность, и на-

ционализмом народности угнетающей, навязывающей свою физиономию другим, — между самооборонной и насилием. Отвращение г. Южакова происходит, конечно, не оттого, что он отождествляет наш национализм с национализмом пруссаков в Познани. Излишне доказывать г. Южакову, что те хотят подавить чужую индивидуальность, мы же хотим отстоять свою: он сам это понимает, но твердо считает что национальная индивидуальность не нужна, — что если она исчезнет, то и жалеть не о чем, — что бороться за ее сохранение значит тратить силы на пустяки, а тратить силы на пустяки значит отнимать их у настоящего, полезного дела; и оттого г. Южаков сторонится от национализма и других приглашает сторониться. Повторяю, — после всего, что я сказал выше, незачем мне отдельно возражать против этой точки зрения. Но все-таки не хочется как-то молчать, когда читаешь такие выражения: «Идеалы чести и совести, принципы солидарности и братства, которых главным врагом является национализм, в том числе и сионизм» (стр. 144)...

Часто бывает, что человек, возненавидя разврат, переносит свою ненависть на половое влечение вообще и провозглашает, что любовь противна «идеалам чести и совести»; часто человек, наблюдавший много злоупотреблений свободой, становится противником свободы вообще и объявляет ее врагом «принципов солидарности и братства»; и когда сталкиваешься с такими людьми, становится тяжело за узость человеческую. Здесь то же самое. Г. Южаков навиделся уродливых извращений национализма и поэтому не может допустить, что «импульс» национального самосохранения действительно существует и что это очень важный, полезный и могучий двигатель. Для него это фанаберия, каприз, а упорствовать в этом капризе значит идти наперекор чести и совести. Наше стремление добиться тех же прав, какими пользуются другие народы, и не ради того, чтобы потом вести грабительские войны, а ради того, чтобы

спокойно жить по нашему племенному духовному укладу, в мире и дружном сотрудничестве с остальными народами, — это противно совести и чести. Не надо возражать на такие слова, потому что это несомненно бранные слова; и в ответ на них мы должны только еще тверже и настойчивее повторить, что сохранение национальностей, *в интересах всего человечества*, есть честная и важная задача, и никакой жертвы не жалко для ее осуществления.

Этот же идеал мы противопоставим и идеалу г. Изгоева, потому что, в сущности, основная точка зрения у г. Изгоева и у г. Южакова одна и та же, хотя первый приглашает нас отречься от всякой национальности и стать «космополитами, международниками», а второй просто без всяких объяснений рекомендует обрусеть (сознать полную «солидарность и достоинства, и интересов совести всех культурных сил человечества вообще, *России в частности и в особенности*»: фраза эта, находящаяся в ноябрьской книжке на стр. 145, немножко непонятна, но единственное, что в ней ясно, — это призыв к обрусению). Однако не подлежит сомнению, что и г. Южаков ничуть не шовинист и зовет нас к обрусению не из патриотического пыла, а из убеждения в том, что французам ли прежде онемечиться или немцам прежде офранцузиться, разница — не важна, лишь бы меньше стало хоть одной национальностью: все равно в конце концов будем космополитами без всяких племенных особенностей. На этот взгляд, общий у г. Южакова с Изгоевым, и с Каутским, выше дан уже ответ; и все сознание скромности моих сил не может мне помешать совершенно ясно видеть, что надежды почтенных публицистов на будущее исчезновение племенных разновидностей не имеют под собою, как я попытался выяснить, никакой научной почвы и никакого нравственного базиса, а напротив, с поразительной наглядностью противоречат и данным этнологии, и ходу исторического процесса, и идеальным интересам человечества.

Но в статье г. Изгоева, кроме космополитического призыва, есть и другие частности, которые нельзя оставить без ответа. Одобрив сионизм территориалистический, извиняя, в виду «безвредности», сионизм палестинский, он безповоротно осуждает культурный сионизм. «Сионизм, как романтическая мечта о воскресении древнееврейской культуры — реакционная и вредная утопия». Прежде всего, тут есть неточность: с нашей стороны имеется в виду не «древнееврейская культура», а просто еврейская, ибо мы верим, что в духовном творчестве евреев, от пророков до наших дней, проявлялись одни и те же основные идеалы, конечно, изменяя форму и точки приложения сообразно потребностям места и времени; и, следовательно, мы желаем не «воскресения древнееврейской культуры», а широкого развития культуры новоеврейской, находящейся в тесной преемственной связи со старой, древней и древнейшей. Лечить захворавшего взрослого человека вовсе не значит «воскрешать» того младенца, которым этот человек был в дни своего детства. Думаю, что против исправления этой неточности ничего не будет иметь и сам г. Изгоев, и его строгое отношение к еврейской культуре вызывается не тем, что она будто бы «древняя», а тем, что в самой этой культуре, как таковой, г. Изгоев не находит никаких положительных ценностей. Есть все основания предполагать, что г. Изгоев вполне в этом отношении разделяет точку зрения Каутского, выразившуюся в словах: «Глубокие и смелые мыслители из евреев постоянно воспринимали мировоззрение своего времени. Последнее бывало возможно только тогда, когда они окончательно порывали с традициями еврейства и становились на почве общеевропейского культурного развития» (статья в «Восходе», стр. 25). Если бы г. Изгоев не считал традиций еврейства также несовместимыми с передовым мировоззрением, он не назвал бы идею «воскресения» еврейской культуры реакционной и вредной утопией. Но что же именно в таком случае

понимают г.г. Изгоев и Каутский под еврейскими традициями и культурой? Каутский об этом не говорит, зато у г. Изгоева есть хотя косвенный, но вполне определенный ответ на этот вопрос. «Ассимиляция, — говорит он на стр. 65, — состоит из двух актов: одного отрицательного отказа от обособляющих черт, и другого положительного — принятия того, с чем ассимилируешься. Что касается первого, отрицательного акта, то несомненно, что весь ход истории сурово и непреклонно уничтожает еврейскую «обособленность»... Евреи, втянутые в водоворот современной жизни, теряют свою специфическую одежду, внешний облик (??), мало-помалу отступают от законов о «ритуальной чистоте», отказываются вовсе от них, отказываются даже от субботы»... И вот — говорится на следующей странице — такой «еврей, освободившийся от талмудической культуры, по духовному существу своему всегда неизбежно будет космополитом, международником», то есть уже духовно не евреем. Иначе говоря, весь духовный багаж еврея, как такового, сводится к лапсердаку, тrefфу и субботе; кто носит пиджак, ест ветчину и пишет в день субботний, в том уже не осталось духовно ничего еврейского; следовательно, вот в чем заключается еврейская культура, еврейские традиции: сумма внешних талмудических обрядностей, и больше ничего. После этого несколько не странно, что «воскресение» такой культуры представляется делом реакционным и вредным.

При всем уважении к почтенному одесскому публицисту, я должен сказать, что во всем этом явно сквозит очень недостаточное знакомство с вопросом. Только при этом условии можно было упустить из виду тот наглядный факт, на который я уже указывал, что сплошь и рядом еврей-интеллигент, заменивший ермолку цилиндром, фаршированную шуку — икрой и даже субботний отдых, по необходимости, воскресным, все-таки признает себя не космополитом, а евреем, и из этих именно интеллигентов, а не

из ортодоксов, и состоит главное по качеству ядро еврейского национализма. Достаточно было бы даже из вторых рук ознакомиться хотя бы с личностью и учением Ахад-Гаама, чтобы увидеть воочию, действительно ли еврей, за вычетом талмудической обрядности и даже религиозной веры, перестает быть и считать себя евреем. Прямо неловко перед читателями серьезно доказывать, что в еврействе есть кое-что и кроме устава о кошере; но чья же вина, что приходится настаивать и на таких азбучных истинах. Мы не можем не сказать г.г. Изгоеву и Каутскому: соберите прежде подробные справки о том, что такое еврейская культура и традиции. Я уже и не говорю о том, что писали по этому вопросу наши соплеменники, как Лацарус, как покойный Дармстетер, или благорасположенные к нам инородцы, как Ренан или Генри Джордж; я укажу, контраста ради, на книгу, выпущенную недавно писателем, который, хотя и соблюдая известную корректность тона, ничуть не скрывает своей антипатии к еврейству и его идеалам. Это «*Esprit juif*» Мориса Мюрэ, появившийся также и на русском языке, в неудачном переводе и под неудачным заглавием «Еврейский ум» (СПБ. 1903). Автор отмечает некоторые основные мотивы в учении пророков — и старается доказать, что эти мотивы, через много столетий, проявились и в писаниях Спинозы, Гейне, Брандеса, Нордау, и в учении Маркса, и в деятельности Дизраэли-Биконсфильда. А мотивы эти, по мнению Мюрэ, следующие: мятежная ненависть ко всякому догмату, заставляющая евреев подвергать разрушительной критике все, освященное традицией; мечта о всемирном братстве («космополитический идеал пророков», по выражению Мюрэ), мечта, во имя которой евреи являются принципиальными противниками войны, и т.п.; наконец, стремление установить царство Божие на земле, в противоположность «арийскому» идеалу царства Божия в загробном мире — и, как следствие этого стремления, склонность к социальным преобразованиям. Все эти

мотивы глубоко несимпатичны автору, и он с огорчением констатирует, что они приобрели теперь широкую популярность и в арийских массах. Я, конечно, далек от того, чтобы возводить г. Мюрэ в авторитет; но нельзя не отметить, как и друзья, и враги наши всегда констатируют в нашем почти сорокавековом духовном творчестве постоянное присутствие одних и тех же основных идеалов, проникнутых принципами братства и социальной справедливости. Надо не уметь читать или не желать прочесть, чтобы не узнать этой правды; надо закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы в самой жизни на каждом шагу не замечать слишком ясных подтверждений этой правды. И это все игнорируется, а «культуру» нашу видят исключительно в разделении посуды на мясную и молочную. Седьмичный и юбилейный годы, принцип субботнего отдыха, социальная проповедь Аммоса, мечты Исаяи о мире всех народов, наконец, самый культ книги, благодаря которому до недавнего времени наши мужчины в Литве были поголовно грамотны по-еврейски, когда и в Западной Европе массы еще не умели читать ни по-какому, — таковы, казалось бы, наши «традиции». И если нам даже скажут, что не одни евреи, но передовые элементы всех народов теперь ратуют за участь бедных и за распространение знания, то мы ответим: следовательно, эти исконные традиции еврейского племени во всяком случае не зловредны и не враждебны прогрессу? Но теперь нам заявляют, что прежде, чем воспринять передовое мировоззрение, мы должны порвать с еврейскими традициями, потому что еврейские традиции выражаются в обязательном ношении нагрудника с кисточками...

Только не изучив, не продумав, не углубившись, и можно делать такие заявления. И тут я отмечу вообще одно характерное явление. Наши критики, особенно г. Каутский и г. Изгоев, несомненно, не признают феномена без причины. Столкнувшись с каким-нибудь историческим фактом, они не успоко-

ятся, пока не откроют тех условий, которые вызвали его и даже необходимо должны были вызвать. Если притом факт этот не единичный, а повторный или, тем более, непрерывно-длительный, г-да Изгоев и Каутский никогда не усомнятся, что причина, обусловившая его, есть важная и могущественная причина, — и признают неучем всякого, кто допустит, что подобный исторический факт возник просто «так», без особенной надобности, а мог бы при тех же условиях и не возникнуть. Но как только дело коснется еврейского народа, картина меняется. Перед глазами такой яркий феномен, как почти двадцативековая борьба небольшого безземельного племени за свою национальную обособленность, борьба, в которой все выгоды, какие только можно придумать, были, бесспорно, всецело на стороне отступничества — и, тем не менее, отступничество не состоялось. Это — поражающе-длительный исторический факт, и казалось бы, что именно г.г. Изгоев и Каутский, как исторические материалисты, должны были бы тут сказать себе: очевидно, тут действует какой-то могущественный фактор группового самосохранения, и с этим фактором нельзя не считаться. — Вместо того наши критики здесь, очевидно, теряют свой обычный компас, и не то вовсе игнорируют феномен, *который мыслимо игнорировать*, не то прямо относятся к нему так, как будто эта двухтысячелетняя мученическая самооборона не имела под собой никакого солидного императива и была чуть ли не плодом недоразумения, человеческой глупости, а теперь люди поумнели и должны увидеть, что не из-за чего бороться... Г. Каутский и г. Изгоев не могут не понимать, что такая точка зрения не только не напоминает о той строгой научности, которая обыкновенно отличает их школу, но просто лежит ниже уровня всякого научного мышления.

Это очень характерно. Дело в том, что вопрос о национальностях еще не разработан научно, особенно с точки зрения исторического материализма. Я не

утверждаю, но не удивлюсь, если окажется, что с этой точки зрения — без крупных поправок (элементы которых, впрочем, уже имеются у Энгельса) он не может быть разработан. Во всяком случае, писатели, безошибочно орудующие в области, которая уже исследована и объяснена основателем их школы, совершенно теряются перед вопросами, которые основатель обошел молчанием. И если самостоятельная научная разработка этих вопросов не под силу таким солидным ученым, как Каутский, и таким серьезным публицистам, как г. Изгоев, то еще менее под силу оказалась она г. Бикерману, который, конечно, не может быть признан ни солидным ученым, ни серьезным публицистом. К г. Бикерману я и перейду.

Г. Бикерман выдвигает против сионизма следующие возражения:

История доказывает, что государство не может быть создано искусственным образом.

Сионизм зовет еврейские массы на путь наибольшего сопротивления, тогда как известно, что массы всегда стихийно движутся только по пути наименьшего сопротивления.

Сионизм есть движение чисто отрицательное, вызванное только антисемитизмом.

Сионизм есть движение реакционное и вредное.

Осуществление сионизма погубило бы еврейство как таковое.

Разберемся отдельно в каждом из этих возражений.

«Всемирная история, — говорит г. Бикерман на стр. 29, — не знает¹ случая, когда бы какая-либо группа людей — род, племя, народ, орда — вздумала

¹ А негритянская республика Либерия, созданная американскими филантропами, ныне насчитывающая несколько миллионов свободных черных граждан (эмигрировавших из Сев. Америки) и официально державами признанная за самостоятельное государство? См. Паперин «Либерия» («Евр. Жизнь», сентябрь 1904 г.).

бы в одно прекрасное утро создать государство, а вздумав, создала бы его. И в древние, и в новые времена государства являлись *результатом* деятельности человеческих масс, но никогда не служили *целью* этой деятельности». И в подтверждение г. Бикерман приводит эмиграцию «отцов-странников» в Новый свет, из которой потом возникли Соединенные Штаты, и великое переселение народов: ни «отцы-странники», ни варвары не думали, по мнению г. Бикермана, о создании новых государств, а просто шли в поисках удовлетворения своим насущным потребностям по пути наименьшего сопротивления, если их поселения потом развились в государства, это произошло само собою, а не по сознательно предначертанному плану...

Проще всего было бы ответить на это г. Бикерману, что прошлое не всегда может служить критерием для будущего. Можно было бы указать ему, например, на то, что в прошлом не только большие государства, но и отдельные города являлись *результатом* человеческой деятельности, а не *целью*. Движимые своими потребностями по пути наименьшего сопротивления, люди оседали в данном месте, строили себе землянки или шалаши, и через несколько столетий вырастал город. На этом основании двести лет тому назад г. Бикерман легко мог бы выступить с уверением, что «история не знает случая, когда бы человек вздумал в одно прекрасное утро создать город, и вздумав, создал бы его». Тем не менее Петр Великий вздумал создать посреди болота город и создал его; а в наше время, как известно, в Северной Америке такие «искусственные» города возникают сплошь и рядом, по произволу промышленных компаний и даже отдельных богачей. И далее можно было бы указать г. Бикерману что например, и союзы или сообщества между отдельными гражданами являлись некогда результатом, а не целью человеческой деятельности. Любая популярная книжка по социологии напомнит г. Бикерману о том, как бессоз-

нательно побуждаемые общностью интересов отдельные индивиды инстинктивно оказывали друг другу поддержку против тех граждан, интересы которых были враждебны их интересам, и из этой естественной взаимопомощи мало-помалу, без всякого уговору, развились прототипы нынешних трестов, синдикатов, профессиональных и даже партийных союзов. А теперь эти союзы возникают так: «несколько человек, вздумав в одно прекрасное утро» создать общество хотя бы N-ских врачей, созывают «учредительное собрание», вырабатывают устав, посылают его на утверждение, и затем, если в N-ске достаточно врачей, общество будет процветать, несмотря на то, что оно создано искусственно и явилось не результатом, а сознательной целью. И далее можно было бы обратить внимание г. Бикермана вообще на то, что во всех областях прежние «результаты» мало-помалу становятся «целями». На то человечество и умнеет, чтобы пользоваться прежними опытами. Первая плотина возникла, без сомнения, случайно: обвал загородил поток — и вода разлилась; человек заметил это и на следующий раз уже сам нарочно запрудил реку. По преданию, изобретение пороха явилось невольным «результатом» того, что монах Бертольд Шварц невинно толкнул в ступе серу, селитру и уголь; а теперь изобретатели годами работают с сознательной «целью» найти X-лучи или создать граммофон, и это им удается. Нельзя же требовать у людей, чтобы они ничего не замечали и ничему не научались. Пусть первые массовые эмигранты даже не подозревали, что из их переселения получится новое самостоятельное государство, ведь мы-то уже знаем, что у первых эмигрантов получилось государство, и если теперь и мы хотим эмигрировать, то не можем же мы не рассчитывать или хоть не надеяться, что и наше переселение приведет к тому же «результату»; и неужели только потому, что мы, наученные чужим опытом, ожидаем этого «результата» и активно готовимся к нему, нас должна постигнуть неудача? В этом нет логики.

Но, собственно говоря, все эти доводы понадобились бы только тогда, если бы сама по себе философия истории г. Бикермана выдерживала критику. — если бы, действительно, существовала *принципиальная* разница между сионизмом и другими, уже бывшими массовыми переселениями, приведшими к возникновению новых государств. В сионизме заключаются два основных принципа: во-первых, массовое выселение на одну и ту же территорию, во-вторых, автономия, т.е. гарантия самоуправления. Эти же два принципа неизменно присутствовали и до сих пор во всех исторических массовых переселениях, из которых потом возникли государства. «Отцы-странники», переселяясь в 1620 году в Северную Америку, не на то, конечно, шли туда, чтобы подпасть там под власть дикарей-туземцев. Они имели в виду очень основательную гарантию самоуправления — свои ружья и ножи. То же самое можно сказать и о великом переселении народов: подвигаясь в Европу, гунны меньше всего имели в виду стать там чужими подданными, а, напротив, полагались на свои мечи, как на полную гарантию автономии. Ни одно массовое переселение в те времена не совершалось и не могло совершиться без этой естественно-предполагаемой гарантии самоуправления. Сионизм, выставляя тот же принцип, не вносит ничего нового. Он только заменяет старинную *кулачную* форму гарантии формой *договорной*, и это строго соответствует характеру нашего времени. Все вообще кулачные формы гарантии понемногу вымирают и заменяются договорами. Дуэль, т.е. кулачная гарантия неприкосновенности индивида, и война, то есть кулачная гарантия неприкосновенности агрегата, постепенно уступают свое значение договорному учреждению третейского суда. Гунны, переселяясь в Европу, гарантировали себе автономию, и мы, переселяясь в Палестину, должны ее гарантировать; но их гарантия, сообразно духу того времени, заключалась в кулачном праве, а наша, сообразно духу нашего времени, должна выразиться в договорной форме чарте-

ра. Это так же естественно и так же мало изменяет сущность дела, как то, например, что гунны переселились на конях или в кибитках, а мы поедem на винтовом пароходе.

Столь же основательно и другое историко-философское соображение г. Бикермана — что «сионизм предполагает движение в сторону наибольшего сопротивления» (стр. 35). «Люди... везде и всегда действовали под давлением своих повседневных (?) потребностей и нужд, и... их действия, как действия всякой силы в природе, направлялись в сторону наименьшего сопротивления» (стр. 29). И, говоря так, г. Бикерман утверждает, что путь наименьшего сопротивления в данном случае есть борьба за свои права здесь, на месте прописки, ибо гораздо легче и проще добиться благополучия там, где уже обжился, чем ехать ради этого за море, на Бог весть какие труды. И тут же рядом г. Бикерман так объясняет причину эмиграции «отцов-странников»: «Пуритане искали свободы совести и спокойствия. То и другое можно было в то время найти лишь за океаном, и они переплыли океан» (стр. 29). Странно: ведь по г. Бикерману им легче и проще было бы остаться на старых местах и бороться за свои права, чем ехать за море к краснокожим, — и, собственно говоря, г. Бикерман должен признать их образ действий за явное уклонение от пути наименьшего сопротивления. Еще строже должен отнестись г. Бикерман к факту двухтысячелетнего сохранения еврейской народности... Евреев били, гнали и подвергали неумеренным поборам за то, что они были евреи; ясно, что их «повседневные потребности и нужды» систематически страдали из-за их принадлежности к еврейству. Где же был путь наименьшего сопротивления для выхода из этого положения? С точки зрения г. Бикермана нельзя не ответить: в отступничестве. Теперь, правда, и выкреста считают евреем: но, например, в Испании выкрестов поощряли и охотно женили на испанках. Это было проще и легче всего: перестать быть еврея-

ми, и «повседневные потребности и нужды» были бы удовлетворены. Вместо того мы видим, что евреи всем жертвуют и не сдаются. Г. Бикерман не может, если он последователен, не констатировать и здесь упорного и систематического уклонения от пути наименьшего сопротивления. Иначе — как он объяснит себе эту загадку? — Что касается нас, то мы объясняем ее себе очень просто. Массы направляются к удовлетворению своих властных потребностей всегда по пути наименьшего сопротивления, и со-влечь их с этого пути немислимо, — но, очевидно, не г. Бикерману дано знать, какие потребности для масс суть наиболее властные и какой путь является, для них путем наименьшего сопротивления. Если евреи столько веков страдают за свое еврейство, значит, в них есть какая-то властная потребность охранять свое еврейство, и отказ от этой потребности был бы для них неизмеримо труднее, чем отказ от свободного удовлетворения своих «повседневных нужд». И если пуритане, очутившись в положении, подобном положению евреев, сразу почувствовали, что в данном случае путем наименьшего сопротивления для них является не борьба на месте, а массовая эмиграция, — то евреям, которые больше пуритан пострадали и больше успели извериться в возможность когда-нибудь жить по-человечески в голусе, и по-давно путь исхода не может не представиться, как субъективно, так и объективно, путем наименьшего сопротивления.

Уже одно это доказывает, насколько неосновательно третье возражение г. Бикермана, — будто бы сионизм есть движение чисто отрицательное, вы-званное только антисемитизмом, и «сионистская идея явилась на свет Божий или как результат оскорбленного самолюбия, или как результат панического страха, охватившего людей в то время, как над их головой разразился громовой удар» (стр. 62). Много раз гремел над евреями гром, и если бы им

нужно было *только* избавиться от грома, то они сто раз успели бы укрыться от него в сторону бикермановского «наименьшего» сопротивления, т.е. путем отречения от того, за что их громили. Когда человека изо дня в день бьют за то, что он, скажем, носит бороду, то ему проще всего — сбрить эту бороду; и если он так поступит, это будет, несомненно, чисто отрицательный шаг, вызванный исключительно гонениями; но если человек, несмотря ни на какие муки, все-таки не жертвует бородой и в конце концов уходит прочь от насиженного угла, то не ясно ли, что ему важнее всего сберечь бороду, а не бежать от побоев, ибо для спасения от побоев есть более простое средство — срезать бороду. Если бы все дело для нас было в антисемитизме, мы звали бы к тому, что проще всего — к отречению от «семитизма». Это и было бы чистое бегство, совершенно отрицательное движение, порожденное только гонениями. Но если мы, вместо отречения, призываем друг друга к такому делу, которое всем кажется очень трудным, а кое-кому даже неисполнимым, — то не ясно ли, что мы не столько спасаемся от гонений, сколько спасаем «бороду», охраняем и сберегаем нечто *положительное*; что мы не просто бежим, куда глаза глядят, только потому, что нас хотят бить, но несем с собой что-то нам дорогое, какой-то цветок, который хотим снова посадить в родную землю, выхолить и вырастить. Исполнимо ли это желание или нет, — но не видеть его, не понимать, что именно этот положительный императив есть основной импульс сионизма, и сводит всю теорию последнего к боязни грома, когда для спасения от грома простейшим средством был бы не сионизм, а отступничество, — все это возможно только при условии безнадежной поверхности.

«Между сионизмом и антисемитизмом существует родство по духу, — говорит г. Бикерман на стр. 41—42, — в основных своих посылках сионизм есть возведенный в принцип антисемитизм... Макс Нор-

дау говорит, что антисемитизм будет существовать в самом отдаленном будущем, ибо он находится в тесной связи с основными свойствами человеческого мышления и чувствования»... Любопытно, между прочим, что Каутский в этом случае согласен с Нордау, ибо утверждает, что антисемитизм исчезнет только тогда, когда исчезнут «семиты», и Каутский, таким образом, тоже оказывается, по г. Бикерману, в духовном родстве с Дрюмоном. Но это в скобках. Суть же в том, что г. Бикерман очень ошибается, если думает, что ссылка на антисемитизм есть *основная посылка* сионизма. Ничего подобного. Наше движение еще очень молодо и ждет еще своего научного теоретика, — но мы все прекрасно понимаем, что в схеме теоретического обоснования сионизма и антисемитизм и *Judennoth* будут играть только самую скромную роль. Можно предвидеть, что схема эта будет приблизительно такова: каждая расово-национальная группа естественно стремится к полной самобытности всех форм и приемов своей хозяйственной жизнедеятельности; поэтому перспектива ассимиляции вызывает в этой группе отпор, борьбу за национальное самосохранение; этот импульс национального самосохранения, после потери *естественного* изолирующего средства — национальной территории, заставил еврейство *искусственно* оградить себя от слияния с другими народами стеной религиозного догмата; теперь, когда новые социально-экономические условия разрушили гетто и ворвавшаяся в него культура бесповоротно осудила догмат на гибель, так что *искусственная* стена, ограждавшая еврейство от растворения в чужой среде, пала, — импульс национального самосохранения побуждает еврейство стремиться к восстановлению *естественного* изолирующего средства, т.е. автономной рациональной территории, чтобы обеспечить навсегда еврейской национальной индивидуальности полную всестороннюю свободу самобытной социально-хозяйственной жизнедеятельности. Антисемитизм в этой схеме явится

только второстепенной подробностью¹. Маркс Нордау никогда не был и не собирался быть теоретиком сионизма и даже не посвятил этому движению пока ни одной крупной работы. Нордау — агитатор сионизма, а как довод для сионистической агитации антисемитизм, особенно «возведенный в принцип», конечно, весьма удобен и полезен. Нет сомнения, что антисемитизм сильно содействует пробуждению национального чувства; но «пробудить» не значит «создать». Роль антисемитизма, как я уже заметил однажды печатно, это — роль блохи, от укушения которой спящий может проснуться, но если он, проснувшись, принимается за творческое дело, то не ради нечистого насекомого, а ради того инстинкта жизни и работы, который в нем от роду заложен...

Не стану отвечать особо на четвертый довод г. Бикермана — о реакционном характере сионизма, так как об этом уже говорил выше; но нельзя не отметить, что тут автор пускается прямо в какую-то очень странную игру словами и понятиями. Сионизм есть *охранение*, говорит он, и потому сионистическая пропаганда «неизбежно реакционна» (стр. 40, 69). Г. Бикерман, кажется, заведывал одной общественной библиотекой. Он ее, несомненно, «охраняет» и не позволит взять из нее без отдачи ни одного тома. Следует ли из этого, что его деятельность реакционна? Нисколько. Хорошую вещь и надо «охранять», особенно когда ей грозит опасность. Лучшие люди России «охраняли» долгое время земство и суд присяжных. Г. Бикерман просто хотел поспекулировать словом «охранение», пользуясь тем, что оно в русской печати получило особую прискорбную известность. Еще менее красива другая попытка такой же спекуляции, которую мы находим на стр. 65: «Ни-

¹ Более подробно эта схема развита в брошюре автора: «Эволюция голуса», а также в предисловии к брошюре Шпрингера — *Synopticus*'а «Государство и нация». (Издатели).

чего нет дешевле, как стать сионистом. Для этого достаточно сказать себе: я — сионист — и заплатить 40 копеек. Никакой борьбы выдержать не приходится, *никаким (??) преследованиям тебя не подвергают.* Явный признак, что сионизм — сам по себе, а жизнь — сама по себе». Что это такое? Г. Бикерман не мог не знать, что за границей «нет ничего дешевле», как записаться в какую угодно партию: «достаточно сказать себе» и т.д., и за это тоже не подвергают никаким преследованиям. Явный признак, что за границей все партии сами по себе, а жизнь — сама по себе?.. Что это такое, легкость мысли или недобросовестность?

И тут бросаются в глаза некоторые странности. «Народ, тратя свои силы на создание нового государства, неминуемо отстал бы в культурном развитии. Тут мы уже имеем дело... с истиной, подтверждаемой всей историей человечества» (стр. 53). «Нам предлагают... уйти, чтобы начать на новом месте счет мучающихся поколений сначала, чтобы лишь столетия спустя дойти до того положения, в котором мы находимся теперь!» (стр. 46). Как же так? Все грамотные люди знают, что именно те народы, которые создали новые государства, например североамериканские и австралийские переселенцы, колоссально шагнули вперед за самое короткое время и далеко обогнали «в культурном отношении» старую Европу. Опять-таки в любой книжке по социологии г. Бикерман нашел бы и подробности этого феномена, и его объяснение. Допускаю охотно, что г. Бикерман действительно знаком со «всей историей человека», раз он на нее «всю» ссылается, то в таком случае подобные выводы из этой «всей» истории еще раз неопровержимо говорят о самой легкомысленной поверхности. И тут нельзя кстати не вспомнить тех страниц (57-59), где г. Бикерман отрицает *Judennoth*. Я, к счастью, не обязан возражать на эту часть статьи, потому что *Judennoth*, на мой взгляд, не составляет краеугольного момента в обосновании сиониз-

ма. Но когда прочтешь это удивительное место, где с цифрами в руках доказывается, что евреи вовсе не угнетенный народ, а, напротив, весьма благоденствующий народ, то невольно хочется повторить вопрос: да что же это такое, наконец, — просто словеса или нечто похуже?

К той же категории отношу и последний довод г. Бикермана: что осуществление сионизма погубило бы еврейство. Вот образчик этого «пилпула»: «Ведет ли сионизм к сохранению еврейской расы и еврейской культуры? И на этот вопрос я отвечаю: из всех путей, ведущих к исчезновению того и другого, путь в Сион наиболее короткий. И это мое утверждение подкрепляется каждой страницей всемирной истории... Разве не показывает вся история, что именно в том огромном котле, в котором выварились государства, исчезали племена и сливались в одну массу различные расы... Где же теоретики сионизма нам доказали, что на почве Палестины, куда они нас зовут, процесс государственного строительства не будет сопровождаться тем же смешением племен?» (стр. 51—52). Опять словеса, опять верхоглядство. Когда на одной и той же территории сошлись для «государственного строительства» и англы, и саксы, тогда получилась, действительно, смешанная раса англо-саксов. Но осуществление сионизма должно по схеме сионистов заключаться не в том, что «государственным строительством» в Палестине займутся евреи плюс еще какие-то другие народности, а в том, что *евреям* удастся добиться уступки Палестины *евреям* же для создания там *еврейского* государства. Никто не придет нам помогать (придут, пожалуй, мешать, — но уже это особый вопрос), и не с кем будет нам смешиваться. Разве с туземными арабами? Смею уверить г. Бикермана, что эта горсть арабов обнаружит тогда ровно столько же охоты к слиянию с нами, сколько мы теперь к слиянию с господствующими нациями голуса...

Пробежав этот обзор нескольких опытов прямой

или косвенной критики нашего движения, читатель, конечно, заметил, что из всех оппонентов один только г. Бикерман нападает на нас с таким шумным апломбом полномочного ревизора от науки — причем даже минутами совершенно невольно вспоминается соответствующая комедия Гоголя. Это послужит мне оправданием, если против моей воли в последней части обзора у меня вырвались, быть может, несколько резкие выражения. Они, во всяком случае, не могут быть отнесены к остальным критикам: последние, во-первых, не чета г. Бикерману, — а во-вторых, гораздо скромнее. Сознывая, очевидно, что настоящей научной разработки вопросов о национальности пока еще нет, они без апломба и треска излагают свою отсебятину, не браня при этом инакомыслящих неучами и не призывая в свидетели «всю» историю. В них не видно желаний взвалить непременно всю ответственность за их собственные домыслы на плечи «науки». Это почтительное отношение к последней делает им, сравнительно, честь. Но не делает им, к сожалению, чести их несдержанное и невдумчивое отношение к еврейскому национальному движению. Мы не можем требовать от них сочувствия; но презрительно третировать столь крупное течение, критиковать его запросто, между делом, «домашними средствами», упразднить его одним кляксом пера — это, прежде всего, не доказывает глупого и серьезного взгляда на вопрос. Где налицо имеются, как-никак, десятки тысяч людей с определенным практическим идеалом, там можно соглашаться или нет, содействовать или бороться, но только поверхностный ум может отделаться пожиманием плеч или воплями о реакционности движения, и всего менее уместно в этих случаях слово «утопия» — жалкое слово из словаря трусов, повторять которое неприлично серьезному человеку. Многие, что полвека назад еще называли утопией, теперь завоевывает мир. Господа Каутский, Изгоев и Южаков не могут не знать этого. Именно потому, что я совсем

не считаю их людьми поверхностными, я настаиваю, что этим своим легким отношением к сионизму они, прежде всего, высказывают недостаточное уважение к самим себе.

И поэтому надо в заключение сказать, что если наши критики впоследствии глубже и вдумчивее отнесутся к нашему движению, они в гораздо большей степени окажут услугу самим себе, нежели нам. Что касается нас, то всякое выражение сочувствия со стороны — нам весьма приятно и дорого; но не следует думать, будто сионизм бредет по своему пути с протянутой рукой, выпрашивая у посторонних подачку сочувствия. Мы, прежде всего, помним, что не симпатии посторонних людей спасут нас, а наша самостоятельность. Ту поддержку общественного мнения, которая необходима для осуществления нашей задачи, мы не выклянчим, а завоюем этой самостоятельностью. Поэтому доброе слово постороннего не может привести нас в восторг, и неодобрение постороннего не способно смутить нашу решимость. Мы идем по нашей дороге потому, что непреодолимый внутренний императив так велит, и сила этого императива ручается нам за его жизненность и ценность. И глубоко в то же время сознавая себя честными друзьями братства и прогресса, мы не должны оглядываться ни направо, ни налево и не станем дожидаться похвалы ни от чужих, ни от тех, которые хотят быть чужими. Родина Гарибальди, возрождаясь, отказалась от посторонней помощи; она провозгласила принцип «L'Italia tarà de sè» — Италия сама себе поможет — и сим победила. Этот завет должны помнить и мы. Обучая наших детей говорить на языке Торы, мы пользуемся при обучении только языком Торы: в этом заключается образцовый метод. Возрождение нашего народа совершится по тому же способу, как и возрождение нашего языка: иврит бе-иврит...

О ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЕ

Вопреки доброму правилу — начинать статью с существа — приходится начать эту с предисловия, притом еще личного. Автора этих строк считают не-другом арабов, сторонником вытеснения и т.д. Это неправда. Эмоциональное мое отношение к арабам — то же, что и ко всем другим народам: учтливое равнодушие. Политическое отношение — определяется двумя принципами. Во-первых, вытеснение арабов из Палестины, в какой бы то ни было форме, считаю абсолютно невозможным; в Палестине всегда будут два народа. Во-вторых, горжусь принадлежностью к той группе, которая формулировала Гельсингфорскую программу. Мы ее формулировали не для евреев только, а для всех народов; и основа ее — равноправие наций. Как и все, я готов присягнуть за нас и за потомков наших, что мы никогда этого равноправия не нарушим и на вытеснение или притеснение не покусимся. *Credo*, как видит читатель, вполне мирное. Но совершенно в другой плоскости лежит вопрос о том, можно ли добиться осуществления мирных замыслов мирными путями. Ибо это зависит не от нашего отношения к арабам, а исключительно от отношения арабов к сионизму.

После этого предисловия перейдем к существу.

I

О добровольном примирении между палестинскими арабами и нами не может быть никакой речи, ни теперь, ни в пределах обозримого будущего. Высказываю это убеждение в такой резкой форме не потому, что мне нравится огорчать добрых людей, а

просто потому, что они не огорчатся: все эти добрые люди, за исключением слепорожденных, уже давно сами поняли полную невозможность получить добровольное согласие арабов Палестины на превращение этой самой Палестины из арабской страны в страну с еврейским большинством.

Каждый читатель имеет некоторое общее понятие об истории колонизации других стран. Предлагаю ему вспомнить все известные примеры; и пусть, перебрав весь список, он попытается найти хотя бы один случай, когда колонизация происходила с согласия туземцев. Такого случая не было. Туземцы — все равно, культурные или некультурные, — всегда упрямо боролись против колонизаторов — все равно, культурных или некультурных. При этом образ действий колонизатора нисколько не влиял на отношение к нему туземца. Сподвижники Кортеса и Писарро или, допустим, наши предки во дни Иисуса Навина вели себя, как разбойники; но английские и шотландские «отцы-странники», первые настоящие пионеры Северной Америки, были на подбор люди высокого нравственного пафоса, которые не то что краснокожего, но и мухи не хотели обидеть и искренне верили, что в прерии достаточно места и для белых, и для красных. Но туземец с одинаковой свирепостью воевал и против злых, и против добрых колонизаторов. Никакой роли при этом не играл и вопрос о том, много ли в той стране свободной земли. На территории Соединенных Штатов в 1921 году считалось 340 тысяч краснокожих; но и в лучшие времена их было не больше 3/4 миллиона на всем колоссальном пространстве от Лабрадора до Рио Гранде. Не было тогда на свете человека с такой сильной фантазией, чтобы всерьез предвидеть опасность настоящего «вытеснения» туземцев пришельцами. Туземцы боролись не потому, что сознательно и определенно боялись вытеснения, а просто потому, что никакая колонизация нигде никогда и ни для какого туземца не может быть приемлема.

Каждый туземный народ, все равно, цивилизованный или дикий, смотрит на свою страну как на свой национальный дом, где он хочет быть и навсегда остаться полным хозяином; не только новых хозяев, но и новых соучастников или партнеров по хозяйству он добровольно не допустит.

Это относится и к арабам. Примирители в нашей среде пытаются уговорить нас, будто арабы — или глупцы, которых можно обмануть «смягченной» формулировкой наших истинных целей, или продажное племя, которое уступит нам свое первенство в Палестине за культурные и экономические выгоды. Отказываюсь наотрез принять этот взгляд на палестинских арабов. Культурно они отстали от нас на 500 лет, в духовном отношении они не обладают ни нашей выносливостью, ни нашей силой воли; но этим вся внутренняя разница и исчерпывается. Они такие же тонкие психологи, как и мы, и так же точно, как и мы, воспитаны на столетиях хитроумного пилпула: что бы мы им ни рассказывали, они так же хорошо понимают глубину нашей души, как мы понимаем глубину их души. И к Палестине они относятся по крайней мере с той же инстинктивной любовью и органической ревностью, с какой ацтеки относились к своей Мексике или сиуксы к своей прерии. Фантазия о том, что они добровольно согласятся на осуществление сионизма в обмен за культурные или материальные удобства, которые принесет им еврейский колонизатор, — эта детская фантазия вытекает у наших «арабофилов» из какого-то предвзятого презрения к арабскому народу, из какого-то огульного представления об этой расе как о сброде подкупном, готовом уступить свою родину за хорошую сеть железных дорог. Такое представление ни на чем не основано. Говорят, что отдельные арабы часто подкупны, но отсюда не следует, что палестинское арабство в целом способно продать свой ревнивый патриотизм, которого даже папуасы не продали. Каждый народ борется против колонизаторов, пока есть хоть искра

надежды избавиться от колониционной опасности. Так поступают и так будут поступать и палестинские арабы, пока есть хоть искра надежды.

II

Многие у нас все еще наивно думают, будто произошло какое-то недоразумение, арабы нас не поняли, и только потому они против нас; а вот если бы им можно было растолковать про то, какие у нас скромные намерения, то они протянули бы нам руку. Это ошибка, уже неоднократно доказанная. Напомню один случай из множества. Года три тому назад г-н Соколов, будучи в Палестине, произнес там большую речь об этом самом недоразумении. Он ясно доказал, что жестоко арабы ошибаются, если думают, будто мы хотим отнять у них их собственность, или выселить их, или угнетать их; мы даже не хотим еврейского правительства, мы хотим только правительства, представляющего Лигу Наций. На эту речь арабская газета «Кармель» ответила тогда передовицей, смысл которой передаю на память, но точно. Сионисты напрасно волнуются: никакого недоразумения нет. Г-н Соколов говорит правду, но арабы ее и без него прекрасно понимают. Конечно, сионисты теперь не мечтают ни о выселении арабов, ни об угнетении арабов, ни об еврейском правительстве; конечно, они в данный момент хотят только одного — чтобы арабы им не мешали иммигрировать. Сионисты уверяют, что они будут иммигрировать лишь в таких количествах, какие допускаются экономической емкостью Палестины. Но арабы и в этом никогда не сомневались: ведь это трюизм, иначе и немислимо иммигрировать. Арабский редактор готов даже охотно допустить, что потенциальная емкость Палестины очень велика, т.е. что в стране можно поселить сколько угодно евреев, не вытеснив ни одного араба. «Только этого» сионисты и хотят — и именно этого арабы не хотят. Потому что тогда евреи станут большинством, и тогда само собой получится еврей-

ское правительство, и тогда судьба арабского меньшинства будет зависеть от доброй воли евреев; а что меньшинством быть неудобно, про то сами евреи очень красноречиво рассказывают. Поэтому никакого недоразумения нет. Евреи хотят максимального развития иммиграции, а арабы именно еврейской иммиграции не хотят.

Это рассуждение арабского редактора так просто и ясно, что его следовало бы заучить наизусть и положить в основу всех наших дальнейших размышлений по арабскому вопросу. Дело вовсе не в том, какие слова — герцлевские или сэмпюэлевские — будем мы говорить в объяснение наших колонизаторских усилий. Колонизация сама в себе несет свое объяснение, единственное, неотъемлемое и понятное каждому здоровому еврею и каждому здоровому арабу. Колонизация может иметь только одну цель; для палестинских арабов эта цель неприемлема; все это в природе вещей, и изменить эту природу нельзя.

III

Многим кажется очень заманчивым следующий план: получить согласие на сионизм не от палестинских арабов, раз это невозможно, но от остального арабского мира, включая Сирию, Месопотамию, Геджас и чуть ли не Египет. Если бы это и было мыслимо, то и это не изменило бы основного положения: в самой Палестине настроение арабов по отношению к нам осталось бы то же самое. Объединение Италии было в свое время куплено той ценой, что, между прочим, Тренто и Триест остались под австрийской властью; но итальянские жители Тренто и Триеста не только не примирились с этим, а, напротив, с утроенной энергией продолжали бороться против Австрии. Если бы даже можно было (в чем сомневаюсь) уговорить арабов Багдада и Мекки, будто для них Палестина только маленькая, несущественная окраина, то и тогда для палестинских арабов Палестина осталась бы не окраиной, а их единственной родиной, цент-

ром и опорой их собственного национального существования. Поэтому и тогда колонизацию пришлось бы вести против согласия палестинских арабов, т.е. в тех же условиях, что и теперь.

Но и соглашение с непалестинскими арабами есть тоже фантазия неосуществимая. Для того, чтобы арабские националисты Багдада, Мекки, Дамаска согласились уплатить нам такую серьезную цену, какой был бы для них отказ от сохранения арабского характера Палестины, т.е. страны, которая лежит в самом центре «федерации» и режет ее пополам, — мы должны предложить им чрезвычайно крупный эквивалент. Ясно, что есть только две мыслимые формы такого эквивалента: или деньги, или политическая помощь, или то и другое вместе. Но мы не можем им предложить ни того, ни другого. Что касается до денег, то смешно даже думать о том, будто мы сможем финансировать Месопотамию или Геджас, когда у нас и на Палестину не хватает. Для ребенка ясно, что эти страны, с их дешевым трудом, найдут капиталы просто на рынке, найдут гораздо легче, чем мы их найдем для Палестины. Всякие разговоры на эту тему о материальной поддержке суть или ребяческий самообман, или недобросовестное легкомыслие. И уже совсем недобросовестно с нашей стороны было бы всерьез говорить о политической поддержке арабского национализма. Арабский национализм стремится к тому же, к чему стремился, скажем, итальянский до 1870 года: к объединению и государственной независимости. В переводе на простой язык это означает изгнание Англии из Месопотамии и Египта, изгнание Франции из Сирии, а потом, быть может, также из Туниса, Алжира и Марокко. С нашей стороны хотя бы отдаленно помогать этому было бы и самоубийством, и предательством. Мы опираемся на английский мандат; под декларацией Бальфура в Сан-Ремо подписалась Франция. Мы не можем участвовать в политической интриге, цель которой отогнать Англию от Суэцкого канала и Персидского

залива, а Францию совершенно уничтожить как колониальную державу. Такую двойную игру не только нельзя играть: о ней даже и думать не полагается. Нас раздавят — и с заслуженным позором. — прежде чем мы успеем шевельнуться в этом направлении.

Вывод: ни палестинским, ни остальным арабам мы никакой компенсации за Палестину предложить не можем. Поэтому добровольное соглашение немыслимо. Поэтому люди, которые считают такое соглашение за *conditio sine qua non* сионизма, могут уже теперь сказать *non* и отказаться от сионизма. Наша колонизация или должна прекратиться, или должна продолжаться наперекор воле туземного населения. А поэтому она может продолжаться и развиваться только под защитой силы, не зависящей от местного населения — железной стены, которую местное население не в силах прошибить.

В этом и заключается вся наша арабская политика: не только «должна заключаться», но и на самом деле заключается, сколько бы мы ни лицемерили. Для чего декларация Бальфура? Для чего мандат? Смысл их для нас в том, что внешняя сила приняла на себя обязательство создать в стране такие условия управы и охраны, при которых местное население, сколько бы оно того ни желало, было бы лишено возможности мешать нашей колонизации административно или физически. И мы все, все без исключения, каждый день понукаем эту внешнюю силу, чтобы она эту свою роль исполняла твердо и без поправок. В этом отношении между нашими «милитаристами» и нашими «вегетарианцами» никакой существенной разницы нет. Одни предпочитают стену из еврейских штыков, другие из ирландских; третьи, сторонники соглашения с Багдадом, готовы удовлетвориться багдадскими штыками (вкус странный и рискованный); но все мы хлопочем денно и нощно о железной стене. Но при этом мы же сами зачем-то портим свое дело декларацией о соглашении, внушая

мандатной державе, будто дело не в железной стене, а в еще новых и новых разговорах. Эта декларация губит наше дело; поэтому дискредитировать ее, показать и ее фантастичность, и ее неискренность — это есть не только удовольствие, но и долг.

IV

Вопрос не исчерпан, я еще вернусь к некоторым его сторонам в следующей статье. Но считаю нужным здесь же вкратце сделать еще два замечания.

Во-первых: на избитый упрек, будто вышеизложенная точка зрения неэтична, отвечаю: неправда. Одно из двух: или сионизм морален, или он не морален. Этот вопрос мы должны были сами для себя решить раньше, чем взяли первый шекель, и решили положительно. А если сионизм морален, т.е. справедлив, то справедливость должна быть проведена в жизнь, независимо от чьего бы то ни было согласия или несогласия. И если А, В или С хотят силой помешать осуществлению справедливости, ибо находят ее для себя невыгодной, то нужно им в этом помешать, опять-таки силой. Это этика; никакой другой этики нет.

Во-вторых, все это не значит, что с палестинскими арабами немыслимо н и к а к о е соглашение. Невозможно только соглашение д о б р о в о л ь н о е. Покуда есть у арабов хоть искра надежды избавиться от нас, они этой надежды не продадут ни за какие сладкие слова и ни за какие питательные бутерброды, именно потому, что они не сброд, а народ, хотя бы и отсталый, но живой. Живой народ идет на уступки в таких огромных, фатальных вопросах только тогда, когда никакой надежды не осталось, когда в железной стене не видно больше ни одной лазейки. Только тогда крайние группы, лозунг которых «ни за что», теряют свое обаяние, и влияние переходит к группам умеренным. Только тогда придут эти умеренные к нам с предложением взаимных уступок; только тогда станут они с нами честно торговаться по практиче-

ским вопросам, как гарантия против вытеснения, или равноправие, или национальная самобытность; и верю, и надеюсь, что тогда мы сумеем дать им такие гарантии, которые их успокоят, и оба народа смогут жить бок о бок мирно и прилично. Но единственный путь к такому соглашению есть железная стена, т.е. укрепление в Палестине власти, недоступной никаким арабским влияниям, т.е. именно то, против чего арабы борются. Иными словами, для нас единственный путь к соглашению в будущем есть абсолютный отказ от всяких попыток к соглашению в настоящем.

(«Рассвет», № 42/43 (79/80), 1924 г.).

ЭТИКА ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЫ

I

Вернемся к упомянутой уже в прошлой статье Гельсингфорской программе. Как один из ее авторов, я менее всего, конечно, склонен сомневаться в ее справедливости. Она гарантирует и гражданское равноправие, и национальное самоуправление. Твердо уверен, что каждый беспристрастный судья признает ее идеальной основой для мирного и добрососедского сожительства двух народностей.

Но нет большего безумия, как требовать психологии беспристрастного судьи от тех самых арабов, которые в этом споре — одна из сторон, а не судьи. Прежде всего, если бы они даже и верили в добрососедское сожительство, остается ведь еще первый и главный вопрос — хотят ли они иметь «соседей», хотя бы и добрых, внутри страны, которую они считают своей. Что одноплеменность удобнее многоплеменности — этого ведь и самые сладкогласные из наших заклинателей не решатся отрицать. С какой стати народу, который вполне доволен своим уедине-

нием, добровольно пускать к себе добрых соседей в таком серьезном количестве? «Не хочу я ни вашего меду, ни вашего жала» — вот его естественный ответ.

Но и помимо этого основного затруднения, требовать именно от арабов веры в Гельсингфорскую программу — или вообще в какую бы то ни было программу разноплеменной государственности — значит требовать невозможного. Всей теории Шпрингера едва 30 лет отроду. До сих пор ни один народ, даже самый культурный, не согласился честно применить ее на практике. Даже чехи под руководством самого Масарика — учителя всех автономистов — не сумели или не пожелали ее осуществить. Что касается до арабов, то и интеллигенция их об этой теории никогда не слыхала. Но зато она знает, что меньшинство всегда и всюду страдало: христиане в Турции, мусульмане в Индии, ирландцы под властью англичан, поляки и чехи прежде под властью немцев, немцы теперь под властью чехов и поляков, и так далее без конца. Надо опьянить себя словами до полного дурмана, чтобы после этого требовать от арабов веры в то, что именно евреи способны (или хотя искренно намерены) осуществить план, который другим, гораздо более авторитетным народам, не удался.

Настаиваю на этом не потому, чтобы и нам следовало отказаться от Гельсингфорской программы как основы будущего *Modus vivendi*. Напротив, мы — по крайней мере, пишущий эти строки — верим и в нее, и в нашу способность провести ее в жизнь, несмотря на провал всех прецедентов. Но расхваливать ее теперь арабам бесполезно: не поймут, не поверят и не оценят.

II

А если бесполезно, то и вредно. Политическая наивность еврея баснословна и невероятна: он не понимает того простого правила, что никогда нельзя

«идти навстречу» тому, кто не хочет идти навстречу тебе.

Был типичный случай, когда один из подчиненных народов старой России весь, как один человек, пошел крестовым походом против евреев под лозунгами бойкота и погрома. В то же время этот самый народ добивался для себя автономии, открыто при этом заявляя, что он намерен использовать автономию для еще большего угнетения евреев. Но, несмотря на это, еврейские публицисты и политики, даже из националистов, считали своим долгом всячески поддерживать автономные стремления своих врагов; ибо, видите ли, автономия есть вещь святая. Мы вообще, как я писал уже раз на этих столбцах, считаем своим долгом, как только услышим «Марсельезу», застыть навтыжку и кричать ура — хотя бы играл эту мелодию сам Гаман и хотя бы в шарманке его при этом трещали еврейские кости. Это мы считаем политической моральностью.

Это не мораль, а разврат. Человеческое общежитие построено на взаимности; отнимите взаимность, и право становится ложью. Тот господин, который в эту минуту проходит за моим окном по улице, имеет право на жизнь лишь потому и лишь постольку, поскольку он признает мое право на жизнь; если же он хочет убить меня, то никакого права на жизнь я за ним не признаю. Это относится и к народам. Иначе мир станет звериным бегом взапуски, где погибнет не только слабейший, но именно кратчайший. Мир должен быть миром круговой поруки. Если жить, то всем поровну, и если погибать, то всем поровну; но нет такой этики, по которой жадному полагается есть досыта, а скромному издохнуть под забором.

Практический вывод из этой этики, которая есть единственная возможная этика человечности, гласит в нашем случае вот что: даже если бы имелись у нас, помимо Гельсингфорской программы, еще полные карманы всяких других уступок, вплоть до согласия стать участниками какой-то фантастической араб-

ской федерации *od morza do morza*, то и тогда заговорить о них можно было бы только назавтра после того, как с арабской стороны будет изъявлено согласие на еврейскую Палестину.

Деды наши это понимали. В Талмуде есть поучительный юридический казус. Двое идут по дороге и находят кусок сукна. Один говорит: это я нашел его, он весь принадлежит мне. Второй говорит: неправда, нашел я, сукно мое. Тогда судья разрезает сукно пополам, и каждому из упрямцев достается половина. Но вообразить казус, когда только один из них упрямец, а другой, напротив, решил удивить мир джентльменством. Он говорит: мы нашли сукно вместе, я претендую только на половину, вторая половина полагается г-ну Б. Зато другой твердо стоит на своем: нашел я, сукно мое. В таком случае Талмуд рекомендует судье решение мудрое, но для «джентльмена» грустное. Судья говорит: об одной половине спра нет, г-н А. сам признает, что она принадлежит г-ну Б. Спор идет только о второй половине — следовательно, разрежем ее пополам. Итого упрямец получает три четверти, а «джентльмен» только четверть. И поделом. Ибо джентльменом быть хорошо, но фофаном быть не следует. Деды наши это понимали, но мы забыли.

Следовало бы нам это помнить особенно потому, что в нашем случае дело с уступками обстоит особенно печально. Объем уступок арабскому национализму, на которые мы можем согласиться, не убивая сионизма, чрезвычайно скромны. Отказаться от стремления к еврейскому большинству мы не можем, допустить арабский надзор за нашей иммиграцией не можем, допустить парламент с арабским большинством не можем и ни в какую арабскую федерацию никогда не пойдем; более того, так как все арабское движение нам пока враждебно, то мы не только не можем его поддерживать, но сердечно радуемся (все, даже арабофильствующие декламаторы) каждому провалу его не только в соседнем Заиорданьи или в

Сирии, но даже в Марокко. И так оно будет, ибо иначе быть не может, пока железная стена не заставит арабов примириться с сионизмом раз навсегда.

III

Станем на минуту на точку зрения тех, которым кажется, что это все имморально. Разберемся. Корень зла заключается, конечно, в том, что мы хотим колонизировать страну против воли ее теперешнего населения, т.е., следовательно, колонизировать ее насильно. Все остальные неприятности вытекают из этого корня с автоматической неизбежностью. Что же остается делать?

Простейший выход — поискать другую страну для колонизации. Например, Уганду. Но при ближайшем рассмотрении и тут окажется та же беда. И в Уганде есть туземное население, и оно, конечно, по примеру всех других туземцев в истории будет инстинктивно или сознательно противиться наплыву колонизаторов. Тот факт, что эти туземцы — чернокожие, существа дела не меняет: если колонизировать страну против воли туземцев имморально, то ведь мораль должна быть одна и та же для чернокожих и белых. Конечно, есть надежда, что эти чернокожие еще не настолько развиты, чтобы посылать делегации в Лондон; надежда слабая, ибо всюду найдутся добрые друзья белого цвета, которые их научат; но если даже так, если эти туземцы, слава Богу, окажутся беспомощными детьми, то дело еще хуже. Раз колонизация без согласия туземцев подобна грабежу, то ведь преступнее всего грабить беспомощных детей. Следовательно, и Уганда «имморальна». Следовательно, «имморальна» и всякая другая территория, как бы она ни называлась. Необитаемых островов на свете больше нет. В какой оазис ни сунься — всюду сидит уже туземец, сидит с незапамятных времен и не хочет пришлого большинства или даже просто большого наплыва пришельцев.

Следовательно, если есть на свете безземельный

народ, для него даже самая мечта о национальном доме есть мечта имморальная. Безземельные должны навсегда остаться безземельными; вся земля на свете уже распределена, и кончено. Так требует этика.

В нашем случае эта этика особенно любопытно «выглядит». Нас на свете, говорят, 15 миллионов; из них половина живет теперь в буквальном смысле жизнью гонимой бездомной собаки. Арабов на свете 38 миллионов; они занимают Марокко, Алжир, Тунис, Триполитанию, Египет, Сирию, Аравию и Месопотамию — пространство (не считая пустынь) величиной с пол-Европы. В среднем на этой огромной территории приходится по 16 арабов на квадратную английскую милю; для сравнения полезно напомнить, что в Сицилии на кв. милю приходится 352 человека, а в Англии — 669. Еще полезнее напомнить, что Палестина составляет приблизительно одну двухсотую часть этой территории. Но когда бездомное еврейство требует Палестину себе, это оказывается «имморальным», потому что туземцы находят это для себя неудобным.

Такой этике место у каннибалов, а не в цивилизованном мире. Земля принадлежит не тем, у кого ее слишком много, а тем, у кого ее нет. Отчудить участок у народа-латифундиста для того, чтобы дать очаг народу-скитальцу, есть акт справедливости. Если народ-латифундист этого не хочет — что вполне естественно, — то его надо заставить. Правда, проводимая в жизнь силой, не перестает быть святой правдой. В этом заключается единственная объективно возможная для нас арабская политика; а о соглашении будет время говорить потом.

(«Рассвет», № 44/45 (81/82), 1924 г.)

КРУГЛЫЙ СТОЛ С АРАБАМИ

Судя по беседе Х.Е. Вейцмана с сотрудником лондонской еврейской газеты «Цейт», д-р Вейцман собирается по случаю поездки своей в Палестину попытаться наладить соглашение с тамошними арабами. А судя по тамошним арабским газетам в передаче ЕТА, арабские руководители, именно муфти и другие важные у них деятели, заранее отказываются вести какие бы то ни было переговоры с сионистами. Поэтому приходится считать еще недоказанным, что переговоры состоятся. Но одно можно считать доказанным: если и состоялись бы и если бы при этом, как мы все же надеемся, сионистские представители не согласились бы отречься от сионизма, то переговоры ни к чему доброму не могли бы привести.

Мира с арабами желаем мы все. Доказывать кому либо из евреев, что такой мир желателен, значит ломиться в открытую дверь. Вопрос не в нас, а в палестинских арабах.

Мы все не только желаем мира: мы все, все евреи и сионисты всех толков, желаем блага палестинских арабов. Мы не желаем вытеснить ни одного араба ни с левого, ни с правого берега Иордана. Мы желаем, чтобы они росли и в экономическом, и в культурном отношении. Будущий строй еврейской Палестины мы все представляем себе так: большинство населения будет еврейское, но равноправие всех граждан будет не только обеспечено, но и проведено в жизнь; оба языка и все религии будут равноправны, и каждая национальность получит широкие права культурного самоуправления. Но вопрос в том, достаточно ли это для арабов. И даже не «вопрос».

Нелепо закрывать глаза, когда пред нами большие и глубокие психологические факты. У палестинских арабов есть три политических лозунга; формулировать их, конечно, умеют только немногие (руководители, интеллигенция), но масса в этом с ними соглас-

на. Вот эти лозунги, с необходимыми пояснениями, на основании аутентичных заявлений, сотни раз печатавшихся:

1. Арабы требуют для себя права контролировать еврейскую иммиграцию. Это не значит непременно, что они хотят выгнать из Палестины евреев, уже там поселившихся, или никого больше туда не впускать. Вполне возможно, что они согласились бы даже на продолжение еврейской иммиграции и впредь. Но они требуют, чтобы размеры этой иммиграции определялись ими, арабами, согласно их воле и их интересам; и для того им, главным образом, и нужен парламент и ответственное правительство.

2. Арабы требуют создания большой арабской федерации с единым федеральным парламентом и правительством: вроде Германии до войны, или вроде Соед. Штатов. В федерацию должны войти обе половины Палестины, Сирия и Месопотамия; многие мечтают и о Египте; а в будущем войдут в нее постепенно и остальные земли, арабские по расе или по языку. Чтобы понять, что это значит для нас, представим себе такое, сравнительно уже благоприятное положение: что нас в Палестине не 160 тысяч, а почти вдвое больше — 300.000. Тогда мы в Палестине — треть населения. В федерации с Сирией и Месопотамией — только около пяти процентов; с Египтом — полтора процента; и т.д.

3. Арабы хотят освободиться от европейского владычества. Это значит: чтобы Англия начисто ушла не только из Палестины, но также из Египта, Судана и Месопотамии; чтобы Франция начисто ушла из Сирии, Туниса, Алжира и Марокко; чтобы Италия ушла из Триполитании и Киренаики. Это свое требование они высказывают, где могут (в том числе в Палестине) совершенно открыто. Я теперь не обсуждаю его по существу: хочу только напомнить, что в глазах огромного большинства французов, итальянцев и даже англичан такая ликвидация их колониальных по-

зиций на Средиземном море и на Среднем Востоке была бы национальной катастрофой. Притом надо еще отметить, что этот третий лозунг неотделим от второго, т.е. федерация немыслима без изгнания Европы.

Если мы хотим мира с арабами, то мы должны быть готовы сделать им уступки в том, что их интересует. Есть, правда, у нас мечтатели, которым кажется, будто палестинских арабов можно «склонить» при помощи выгод экономического характера; но (уж не касаясь того, откуда мы возьмем эти экономические выгоды для них, когда у нас и для себя не хватает) эта мечта вытекает из бездонного неуважения к арабской душе, для которого у нас никаких оснований нет. Отдельных арабов можно купить, но целую народность никто не уговорит добровольно отказаться от национальных замыслов за «экономические выгоды». Чтобы добиться у арабов сдвига национальной их позиции в нашу пользу, мы должны предложить им наше содействие именно в области их собственных национальных стремлений, т.е. в области вышеуказанных трех лозунгов; иначе и разговаривать не о чем.

Интересно поэтому знать, который из этих арабских лозунгов согласны наши присяжные миролюбцы поддержать.

Первый? То есть согласиться на то, чтобы определение размера еврейской колонизации зависело от воли наших арабских соседей? Или, скажем, заранее сговориться с ними на том, чтобы наша иммиграция никогда не возросла выше известного предела, дабы арабы навсегда остались в Палестине большинством, а мы меньшинством?

Или второй? То есть согласиться не просто на федерацию арабских стран (это их дело, а не наше), но на вступление в эту федерацию Палестины, т.е. на превращение нашего «национального дома» в одно из самых мелких гетто на свете?

Или третий? То есть объявить войну Англии,

Франции и Италии, превратить сионистское движение в союз агитаторов против колониальной позиции этих держав, стать в каждой из этих стран врагами государства, а в Европе вообще — соратниками третьего интернационала?

Достаточно поставить эти совершенно логичные вопросы, дабы увидеть, что о соглашении тут не может быть речи. Это печально, но это есть объективный факт.

И именно потому, что невозможность соглашения с палестинскими арабами есть объективный факт, — именно потому оно до сих пор еще не состоялось. Вот уже семь лет и больше, как сионистским движением совершенно беспримесно управляют самые горячие сторонники еврейско-арабского сближения. И экзекутива в Лондоне, и экзекутива в Иерусалиме, и сионистское чиновничество, и заправилы «университета», и заправилы «левых» — все это почти поголовно люди, мечтающие о «сближении». Есть, наконец, специальная партия Берит-Шалом. И огромное большинство этого круга живет в Палестине, бок о бок с арабами. Тем не менее до сих пор они все вместе не решились даже хотя бы *начать* переговоры, хотя бы просто сесть за тот самый «круглый стол». Единственную попытку сделали, кажется, главари Берит-Шалом; но им арабы ответили, устами газеты «Фелестин», что и «сионизм» в духе гг. Магнеса и Лурье для них, арабов, неприемлем. Остальные же еврейские миролюбцы и вообще не решились до сих пор на пробу. Почему? Дело ясное: каковы бы ни были их заблуждения, некоторое чутье реальностей у них все же осталось, и они ясно видели, что круглый стол не даст ничего, кроме круглого нуля.

Но есть опасение, что все эти разговоры о круглом столе суть разговоры не только праздные, а еще и вредные. Самое опасное место в недавнем письме г.Макдональда есть то, где он заявляет, что «не может быть полного решения проблемы без еврейско-арабского соглашения». Это значит: если арабы не

согласятся на сионизм, Англия умывает руки. Против такого толкования мандатных обязательств — против признания за арабами права «вето» над всеми принятыми Англией обязательствами перед еврейским народом — надо бороться всеми силами; иначе наше дело станет уж действительно безнадежным. Мы должны раз навсегда поставить на вид державе — мандатарии, что в мандате есть оговорки о «гражданских и религиозных правах» арабов, но нет оговорки об их «согласии»; и что обязательства Англии обязательны для Англии независимо от местных настроений. Вместо того (и еще в данный момент, т.е. как бы прямо в ответ на письмо г. Мандональда!) мы как бы отвечаем: «вы правы, сэр, слушаемся» — и сами поднимаем вопрос о соглашении, т.е. опять, от имени сионизма, нравственно санкционируем такое толкование мандата, которое для сионизма губительно.

Мир в Палестине будет, но будет тогда, когда евреи станут большинством или когда арабы убедятся в неизбежности такого исхода: т.е. именно тогда, когда им станет ясно, что «решение проблемы» *не* зависит от их согласия. Тогда, как народ разумный, *они* возьмут на себя инициативу переговоров; и тогда, не сомневаюсь, они встретят у сионистов полную готовность обеспечить за ними все права, кроме одного права: кроме права мешать еврейской иммиграции. До тех пор — все попытки переговоров о еврейско-арабском политическом соглашении тщетны и вредны.

«ВОСТОК»

I

Д-р И. Клаузнер дал недавно в «Гашилоахе» ответь тому течению сионистской мысли, которое си-

лится навязать нам, евреям, какое-то духовное родство с так называемым Востоком. Статью г. Клаузнера я знаю пока только по газетным выдержкам; но выдержки эти приятно было читать и по существу и еще потому, что напечатаны они на «восточном» языке, в «восточном» городе Иерусалиме, и исходят от автора, который известен своим бережным отношением к нашей национальной традиции. Давно пора было высказаться на эту тему; завидуем «Гашилоаху» в том, что он предвосхитил нашу мысль. Востоколюбивое течение в сионизме проповедуется особенно рьяно, если не ошибаемся, на аренах берлинской и пражской; главным проповедником является, говорят, г. Мартин Бубер — но так как я с его литературной деятельностью не знаком, то за эту последнюю подробность ручаться не могу. Содержание востоколюбительства, однако, известно каждому, кто встречался за последние годы с сионистской молодежью из стран, где говорят по-немецки. Это — одна из главных составных частей той духовной пищи, которой там обезличивают молодежь, причастную к сионизму, и отпугивают от сионизма молодежь, которая могла бы стать к нему причастна.

Содержание, вкратце, такое. Мы, евреи, народ восточный по происхождению; несмотря на западные влияния, основа нашей души осталась восточной. Ибо у Востока есть своя особая душа (следует описание этой души; я его несколько раз слышал, но не понял и не помню). Во всяком случае, эта восточная духовность, по своим качествам, выше души Запада (а по другим авторитетам: является необходимым дополнением к душе Запада). Идя в Палестину, мы возвращаемся в среду народов, которые сохранили восточную психологию в большей или меньшей целостности. Мы поэтому должны и в своем нутре разыскать элементы восточности, засоренные пылью Запада, но все еще живые, и заняться их культивированием. — Затем следуют оговорки, ибо и востоколюбы не хотят отказаться от электричества; оговорки о том,

что, конечно, мы должны дать Востоку и западную технику, и даже — в строго очищенном виде — некоторую долю духовной культуры Запада; но все это бахрома, а основа, суть, главное — овосточимся.

Против этой точки зрения с особенным удовольствием выдвигаю противоположную — ту, к которой, если я верно понял выдержки, близок редактор «Гашилоаха»: у нас, евреев, с так называемым «Востоком» ничего общего нет, и славу Богу. Поскольку у необразованных наших масс имеются духовные пережитки, напоминающие «Восток», надо наши массы от них отучить, чем мы и занимаемся в каждой приличной школе и чем особенно усердно и успешно занимается сама жизнь. Идем мы в Палестину, во-первых, для своего национального удобства, а во-вторых, как сказал Нордау, чтобы «раздвинуть пределы Европы до Евфрата»; иными словами, чтобы начисто вымести из Палестины, поскольку речь идет о тамошнем еврействе нынешнем и будущем, все следы «восточной души». Что касается до тамошних арабов, то это их дело; но если мы можем им оказать услугу, то лишь одну: помочь и им избавиться от «Востока».

Поскольку же нам, в течение переходного периода, или после, придется в Палестине жить среди окружения, пропитанного дыханием «Востока», — будь это окружение арабское или староверо-еврейское, все равно — рекомендуется тот жест, который каждый из нас невольно делает, когда проходит в пальто по узким «восточным» улицам Стамбула или Каира или Иерусалима: запахнуть пальто, чтобы как-нибудь оно не запылилось, и смотреть, куда ставить ногу. Не потому, что мы евреи; и даже не потому, что мы из Европы; а просто потому, что мы цивилизованные люди.

II

Чем отличается «Восток» от Запада? Прежде всего, конечно, не географически. Самый густой и цель-

ный «Восток» сохранился теперь именно в Марокко, а ведь Фец лежит к западу и от Парижа, и от Лондона. Незачем также останавливаться на различии между техническим прогрессом западных стран и технической отсталостью «восточных»: ведь и востоколюбцы наши не согласны отречься от железной дороги в пользу верблюда и не настаивают — по крайней мере не все, — чтобы мы сняли брюки и надели халат. Речь идет о духовной жизни, вернее, — об ее основных императивах. Только в этой области нам и советуют перейти на «восточную» диету: усвоить принципы «восточного» мирозерцания.

В чем заключаются эти «восточные» начала, пока ни в одном учебнике не сказано; а раз в учебнике не сказано, остается каждому толковать эти начала по-своему. Как уже упомянуто, толкование наших собственных востоколюбцев из Берлина и Праги я слышал и не раз, но не понял ни слова; поэтому дам свое, по собственным наблюдениям; не притязаю ни на полноту, ни на систематичность — наоборот, буду выхватывать из «восточной» психологии отдельные куски, без системы; но смею думать, что куски эти существенные и показательные.

Психологически Восток (опускаю иногда кавычки для удобства набора, но прошу читателя помнить, что они нужны) отличается от Запада, прежде всего, своим этическим спокойствием. В этом покое, говорят, есть своя красота; возможно — красота есть в каждом цельном состоянии, например, в смерти; но мы тут не говорим об эстетике. Это настроение покоя иногда называют квиэтизмом, иногда фатализмом, иногда другими именами, но его наличности никто не отрицает. Европа ищет, мечется, починает, разрушает, строит, карабкается; Восток, когда его не толкает или не раздражает Европа, живет в состоянии равновесия. И на Востоке есть огромная разница между богатыми и бедными; есть эксплуатация, о какой Запад уже сто лет не слышал; но активного движения бедноты против богатства нет; этического

протеста против несправедливости распределения благ, протеста в форме определенного общественного натиска нет. Талант восточного простонародья философски удовлетворяться малым вошел в поговорку — так же точно, как принципиальная, неотступная неудовлетворенность обездоленных классов в Европе есть основная черта европейской общественной жизни.

В чисто политической сфере это различие выразилось так: Европа создала парламенты, свободную печать, сотни форм общественного контроля и инициативы; Восток (покуда не стал подражать Европе) остался при деспотизме. Внутренне он остался при деспотизме и там, где есть парламенты. Надо только заглянуть поглубже, под надстройку любой тамошней палаты депутатов, и мы увидим почти безграничную власть шейха над мужиком, мастера над подмастерьем, отца над детьми, мужа над женою — поскольку европейский губернатор не вмешался и не ввел кой-каких ограничений; и в то же время мы увидим почти полное отсутствие осознанного протеста у угнетенной стороны — поскольку не подстрекнул ее к тому, с весьма малым успехом, европейский агитатор.

Затем: религия. Ислам есть, вероятно, очень мудрая и благородная религия; дело не в нем, а в том, что Восток стремится вводить религию во все углы быта. Восток дорожит подлинной печатью Господа Бога на всем: на своде законов, на характере научного исследования, на времяпровождении Ахмеда и Фатимы, на одежде, на кухне и т.д. Запад твердо стал на ту точку зрения, что область религии строго ограничена: это есть внутреннее отношение человека к божеству. Ни в законодательство, ни в философию, ни в науку, ни в диету цивилизованных народов Запада религия не вмешивается; в семейном быту ее влияние сводится к церемониалу праздников, но не определяет ни одной из действенных сторон домашней жизни.

Больше всего это сказывается на положении женщины. Это, по-видимому, самая серьезная и самая трагическая палка в колесах Востока. Многоженство, гарем и чадра не только религия и быт: эти два института влияют на всю общественную атмосферу колоссально. Это не шутка, когда человек вырастает в сознании, что мать его не есть полноценный человек, а только антропоид; ее лицо и волосы — неприличие: держать ее надо взаперти, а не то она согрешит: вообще — собственность и забава для мужчины. и не единственная в своем роде; и таковы же его сестры. и такова будет его жена. «Вся беда наша в том. — говорили младотурки еще в 1908 г., — что мы поголовно дети рабынь».

Можно еще продолжить это перечисление «восточных» своеобразий, но не стоит.

III

Тут я предвижу одно возражение: разве Восток всюду таков? И разве он всегда был таков? Турция теперь отменила феску и чадру, раскрыла двери гарема и даже ликвидировала халифат. Египет живет жизнью, полной общественного протеста. В средние века, при всеобщем сне Запада, один только Восток поддерживал традицию свободного научного исследования. И, наоборот, несколько сот лет тому назад Запад представлял именно ту картину, которую теперь вы называете восточной: религия давила быт и мысль, деспотизм не встречал отпора, женщина считалась собственностью и забавой, власть отца и мужа не знала границ... При чем тут Восток? Это просто разные ступени культуры и прогресса.

Таково возражение, которое я предвижу. Но это не возражение: это подтверждение.

Совершенно верно: на самом деле, нет никаких «восточных» и никаких «западных» черт, которые носили бы основной и органический характер. «Восток» и «Запад», с точки зрения эволюционной, пустые слова. Совершенно верно: при Гарун-аль-Рашиде Багдад

был, выражаясь сегодняшним языком, пожалуй, «западнее», чем современный ему Рим. Совершенно верно: когда в «восточную» страну проникает влияние цивилизации, то страна теряет те черты, которые считаются «восточными». Это верно — и в этом все дело: то, что у нас принято называть «восточностью», есть просто низшая ступень культуры, в значительной мере неряшливая. Как всякая старина, эта отсталость может показаться живописной, особенно человеку, утомленному суетой и грохотом цивилизации. Так кажутся многим живописными — квиэтизм, фатализм, фигуры в чадрах, робко скользящие по улице, резные окна гарема, патриархальная опека шейха и все прочее. Но все это — черты незрелости; и так как незрелость эта — запоздалая, ибо мы все рождены от Адама, а теперь 1926 год, то ее надо лечить. Лечить культурой. Тогда не останется ни гарема, ни чадры, ни патриархального шейха, ни фаталистической покорности року — словом, ни одной «восточной» черты. И чем скорее не останется, тем лучше.

Я, конечно, не отрицаю, что и через триста лет, при полном усвоении всех вершук тогдашней культуры, духовная атмосфера Триполи будет отличаться от духовной атмосферы Англии. Понятно, будет, ибо это разные национальности. Так и сегодня есть различия между духовной атмосферой Англии и Франции: песня общая, голоса, языки и темперамент разные. То же будет и между «Востоком» и «Западом». Итальянцы, французы, немцы, арабы, евреи будут жить одной культурой, составленной из обмена вкладками, который внесут лучшие умы каждого из этих народов; языки и темпераменты останутся разные, будут свои особые оттенки — и только.

IV

Но, если бы «Восток» и «Запад» действительно представляли собою две основные, органически укорененные категории духа, именно тогда пришлось бы

особенно твердо настаивать на том, что мы, евреи, принадлежим «Западу» и ничего общего не имеем с «Востоком».

Я знаю, что расовое происхождение наше считается восточным; даже верю в это, хотя многие теперь это оспаривают. Но это не относится к делу. Из 15 миллионов евреев, которые насчитываются в мире теперь, 14 миллионов произошли от отцов, которые переселились на «Запад» около двух тысяч лет тому назад. За этот период Европа прошла всю дорогу от гуннов и тевтонов до Лиги Наций и беспроволочного телеграфа. Достаточно времени, чтобы отвыкнуть от «азиатского» темпа жизни и сrostись с «европейским».

Я также знаю другой факт, более грустный: что у нас, в старообрядческом еврейском быту, есть еще много диких пережитков подлинной «восточности» — ненависть к свободному исследованию, вмешательство религии в быт, женщина в парике, которой чужой мужчина не подает руки. Но если бы мы на минутку поверили, что эти черты принадлежат к органической сути еврейства, мы бы, вероятно, махнули рукою на идеал увековечения такой сути. На то и была у нас гаскала, чтобы отделить пережитки от сути. И она успела: пережитки вымирают, суть остается.

Суть же эта, по крайней мере наполовину, выражается в том, что Европа морально «наша», в том же смысле, как она для англичан, итальянцев, немцев, французов «ихняя». Мы не только зрители и не только воспитанники европейской цивилизации: мы — ее сотворцы, и притом из важнейших. Что ее этический пафос, создавший все ее освободительные движения, легший в основу ее социальных переворотов, вскормлен нашей Библией — в двух изданиях — это старая истина. Что ее экономический прогресс был бы немислим без международной торговли и без кредита и что пионерами на обоих этих путях были именно мы, — в этом ни один мыслящий человек.

еще и до преувеличений Зомбарта, не сомневался. И что, наконец, от «Авицеброна» (у нас он Габироль: XI век, т.е. еще задолго до первой зари европейского пробуждения!) до Эйнштейна десятки тысяч индивидуальных евреев в разных странах лично делали науку, философию, художество, технику, политику и революцию, одни на высотах мировой славы, как Спиноза, или Гейне, или Дизраэли, или Маркс, другие во втором, и третьем, и десятом ряду — и это старая песня. Ее не следует забывать.

Европа наша; мы — из ее главных созидателей. За 1800 лет мы ей дали пропорционально не меньше, чем какая угодно другая из великих «западных» наций. Но мы, кроме того, начали строить ее еще задолго до общего начала — еще до того, как начали строить ее афиняне. Ибо главные черты европейской цивилизации: недовольство, «богоборчество», идея прогресса, — вся та пропасть между двумя мировоззрениями, которая выражается в антитезе двух верований: «золотой век» и «Мессия», идеал в прошлом и идеал в грядущем, — эти черты дали Европе мы, еще задолго до того, как отцы наши пришли в Европу: Библию мы принесли с собою в готовом виде.

Может быть, мы больше всякого другого народа имеем право сказать: «западная» культура есть плоть от плоти нашей, кровь от крови, дух от нашего духа. Отказаться от «западничества», сродниться с чем-либо из того, чем характерен «Восток», значило бы для нас отречься от самих себя.

Говорю, конечно, о моральной «Европе». Географическое понятие «Европа» — такая же условная чепуха, как географический «Восток». Цивилизованный еврей эмигрирует в Азию так же точно, как цивилизованный англичанин в Австралию: везет «Европу» с собою в душе и будет продолжать и развивать свою родную, кровную, двух- и больше-тысячелетнюю европейскую традицию в Палестине.

И соседям нашим по Азии желаем того же: скорейшей ликвидации «Востока».

Внутренняя борьба в сионизме

«ЛЕВЫЕ»

I

Тема эта — грустная тема. Те, которых у нас называют «левыми», могли бы быть лучшими из сионистов. Но сионизм теперь подменен, вместо него перед нами то, что в старину звали палестинофильством, а сейчас принято называть «строительством земли»: термин опасный, ибо задача наша ведь не в том, чтобы «выстроить землю», а в том, чтобы земля эта превратилась постепенно в землю с еврейским большинством. Об этом мы забыли, а потому, в период 1920-1923 гг., радость по поводу того побочного факта, что растет Тель-Авив и Эзрелонская долина, заслоняла в глазах наших тот основной факт, что за это время процент еврейского населения ничуть не рос. Эта аберрация у «левых» особенно ярко выражена. Поэтому лучшими из сионистов назвать их нельзя. Но они, бесспорно, лучшие из ховеце-цион последнего призыва.

Говорю это без иронии. Здесь я не вдаюсь в спор о том, можно ли считать кооперативный поселок здоровой и устойчивой формой колонизации. Но одно бесспорно: с 1920 по 1923 г. никакая другая форма сельской колонизации была немыслима. Люди приезжали только с востока, и все без денег; деньги можно было черпать только на западе и только в виде общественных фондов. При наших условиях создавать частных собственников нельзя: и принципиально невозможно, и средств бы не хватило. За это время выстроилось около 30 новых поселков, приблизительно с 1500 рабочего населения; обошлось это Керен-Гайесоду в 415.000 фунтов, Национальному фонду в 200.000 с лишком. Это не дешево, но

даже трети этого количества поселений не удалось бы устроить за такие деньги на началах частного хозяйства. Позволяю себе сомневаться, очень ли изменилось это положение и теперь, т.е. легче ли устроить сегодня колонию старого типа, чем «квучу». Каковы бы ни были органические пороки кооперативного поселка, он, вероятно, еще долго будет преобладать в наших сельскохозяйственных начинаниях просто в силу необходимости, т.е. земледельческая колонизация будет и впредь развиваться главным образом на плечах «левых». До сих пор, считая с конца войны, она, как известно, лежала целиком на их плечах.

В остальных отраслях деятельности они до сих пор тоже шли первыми. В 1921—1923 гг. созданное ими бюро общественных работ выполнило ряд серьезных подрядов: шоссейных, рельсовых и мостовых дорог на сумму больше 300.000 ф., разных зданий на 640.000. Теперь эта последняя сумма, вероятно, удвоилась. Попутно они образовали больничную сеть, ряд просветительных учреждений, банк. К добру или нет, еврейская Палестина сегодня страна рабочих. Когда критики нашей хозяйственной системы уверяют, будто произошло это по недосмотру начальства или в силу «захвата», то критики ошибаются. Произошло это, *во-вторых*, в силу вещей, а *во-первых* — благодаря огромной активности и жертвостоспособности. В Палестине это признают все классы общества. Вероятно, нет страны, где имя «рабочий» пользовалось бы таким уважением во всех кругах, вплоть до «салона».

Экономически эта гегемония, говорят, признак правильного роста. Но факт остается фактом: в нашем ховеве-ционском поколении «левые» оказались лучшими из ховеве-цион.

II

Пишу слово «левые» в кавычках тоже не для иронии, а скорее — с моей точки зрения — сочувствен-

но. Сионистские рабочие партии усердно пользуются социалистической фразеологией; несомненно, и верят в нее вполне искренно. Но по существу, по всей деятельности, они не социалисты и вообще не левые. Устройство фаланстер, городских или сельских, титуловалось «социализмом» только во дни Фурье. Маркс в свое время жестоко издевался над этим смешением понятий. Социализмом в наше время называется стремление национализировать уже созданное хозяйство; средствами являются борьба, давление, революция. Для создания коммуновидных островков среди буржуазного или просто патриархального моря нужны другие средства, резко непохожие на борьбу, давление и революцию. Главное из этих средств — деньги, которых у рабочих нет и которые поэтому приходится получать от других общественных слоев; причем не путем захвата, каковой в наших условиях немислим, а путем аргументации, в которой единственным годным доводом является общность национального интереса. Тут нет ни следа классовой борьбы, тут политика национального блока.

Ни на чем этот чисто националистический характер сионистского «левого» движения так ярко не скажется, как на еврейско-арабском конфликте. Главным возбудителем этого конфликта является — опять таки в силу вещей — не еврейский собственник, а еврейский рабочий. С арабской точки зрения вся опасность в натиске еврейского труда, а не еврейского капитала. Прежде всего потому, что капиталистов мало, а трудящихся много. Даже неграмотному ясно, что иммиграция купцов и промышленников никогда не создаст еврейского большинства: только иммиграция рабочих рук может привести к численному перевесу евреев. Но и с чисто экономической точки зрения, объективным носителем конфликта является только рабочий элемент. Между эффенди, продающим землю, и Ротшильдом, ее покупающим, никакого столкновения быть не может. Даже то, что

Икс из Лодзи на свои деньги устраивает ткацкую фабрику в Тель-Авиве, не есть еще пока причина для вражды. Конфликт начинается со спора о том, какой будет на фабрике труд — еврейский или арабский. Еще не так давно еврейские рабочие в Палестине даже не пытались маскировать эту истину. Было время, когда официальный лозунг так и гласил: захват трудовых позиций в колониях — захват, означавший в то же время вытеснение с этих позиций нескольких тысяч феллахов. В 1919—1920 гг. был в ходу еще более выразительный лозунг — «авода тегора», т.е. «чистый труд», чистый в смысле национальной однородности: правилом было тогда — не брать работы, если состав рабочих смешанный. Теперь «левые» стали в этом отношении осторожнее, но существо их миссии не изменилось. Еврейские дома строят теперь «бюро общественных работ» — но до войны этот заработок был в руках у арабов. Зелень и яйца поставляют теперь в Тель-Авив и Иерусалим окрестные «квуцот», — а еще в 1920 г. это поставляли исключительно арабы. Никакой декламацией, никакой дипломатией (вроде допущения на «свои» работы того или иного процента арабов) замазать эту суть дела нельзя. В национальном смысле конфликт охватывает, конечно, оба национальных лагеря в целом; но на экономическом фронте это есть прежде всего конфликт между еврейским рабочим и арабским рабочим. И в этой борьбе еврейские рабочие действуют не как «левые» и не как социалисты, а как хорошие ховеве-цион — лучшие из ховеве-цион.

III

Хотелось бы сказать «из сионистов», но нельзя. Сионизм от палестинофильства и «землестроительства» отличается размахом, постоянным и ревнивым чутьем перспективы. Именно еврейские рабочие по мере того, как накапливается у них то, что Глеб Успенский называл «обстановочкой», легче всех остальных теряют чутье перспективы. В первый раз я

столкнулся с этим явлением в 1918 г., во время набора добровольцев для легиона. В Палестине были две рабочие организации — но у одной из них (как раз у той, которая считалась более национальной и менее левой) уже была «обстановочка» в виде нескольких поселков, и потому ее члены почти поголовно отказались идти в армию; у другой еще тогда не было своих фаланстер — и ее члены почти поголовно вошли в солдаты и стойко держались за ружье до последнего момента. Вероятно, была тут и психологическая разница: но в основе различия лежал имущественный ценз, святая, благородная, божественная, какая хотите — но притупляющая привычка к ежедневной заботе. Теперь эта забота стала ежедневной — и я не уверен, не стерла ли она и психологических различий. Крученный мы народ вообще, но ничего более странного, более небывалого, чем это зрелище в Палестине, даже в нашем быту мы еще не видели: та психология ближайшего урожая, то пренебрежение к принципам и перспективам, которые у других народов считаются прерогативой мелкого крестьянства — у нас в Палестине оно стало привилегией «левого» крыла. В нем глубже всего пустил корни культ коровы, трактора и бюджета; на него, главным образом, опираются и ссылаются отрицатели политического действия; и, когда возникает речь об отмене выборного начала, о передаче власти богачам, презирающим и сионизм, и демократию, — «левые» люди социалистической фразеологии, часто люди революционной веры, стыдливо утопляют очи в кирпичат-пол и...

Не хочется дописывать. Одно спрошу: доколе? Неужели навсегда? Пусть эта потеря перспективы, эта замена понятия «грядущее» понятием «завтрашний день» — пусть это все объяснимо. Но неужели это неизбежно и неизлечимо? Неужели все они, все поголовно, примирились с этой ролью, и авангард еврейского ренессанса даст нам, в конце концов, только

новую разновидность общественной психологии феллаха?

Грустная тема...

ВРАГ РАБОЧИХ

I

С великой неохотой пишу эту заметку, по двум причинам. Первая: это будет объяснение личное, касающееся только меня, не партии, не журнала; местоимение первого лица придется употреблять чаще, чем хотелось бы. Вторая: мне будет глубоко неприятно, если в этих строках увидят попытку объясниться с *лидерами* палестинских рабочих. С большинством из них у меня общего языка нет, ибо нет чековой книжки. На случай, если прочтет эту статью посторонний, полезно прибавить, что личная неподкупность этих лидеров выше всякой тени подозрения; чековая книжка им нужна не для себя, а для партийной «обстановки», для того непомерно раздутого организационного скарба, который грозит распасться, если его не заштопывать еженедельно новыми чеками. Это очень похвальная форма рептильности; в нравственном отношении люди эти праведники, попадут в рай, и права их на место в раю я не оспариваю. Но разговаривать с ними о принципах, когда они открыто и не моргая смотрят только в руки, не намерен.

Объясняться можно только с той массой, которую эти лидеры завели в трясины, где честной еврейской молодежи не место. Среди этой массы поминутно растет возмущение ролью, которую их заставляют играть. К ним я и обращаюсь; статья эта есть ответ на письма из их среды, большей частью полные жалоб на враждебное отношение мое к палестинским рабочим и их предприятиям, «особенно к кевуцот»,

— «и эти нападки ваши на самое святое больше всего мешают политическому отрезвлению рабочих». Если бы мое отношение и было враждебным, а все-таки не вижу, почему из-за этого рабочие должны отложить свое политическое отрезвление. Дело не в том, друг или враг говорит, а в том, правду ли он говорит.

Самый же слух о нападках на рабочие учреждения и «особенно на кевуцот», происходит от упорного желания читать между строк, вместо того, чтобы читать самые строки. Доказывать, что мелкая частная собственность прочнее всякой другой формы сельского хозяйства, еще не значит нападать на кевуцот. Не помню ни одного столбца в парижском «Рассвете», прямо посвященного критике сельскохозяйственной коммуны. Отсюда не следует, что такого столбца не будет. Критическое отношение к новому социальному эксперименту законно и необходимо. Этим занимаются и палестинские рабочие. Самую резкую критику кевуцот я читал еще 6 лет тому назад в известной брошюре г. Элизера Иоффе, которая послужила толчком к основанию Нагалаля.

Лично я, между прочим, с этой критикой не согласен; неоднократно писал (в строчках, а не между строчками), что «провал кевуцот» считаю недоказанным. Огромное большинство их пока хозяйничает с дефицитом, но и частновладельческие колонии наши в свое время долго болели этим недугом. Это вообще хворь младенческого периода. С 1908 года, когда возникла Седжера, прошло — за вычетом шести «военных лет» — слишком мало времени, чтобы можно было судить об «органических» достоинствах или недостатках такого сложного эксперимента. Так же смотрю я и на другие «органические» недостатки кевуцы: не доказаны, ибо срок еще не пришел для подведения итогов. Личный состав в кевуцот все еще страдает текучестью; но делать из этого выводы преждевременно. Русский мужик во времена общинного землевладения тоже не имел своего наследственного отруба — и, однако, не кочевал; с другой стороны,

при заселении срединных штатов Сев. Америки «скваттеры» получали наделы в полную собственность — и все-таки тысячами переходили с одного на другой. Иммигрант, по-видимому, вообще страдает излишней подвижностью; это — просто инерция первичного толчка, т.е. миграции. У его внука будет столь же естественна обратная инерция — домо-седство. Если кевуца разовьется, обрастет удобствами, создаст традиции — не вижу причины, почему ей не родить патриотов. Столь же не проверены и разговоры о том, будто в кевуце «не может» процветать семейная жизнь. Когда вместо барака выстроят дом, хотя бы один, и с полусотней квартир, то в этих квартирах могут жить семьи и растить детей с таким же удобством, с каким живут и жили наши собственные семьи в городских квартирах. Все это может не произойти, но может и произойти. Судить о результатах опыта можно будет только через одно поколение — по крайней мере. А теперь — опыт сделан, значит надо дать ему развиться в возможно благоприятных условиях.

Пишу об этом так длинно только для того, чтобы не было охоты читать между строк; но отнюдь не для того, чтобы снискать благоволение и выдать себя за «сторонника» кевуцот. Я не сторонник кевуцот. Если бы замышлял лично стать земледельцем, то предпочел бы «свою» землю в полную и наследственную собственность. Более того: отказываюсь даже произнести обычный комплимент о той «высоте идеализма», какая, мол, нужна, дабы осушать болота не для себя, а для коллектива. Идеализм хасидов из Магдизля (не помню точно имя этого поселка), которые осушают болота «для себя», столь же возвышен. Повторно расписываюсь в еще худшем грехе: басню о том, будто устройство сельскохозяйственных фаланстер есть «созидательный социализм», считаю басней. Никакого социализма — если не играть наивно словами — нет ни в кевуцот, ни в «Гамашбире», ни в «Солель-Боне», и никакого социализма из них не

выйдет. А есть только большое количество хороших людей, которые по той или иной причине желают строить свою жизнь в Палестине именно на этих началах: значит, надо им в этом помочь. Рядом есть много других хороших людей, которые предпочитают строиться на частно-владельческих основах: значит, надо и им в этом помочь; и средства, какие имеются в распоряжении организации, надо соответственно разделить, не считаясь ни с какой риторикой ни «справа», ни «слева». И помогать надо разумно, т.е. только первое время, а не вечно, и через два-три года поддержку надо прекратить в интересах самого предприятия, опять-таки не считаясь ни с какой мелодекламацией. Тем, кто любит подбирать ярлыки, предоставляю самим разобраться в вопросе, значит ли это все или не значит быть врагом рабочих начинаний. Мне ярлык безразличен.

Еще одна оговорка. Экономическая программа ревизионистов, как партии, сводится пока (помимо вопроса о земельной и таможенной реформе) к нейтральности. Многие из нас считают это пробелом; вполне возможно, что они правы и что через некоторое время партия выдвинет определенный план конкретного строительства и будет отстаивать его преимущества по сравнению со всеми остальными. Но и тогда я буду против предложения — «дозволять» только работу по нашему плану и душить все остальные. Каждый резонный метод колонизации, если за него стоит достаточная группа, имеет право на опыт и на поддержку сионистской организации. Сионистская организация должна быть государственной; этим все сказано.

II

У меня самого ни лично, ни идейно нет никаких «досад» на палестинских рабочих. Напротив. Высшую — пожалуй, единственную — радость моей общественной жизни дали мне именно они: я говорю о палестинском волонтерстве. Энтузиазм, с которым

эта молодежь шла в легион, был и остался одним из тех немногих явлений, которые примиряют меня с современной еврейской психологией. Эти люди, прежде всего, шли на огромный риск: если бы мы, «лондонские», пошли в плен, турки бы нас кормили и лечили; если бы попались палестинцы, их бы повесили. Но их старались запугать и другим, более грозным риском: что турки в отместку сожгут колонии в Самарии и Галилее. Наконец, их стыдили латинскими словами: милитаризмом, империализмом... Они все это отметили. Их никто не звал на службу: сионисты им на три четверти мешали, Алленби их открыто не хотел — они *заставили* и Ваад га-Царим, и штаб согласиться на устройство набора в Палестине. И во главе этого движения, и в массе его шли главным образом палестинские рабочие. Бен-Гурион, Бен-Цеви, Б. Каценельсон, Явнеэли, Гоз, Свердлов и сотни других носили ту одежду, которая для меня есть символ всего святого и чистого в сионизме, форму еврейского солдата. Многие из них, уже через несколько лет, когда война давно кончилась и у каждого зудели руки бросить ружье и перейти к производительной работе, — все же цепко держались за кокарду, чтобы спасти последнюю ячейку еврейского легиона в Палестине. Эти люди могут меня считать врагом или нет: таким, каковы они были тогда, я по сегодня отдаю честь.

Лично—у меня на них тоже нет «досады». В 1920 г., в тяжелое для девятнадцати моих товарищей и для меня время, палестинские рабочие стояли за нас горой. Через полтора года еврейские Поалэ-Цион, движимые рабьей потребностью выслужиться перед советским сбродом, подняли против меня газетную кампанию за договор с М. А. Славинским; так как я давно привык относиться к таким упражнениям в ребяческой благонамеренности со снисхождением взрослого, то охотно простил бы и палестинским рабочим, если бы они присоединились к походу; но люди, следившие за той полемикой (я ее не читал), уверяли меня, что палестинская рабочая пресса не

участвовала в этом лае. Если есть у меня поэтому личные моменты, влияющие на отношение к палестинскому рабочему движению, то как раз самые благоприятные. Я когда-то привык смотреть на это движение и на большинство его лидеров как на группу людей высокой государственной сознательности; людей, для которых догма, как бы она им ни была дорога, отступает на задний план перед нуждой возникающего национального общества; людей, которые не дадут себя застрашать никакой риторикой, ни классовой, ни «интернациональной», когда дело идет о жизненных задачах еврейского возрождения. С их хозяйственной концепцией я был не согласен; но это была — так мне казалось — концепция строителей государства, а не сторожей съестного склада.

В этом пункте за последние годы произошло резкое изменение. Еще в 1922 году г. Бен-Гурион сказал на одном съезде, что социализм палестинских рабочих вытекает только из их сионизма: они считают, что никаким иным путем создать еврейскую Палестину невозможно. «Усиление иммиграции, — сказал он, — вот единственная забота, определяющая нашу деятельность. Наша задача не в том, чтобы выстроить ту или иную форму общественности во имя отвлеченных идеалов справедливости, а в том, чтобы найти действительное разрешение сионистской проблемы... В этом смысле мы не социалисты и не коммунисты, а сионисты». Повторить эти слова теперь было бы со стороны рабочего лидера лицемерием. С лета 1924 года, когда только и началась иммиграция крупная и — по пророческому слову Борохова — «стихийная», в Палестину идет буржуазия с небольшими капиталами, с традицией и навыками индивидуального хозяйства. Ни один искренний рабочий не скажет, что диктатура «Мисрада» в Тель-Авиве, борьба против поддержки хасидских поселков или порабощение ремесленников способствуют «усилению» этой иммиграции. Они как бы рассчитаны на

то, чтобы затруднить ее развитие, отбить охоту к стране, разорить. Это выродилось в прямую и открытую враждебность. «Четвертая алия» стала бранным словом. Недостатки нового типа «польских» иммигрантов признают все, но у других общественных кругов ишува есть все-таки дружественное отношение, желание помочь, готовность признать, что, при всех недочетах, эта волна несет с собою огромные и плодотворные возможности. Но в рабочей среде она вызывает одно почти беспримесное раздражение. «Это не есть взгляд колонизатора, это вражда лавочника к конкуренту, — пишут мне из Палестины, — конкурент ненавистен потому, что затмил вчерашнего *бен-иохид*, и это грозит кончиться отвлечением крупной доли бюджетных средств в новое русло». Сомневаюсь, чтобы кто-либо из рабочих лидеров решился оспаривать правильность этого замечания.

Причинами этого явления я отказываюсь интересоваться. Возможно, что пред нами результат процесса тред-юнионизации палестинского рабочего движения, начавшейся с 1921 г., когда была основана общая и беспартийная «Рабочая организация»: обе старые партии, с их как-никак идеологическим пафосом, стерлись и утонули в чисто экономическом устремлении нового целого. Возможно, что эта потеря государственного горизонта во славу группового эгоизма есть неизбежное явление при росте рабочего элемента и связанных с этим забот. Я тут никого не «сужу» и никому не ставлю отметок за добрые или злые намерения. Но результат ясен: движение, которое четыре года тому назад обещало стать стержнем и опорой всей колонизации, превратилось в группу, отстаивающую свои выгоды независимо от интересов колонизации. Вместо государственного отношения к каждой новой силе, прибывающей в страну, вместо заботливого старания найти для этой силы — какова бы она ни была — подходящую почву, вместо готовности потесниться для нового попутчика, — сам собою сложился упрощенный архиме-

довский лозунг: «не смей трогать, это мое». Вместо колонизатора обнажается «конкурент».

Это все ведет и к моральному измельчанию, иногда к положительным безобразиям. До войны больше 100.000 евреев жило в Палестине, как государство в государстве; свои споры они решали между собою, иногда ходили судиться к консулу, но почти никогда раздоры между ними не принимали площадного характера, чтобы турецкой полиции приходилось их разнимать. Теперь уличные сцены с вмешательством «ирландцев» грозят стать в Тель-Авиве бытовым явлением. Создатели этих сцен прекрасно знают, как они отзовутся на нашем политическом престиже. Но что им за дело? Колонизатор стал конкурентом.

Этот паралич политического нерва в рабочем движении есть, для постороннего наблюдателя, самое тяжелое во всей тяжелой картине. Мы все с детства привыкли смотреть на рабочие партии как на прирожденных борцов против всякой политической кривды. Мы привыкли видеть их во главе каждой честной борьбы, каждого честного протеста. Так оно было еще недавно и в Палестине. Теперь все это изменилось. Рабочее движение отказывается плестись даже в хвосте национального протеста. Оно, в лучшем случае, отмалчивается; в худшем — оно голосует за г. Сэмюэля, печатает статьи и произносит речи в защиту существующего порядка; его лидеры доказывают, что, «собственно говоря», к чему нам земли и что нам за польза от раскрытия дверей страны, когда мы такие бедные, пора вернуться к Хиббат-Цион, когда никто не фантазировал о политических требованиях... — лидеры проповедуют, а масса, как быдло, лишенное смысла и гордости, переизбирает их лидерами.

«Обстановочка» заела. Утучнел Иешурун — и перестал лягаться, даже тогда, когда нужно лягнуть. Создали раздутое хозяйство, вести которое, по видимому, не хватает собственных сил; целыми

днями приходится стоять в очереди у кассы, и касса стала алтарем. На алтаре этом приносится в жертву все остальное. К сионистской экзекутиве применяется одна-единственная мерка — кассовая: платить? Значит, хорошо, и мы не дадим не только сбросить ее, но даже примеркой тревожить не будем. Гвиры? Безответственное агентство? Отмена избирательного принципа? Кастрация конгресса? Все это мелочи, мерка одна: так как у гвиоров есть деньги, то милости просим, и нечего ставить им условия...

Повторяю: может быть, ученые люди докажут мне, что все это неизбежно, что рабочее движение в Палестине объективно должно было получить именно такой, а не иной характер.

Это не мое дело. Я эту тактику называю политическим развратом, эту психологию — коллективной продажностью. Если *это* истинная, раз-навсегдашняя объективно-неизбежная физиономия рабочего движения в Палестине, тогда я ему действительно враг и горжусь этим именем. Если же это есть только извращение, гримаса, навязанная бездарными или трусливыми вожаками; если правда, что массе это противно, что ее тянет к государственному диапазону движения, к роли авангарда в политической борьбе, к роли пионера и регулятора в творении палестинского хозяйства, то тогда слово за массой. *Ваших* вождей, слава Богу, не Джойнт назначает; *ваша* программа еще не подчинена «вето» нью-йоркской биржи: все это в ваших собственных руках. Если вас ведут в трясины, вы виноваты. Не хотите? Выход прост и ясен.

ВОСПОМИНАНИЯ

Из «Слово о полку»

ПЕРВЫЙ ОПЫТ — ZION MULE CORPS

Консул Петров был горячий русский патриот. Как он, помимо того, относился в душе к нашему избранному народу, за это я ручаться не берусь — и вообще сам еще не настолько освободился от пережитков дедовской ксенофобии, чтобы иметь право выслеживать зерна того же недуга в чужой душе. Но патриот он был несомненный, и притом еще сухой и накрахмаленный бюрократ исконного, классического, деревянного образца. Среди нашей молодежи в беженских лагерях оказалось несколько сот русско-подданных. В то время в Египте еще действовали добрые старые «капитуляции», по которым консул имел экстерриториальные права над «своими» подданными. А поэтому консул Петров внезапно предъявил британским властям требование — отправить молодых людей на военную службу в Россию.

Положение получилось неудобное. Отношение наше и нашей молодежи к этому ходу консула Петрова понятно без объяснений. Но британское начальство, согласно капитуляциям, не имело права ему отказать: напротив, обязано было предоставить к его услугам для этой цели все свои полицейские силы.

К английскому губернатору (официально он именовался «советником» при губернаторе-туземце, но правил городом он) отправлена была депутация; и

тут я; старый поклонник эспаньольского еврейства — это, по-моему, лучшие евреи на свете — подметил еще одно их достоинство, которого прежде не знал: как сефард разговаривает с начальством в городе, находящемся на военном положении.

Главным оратором депутации был Эдгар Суарес, банкир обычного банкирского типа, лет пятидесяти пяти, по взглядам — заклятый ассимилятор; с этим губернатором он, должно быть, каждый вечер играл в клубе в покер — но ведь и после этого губернатор оставался губернатором.

Суарес спросил его:

— А вы помните, ваше превосходительство, что творилось в Александрии два года тому назад, когда этот самый консул Петров хотел арестовать русского еврея Р. на том основании, что тот был «политическим преступником» в России?

— Помню, — отозвался губернатор несколько уныло, потому что действительно не забыл еще той громадной демонстрации десяти тысяч эспаньолов на главных улицах Александрии, с этим самым Суаресом во главе толпы.

— А помните, — опять спросил Суарес, — как вам пришлось вызвать пожарную команду, с большой кишкою — а мы все-таки не выдали того «преступника»?

— Еще как помню, — ответил губернатор, теперь уже с улыбкой, потому что в конце концов был он все-таки «а спорт» и умел ценить удачную проделку. — Что же мне было делать, когда какой-то босяк перерезал пожарную кишку?

— Позвольте представиться, — ответил Суарес, — я и был тот босяк.

Губернатор рассмеялся.

— Будьте спокойны, — сказал он, — ваших молодых людей мы не выдадим. Конечно, дело очень щекотливое — капитуляции, военное время... но о выдаче не может быть и речи.

После этого визита к губернатору я пошел знакомиться с И.В. Трумпельдором. О том, что он находился среди беженцев, я знал уже раньше, но никогда его не видел. Он жил на частной квартире. На консула Петрова можно было сердиться за что угодно, но одно надо признать: человек он был корректный. Как только до его сведения дошло, что в числе беженцев имеется бывший русский офицер, потерявший руку в Порт-Артуре, он сейчас же послал к нему передать привет и сообщить, что причитающуюся Трумпельдору пенсию тот может получать ежемесячно в здешнем консульстве. Трумпельдор поэтому ни в чем не нуждался и еще другим помогал.

Я слышал о нем, конечно, еще в России. Хотя следовало бы ожидать, что каждому читателю известна его биография, все-таки, пожалуй, разумнее будет напомнить ее главные черты.

Родился он на Кавказе в 1880 году. Отец его был военный фельдшер, еще из николаевских солдат. «Ося» не видал гетто ни в отцовском доме, ни, конечно, в окружавшей его детство кавказской обстановке.

В университет он не попал из-за процентной нормы, а потому сдал экзамен на звание зубного врача. Тут подошла русско-японская война, и Трумпельдор очутился в Порт-Артуре. Во время знаменитой осады он был ранен и потерял левую руку выше локтя, но, выйдя из госпиталя, снова добился отправки на передовые позиции. У него было четыре Георгия.

После плена и заключения мира он попал в Петербург, получил недосыгаемый в то время для еврея чин прапорщика запаса и был принят на юридический факультет. По окончании университета уехал в Палестину и стал простым рабочим где-то в Галилее. Работал с одной рукой прекрасно. Пришла война, и его выселили.

Сослуживец и друг его, покойный Д. Белоцерковский, рассказал мне такой случай из того времени, когда у Трумпельдора еще были обе руки: он уже был «отделенным» (выше этого чина, даже до млад-

шего унтера, нельзя было тогда еврею дослужиться), и взвод его засел в окопах на сопке перед крепостью. Японцы круто наступали; почти все соседние сопки уже были очищены, во взводе Трумпельдора все старшие чины перебиты — кроме прапорщика запаса, который уже давно ушел по начальству за приказом, что делать, и не вернулся. Солдаты начали ворчать, стали ползти к выходу из траншеи. Трумпельдор стал у выхода с винтовкой и объявил: «кто тронется с места — застрелю». Так и остались они в окопе, пока не опустела и последняя из соседних русских сопки. Тогда он солдат послал в крепость, но сам остался и полез на разведки: осмотрел профиль той местности и пришел к убеждению, что японцев еще можно прогнать. В это время увидел он на равнине, в стороне от огня, офицера в капитанских погонах морского дивизиона, с подзорной трубкой в руках. Трумпельдор спустился к нему и объяснил: если вызвать свежую роту и поставить ее там-то, можно еще отобрать позицию назад.

— Верно, — сказал капитан. — Сбегай, голубчик, вон за тот бугор — там засела моя команда; скажи старшему офицеру, чтобы шли сюда.

Трумпельдор добежал до пригорка, на который сыпались японские снаряды, вскарабкался на вершину — и увидел, что морская команда, не выдержав огня, «отступила»: «только пятки мелькали» — он вернулся к капитану и доложил. Тот глубоко огорчился: сорвал фуражку, ударил себя кулаком по седой голове и застонал:

— Осрамили! Удрали — как жида!

Трумпельдор подтвердил мне потом этот анекдот, очень весело улыбаясь.

Я застал его дома. Вид у него был северянина, можно было принять и за шотландца или шведа. Рост выше среднего; тонкий, жесткие русые волосы коротко подстрижены, выбрит чисто, губы бледные, со спокойной улыбкой. По-русски говорил он хорошо, хотя в Палестине научился немного «петь».

Еврейский язык у него капал медленно, был небогат словами, но точен; на идиш он говорил ужасно. Он был хорошо образован, большой начетчик в русской литературе — читал даже вещи, которых никто не читал, Потемню и т.п. — и помнил каждую прочитанную строчку. По сей день не знаю, был ли он из тех, кого у нас в еврейском быту титулуют «умными». Скорее нет. У нас в это понятие входят всякие пряные приправы — подозрительность, скептицизм, хитроумие, умение перекрутить простую вещь наизуоборот, углубиться до левого уха правой руки позади затылка. Всего этого я в Трумпельдоре не нашел. Зато был у него ясный и прямой рассудок; был мягкий и тихий юмор, помогавший ему тотчас отличать важную вещь от пустяка. Но и о важных вещах он умел говорить просто — без той ходульности, которая иногда чувствуется в его письмах. Говорил он трезво, спокойно, без сентиментов и пафоса, и без крепких слов. В последнем отношении даже русская казарма не повлияла. От него я ни разу не слышал бранного слова, кроме разве одного: «шельма этакий». По-еврейски любимое выражение его было «эн давар» — ничего, не беда, сойдет. Рассказывают, что с этим словом на губах он и умер, пятью годами позже.

С одной рукой своей он управляется лучше, чем большинство из нас с двумя. Без помощи мылся, брился, одевался; резал свой хлеб и чистил сапоги; в Палестине, потом в Галлиполи с одной рукой правил конем и стрелял из ружья. В его комнате был совершенно девичий порядок, платье было вычищено; все его обхождение было спокойно и учтиво; и он издавна был вегетарианец, социалист и ненавистник войны — только не из тех миролюбцев, которые прячут руки в карман и ждут, чтобы другие за них воевали.

В тот день нам долго разговаривать не пришлось: с ним вообще не приходилось долго разговаривать. Не принадлежа к цеху «умников», он именно поэтому

умел сразу понять дело до конца и через четверть часа ответить да или нет. Тут он ответил: да.

Вечером мы — комитет попечения о беженцах — собрались на квартире у М. А. Марголиса; кроме хозяина, были тут иерусалимский врач д-р Вайц, В. Л. Глушкин, Г. Н. Городецкий, американский турист Г. Каплан, З. Д. Левонтин, Трумпельдор, агроном Я. Г. Этингер и я. Перечисляю имена так тщательно, потому, что — выскажись то совещание против нашего плана — не о чем, вероятно, было бы теперь писать эту книгу. Но оно высказалось за: пятеро против двух, один воздержался. Протокол с датой 17 Адара 5675 года хранится у В.Л. Глушкина в Тель-Авиве.

Через неделю мы созвали беженскую молодежь на собрание в бараке «Мафруза». Пришло около двухсот человек. За президентским столом сидел раввин Делла Пергола и другие члены беженского комитета, в том числе седой В.Л. Глушкин.

Мы представили собранию отчет о положении. Требований консула Петрова англичане, конечно, не выполняют; но и вечно оставаться в бараках на чужом иждивении тоже не годится. С другой стороны — рано или поздно — британская армия двинется из Египта на Палестину. Из Яффы ежедневно приходят новые грустные вести: турки запретили еврейские вывески на улицах, выслали доктора Руппина, представителя сионистской организации, — несмотря на то, что он немец, — арестовали руководящих деятелей еврейского населения и заявляют, что после войны уж и совсем никакой еврейской иммиграции не допустят. Итак?..

Документ, который мы в ту весеннюю ночь подписали в этом голом и темном сарае «Мафруза», хранится теперь у В.Л. Глушкина и будет некогда передан в национальную библиотеку нашу в Иерусалиме. Это — кусок бумаги обычного ученического форма-

та; на нем резолюция о том, что учреждается еврейский полк, который предложит англичанам свои услуги для операций в Палестине, и около ста подписей. Первым подписался В.Л. Глускин.

— Я стар, — сказал он, вырывая у меня перо, — в солдаты не гожусь, но ответственность за это решение беру на себя.

На следующее утро, приехав в Габбари, я застал посреди двора целый парад. Три группы молодых людей обучались маршировать; инструктора были из их же среды, из бывших русских солдат. В углу девочки вышивали знамя; особый комитет из гимназистов уже шумел на весь лагерь, обсуждая, как перевести какой-то военный термин на язык Библии. Потом приехал Трумпельдор, все три взвода выстроились в колонну и прошли мимо него — или по крайней мере хотели пройти — церемониальным маршем.

Он сочувственно улыбался.

Я сказал ему потихоньку:

— Маршируют они ужасно. Как овцы.

Он ответил:

— Эн давар.

Через несколько дней мы отправили новую делегацию — в Каир. Прежде всего делегация пошла к министру внутренних дел (официальный чин: «советник при...»). Назывался он тогда мистер Рональд Грэхэм; теперь он сэр Рональд и состоит британским послом в Риме. Он оказался точно такой, каким и в книгах изображают шотландцев: сдержанный, неразговорчивый, хорошо прислушивается, но и вопросы задает скупое. Зато вскоре выяснилось, что дело он делает быстро и точно.

Он спросил: «на сколько рекрут вы рассчитываете?», отметил что-то в записной книжке и сказал коротко:

— От меня это не зависит, но постараюсь.

После этого делегация поехала к генералу Максвеллю, который тогда командовал британскими войсками в Египте. Представил нас ему Каттауи-паша,

милый старенький сефард, один из виднейших нотаблей всего Египта. В делегации были Трумпельдор, З.Д. Левонтин, В.Л. Глускин, М.А. Марголис и я. Бедного Трумпельдора мы заставили нацепить все четыре Георгия: два медных и два золотых. Генерал пристально посмотрел на него и коротко спросил:

— Порт-Артур?

Но ответ его на наше предложение разочаровал нас глубоко:

— О наступлении на Палестину я ничего не слышал и сомневаюсь, быть ли вообще такому наступлению. Кроме того, по закону, я не имею права принимать в британскую армию иностранцев. Могу предложить вам только одно: составить из ваших молодых людей отряд для транспорта на мулах и послать его на какой-нибудь другой турецкий фронт. Больше ничего не могу сделать.

В ту ночь, в номере у Глускина, мы все просидели до утра, обсуждая, что делать.

Нам, штатским, казалось, что предложение генерала Максвеля надо вежливо отклонить. Французское слово «Corps de muletiers», которое он употребил, прозвучало в наших ушах очень уж нелестно, почти презрительно: пристойная ли это комбинация — первый еврейский отряд за всю историю диаспоры, возрождение, Сион... и погонщики мулов? Вторых — «другой турецкий фронт». Что нам за дело до «других» фронтов? Неясно было даже, о каком именно фронте он говорил: первое морское покушение на Галлиполи тогда уже кончилось провалом, а о том, что готовится второе наступление, на этот раз уже с высадкой солдат на самом полуострове, — об этом еще только шептались. Но одно было ясно: в Палестину их не поведут. Значит, надо отказаться.

Другого мнения был Трумпельдор.

— Рассуждая по-солдатски, — сказал он, — я думаю, что вы преувеличиваете разницу. Окопы или транспорт — большого различия тут нет. И те, и те — солдаты, и без тех и без других нельзя обойтись;

да и опасность часто одна и та же. А я думаю, что вы просто стыдитесь слова «мул». Это уж совсем поребячески.

— «Мул», — отозвался кто-то из нас, — ведь это почти осел. Звучит как ругательство, особенно по-еврейски.

— Позвольте, — ответил Трумпельдор, — по-еврейски ведь и «лошадь» тоже ругательство — *bist a ferd!* — но службу в коннице вы бы считали для них честью. По-французски *chameau* — самое обидное слово; однако есть и у французов, и у англичан верблюжьих корпуса, и служить в них считается шиком. Все это пустяки.

— Но ведь это и не палестинский фронт?

— И это не так существенно, рассуждая по-солдатски. Чтобы освободить Палестину, надо разбить турок. А где их бить, с юга или с севера, это уж технический вопрос. Каждый фронт ведет к Сиону.

Так мы ничего и не решили. Идя домой с Трумпельдором, я ему сказал:

— Может быть, вы и правы, но я в такой отряд не пойду.

— А я, пожалуй, пойду, — ответил он.

Утром, вернувшись в Александрию, я застал телеграмму из Генуи. Подпись была: «Рутенберг». Он спрашивал, могу ли я с ним повидаться и где. Его имя и биографию я, конечно, знал; ни разу с ним еще не виделся, — но в Риме, еще до моего отъезда в Египет, мне сказал однажды А.В.Амфитеатров:

— Угадайте, кто теперь сильно заинтересовался сионизмом? Петр Моисеевич Рутенберг. Он говорит, что вмешательство Турции в войну открывает перед евреями блестящие возможности, — и, по-моему, он теперь носит с важными планами. У него тут, кстати, большие связи в правительственных кругах и во Франции тоже.

Прочитав телеграмму, я сейчас же разыскал Трумпельдора и заявил ему:

— Иосиф Владимирович, я уезжаю. Если генерал

Максвель переменит свое решение и согласится учредить настоящий боевой полк, я приеду: если нет, пишу другим генералов.

В средних числах апреля, в Бриндизи, я встретился с Рутенбергом — и там же застал телеграмму от Трумпельдора:

«Предложение Максвеля принято».

Я пишу не историю, а личные воспоминания. Сам я в Галлиполи не был и потому не могу ничего рассказать об отряде Трумпельдора. Но одно должен признать: прав был Трумпельдор, а не я. Эти шестьсот «muletiers» потихоньку открыли новую эру в развитии сионистских возможностей. До тех пор трудно было говорить о сионизме даже с дружелюбно настроенными политическими деятелями: в то жестокое время кому из них было до сельскохозяйственной колонизации или до возрождения еврейской культуры? Все это лежало вне поля зрения. Маленькому отряду в Галлиполи удалось пробить в этой стене первую щель, проникнуть хоть одним пальцем в это заколдованное поле зрения воюющего мира. О еврейском отряде упомянули все европейские газеты; почти все военные корреспонденты, писавшие о Галлиполи, посвятили ему страницу или главу в своих письмах, потом и в книгах. Вообще в течение всей первой половины военного времени отряд этот оказался единственной манифестацией, напавшей на мир, в особенности английскому военному миру, что сионизм «актуален», что из него еще можно сделать фактор, способный сыграть свою роль даже в грохоте пушек. Для меня же лично, для моей дальнейшей работы по осуществлению замысла о легионе, «Zion Mule Corps» сыграл роль ключа, открыл мне двери английского военного министерства, дверь кабинета Делькассэ в Париже, двери министерства иностранных дел в Петербурге.

Но и чисто военная история Галлиполийского отряда тоже представляет собой красивую страницу в

нашей книге военной летописи. Очень жалею, что палестинские друзья Трумпельдора чересчур поторопились с выпуском его писем из Галлиполи. В них Трумпельдор обращался к близкому человеку и интимно рассказывал о печалях и заботах лагерной обыденщины, рассказывал с обычной своей любовью к деталям. Лагерная обыденщина всегда полна мелких дрызг. Возьмите любую из романтических кампаний самого Гарибальди: внутренняя жизнь лагеря и там состояла наполовину из кухонной неурядицы, из ссор между поручиком А. и поручиком Б., из мириада мелких разочарований. Не в этом смысл коллективного действия. Смысл и ценность его в том, что с первого и до последнего дня злополучной черчиллевской авантюры эта группа беженской молодежи несла на себе тяжелую и опасную службу под турецким огнем. Трумпельдор и в этом был прав: для транспорта и для траншей — опасность оказалась одна и та же. Вся занятая англичанами площадь равнялась всего нескольким квадратным верстам; с вершины Ачи-Баба турецкие пушки засыпали картечью все это пространство, от передних окопов до лагеря еврейского транспорта. Под этим огнем им приходилось каждую ночь вести своих мулов, нагруженных амуницией, хлебом и консервами, к передовым траншеям и обратно. Они потеряли убитыми и ранеными пропорционально не меньше, чем остальные полки Галлиполийского корпуса, получили несколько медалей, отслужили свою службу смело, с пользой и честью. Особенно о смелости их писал мне генерал сэръ Иан Гамильтон, главнокомандующий галлиполийской экспедицией: «...они работали со своими мулами спокойно под сильным огнем, проявляя при этом еще высшую форму храбрости, чем та, которая нужна солдатам в передовых окопах — потому что тем ведь помогает возбуждение боевой обстановки...».

Командовал ими подполковник Джон Генри Патерсон, одна из замечательнейших христианских фигур, какие когда-либо попадались на пути нашем за

все столетия рассеяния. Я познакомился с ним много позже и буду еще говорить о нем в дальнейших главах. Трумпельдор, за которым англичане признали чин капитана, был сначала вторым по команде, но к концу кампании Патерсон заболел или был ранен — не помню — и был отослан на излечение в Англию, и тогда командование перешло к Трумпельдору. После ухода англичан из Галлиполи он еще несколько месяцев продержался во главе своего отряда, в Александрии: там они бомбардировали начальство петициями, чтобы их не демобилизовывали, чтобы дали им возможность остаться вместе и подготовиться к моменту начала операций на палестинском фронте; но петиции не помогли. Zion Mule Corps был учрежден в апреле 1915 года, а 26 мая 1916 его распустили. Лишь около 120 из его участников снова попали в солдаты, добрались до Лондона — и из этой группы и вокруг нее там возник тот еврейский легион, который впоследствии, со штыками и пулеметами, принял участие в завоевании Палестины и которому принадлежит ряд могил под знаком щита Давидова на горе Елеонской. Прав был Трумпельдор: хоть победили мы в Иорданской долине, но путь через Галлиполи был правильный путь.

ПРОТИВ ВСЕХ

— Контингент для Палестины? — говорили мне все серьезные люди. — Да кто думает о Палестине?

Во-вторых — сионисты. Организация наша в Англии была тогда еще гораздо меньше и бледнее, чем даже теперь; но война усилила ее серенький состав двумя первоклассными дирижерами из-за границы — Членовым и Соколовым. Оба были против легиона, и это определило общее отношение к моему

плану еще до начала спора. К тому же и единственное идейное влияние, какое хоть немного чувствовалось в очень поверхностной атмосфере этого сионистского захолустья, было тоже для моего дела неблагоприятно: в Лондоне жил тогда Ахад-Гаам, и вокруг него образовался кружок поклонников. Некоторые из них и по сей день воюют против идей еврейского государства и даже еврейского большинства в Палестине.

Исключений было очень мало, именно поэтому мне хочется их перечислить. Джозеф Коуэн и д-р Идер поддержали меня с самого начала до самого конца. Собственно говоря, авторское право на мысль о еврейском контингенте принадлежит им: они еще с первого месяца войны пробовали начать агитацию за учреждение специального еврейского батальона, правда, не для Палестины. Конечно, из этой агитации ничего не вышло; и, конечно, авторитет их был слишком слаб в качестве противовеса таким именам, как Соколов, Членов и Ахад-Гаам.

Одного союзника нашел я в самом центре еврейской массы, в Уайтчэпеле: звали его А. Бейлин, писатель он был хороший, но общественного влияния никакого не имел.

Отдельно стоял Х. Е. Вейцман. Еще в Париже он заявил себя сторонником легиона; в Лондоне мы сблизились еще больше. Месяца три мы даже вместе жили в маленькой квартире, в одном из переулков «богемского» Чельси, в двух шагах от Темзы. Он в то время еще только переселился из Манчестера, оставив университетскую кафедру для работы в правительственных лабораториях; он трудился над усовершенствованием своего химического открытия, которое потом сыграло крупную роль в удешевлении производства взрывчатых веществ, особенно кордита. Эта же работа, собственно, и свела его с тогдашним министром военного снабжения — Ллойд Джорджем. После восьми, иногда десяти, иногда двенадцати часов в лаборатории он еще как-то находил

время каждый вечер шагом дальше двинуть свою политическую работу, вербуя новые связи, привлекая новых и влиятельных помощников. Мы в те месяцы подружились; надеюсь, и теперь не стали врагами — хотя политическая борьба нас далеко разрознила и вряд ли уж когда-либо снова сведет.

Он был сторонником моих планов; но честно признался мне, что не может и не хочет осложнять и затруднять свою собственную политическую задачу открытой поддержкой проекта, который формально осужден сионистским А. С. и чрезвычайно непопулярен у еврейской массы Лондона.

Однажды он сказал мне характерную для него фразу:

— Я не могу, как вы, работать в атмосфере, где все на меня злятся и все меня терпеть не могут. Это ежедневное трение испортило бы мне жизнь, отняло бы у меня всю охоту трудиться. Вы уж лучше предоставьте мне действовать на свой лад; придет время, когда я найду пути, как вам помочь по-своему.

Время такое пришло, он свое слово сдержал, и я это помню. Но тогда, осенью 1915 года и еще долго после того, его сочувствие ни в чем ни могло выразиться и не могло изменить общего тона обстановки, в которой я жил: раздраженная враждебность со всех сторон.

Третьим и худшим из неблагоприятных условий была сама еврейская молодежь. Ист-Энд жил, как всегда, в полное свое удовольствие. Его широкие тротуары, рестораны, чайные, кинематографы, театры каждый вечер наполнялись толпой здоровых, сытых, нарядных молодых людей. Особый остров внутри Англии, отделенный от нее другим еще более глубоким Ламаншем. Здесь я на первых порах не встретил даже вражды: встретил просто равнодушие. Если можно выразить коллективную душу в одной формуле, для них я бы взял знаменитые слова Столыпина: «так было, так будет». Палестина? Жили без нее, «значит» — и дальше можно жить. Она давно уже не

наша, «значит» — и дальше будет не наша. Еврейского полка нет, «значит» — и не будет. И, хоть и сидим мы спокойно по «чайным», пока английская молодежь умирает в окопах, никто нас не трогает; «значит» — и впредь оставят нас в покое. Птичка Божия не знала ни заботы — ни Англии. Их не только нельзя было переубедить, — нельзя было даже смутить их беспечность, заставить их испугаться за собственный завтрашний день: раз сегодня тихо, «значит» — и завтра будет все по-старому. Этот вид импрессионизма, живущего исключительно опытом последней недели, — вообще застарелая болезнь гетто; но ни до того, ни после не довелось мне наблюдать ее в таких дозах.

В этом отношении Уайтчэпел был, вероятно, не хуже и не лучше эмигрантских кварталов любого иного города; но в уайтчэпельской атмосфере чувствовалось еще что-то — что-то неприятное, в чем другие эмигрантские гнезда неповинны. Американское гетто, сколько бы у него ни было недостатков, может все же по праву гордиться своим широким сердцем и щедрой рукой; у него есть традиция (или хоть иллюзия) некоторого идеалистического (или хотя бы только сентиментального) отношения к внешнему миру, к обоим полюсам внешнего мира — сердце их болит за еврейский народ, и они гордятся Америкой. Гетто Парижа в еврейском отношении пассивно, но в нем хоть есть подлинная и благодарная привязанность к Франции. Ист-Энд не любит и не ненавидит: у Ист-Энда вообще нет никакого отношения ни к каким внешним коллективам — ни к народам, ни к странам, ни к классам. Может быть, теперь это изменилось, но тогда это было так. Они сами говорили: какую угодно идею привезите в Уайтчэпел — скиснет, как молоко в духоте.

Исключения были, даже блестящие: но извольте искать иголку в Синайской пустыне.

Помню хорошее слово, полное меткого и горького юмора, что сказал мне один умный тамошний анар-

хист о душе Уайтчэпеля. Это было осенью 1916 года, когда Гросман и Трумпельдор уже прибыли в Лондон, и мы вместе пытались на публичных собраниях убедить еврейскую молодежь, что единственный достойный выход из создавшегося положения — легион; и молодежь отвечала нам шумом, бранью и скандалами.

— Мистер Ж., — сказал мне тот анархист после одного особенно бурного митинга, — долго вы еще собираетесь метать горох об стенку? Ничего вы в наших людях не понимаете. Вы им толкуете, что вот это они должны сделать «как евреи», а вот это «как англичане», а вот это «как люди»... Болтовня. Мы не евреи. Мы не англичане. Мы не люди. А кто мы? Портные.

Привожу это горькое слово только потому, что в конце концов Ист-Энд за себя постоял. Солдат он нам дал первосортных, смелых и выносливых; даже самая кличка «портной» — «шнейдер» постепенно потом приобрела во всех наших батальонах оттенок почетного прозвища, стала синонимом настоящего человека, который исполняет, что положено, не хныча и не хвастаясь, точно, сурово и спокойно. Где-то в последней глубине уайтчэпельской души все-таки нашлось *un je ne sais quoi*, скрытый родничок ответственности, забытое зерно самоуважения, и все это выступило наружу, когда подошла трудная минута испытаний и опасностей. В последнем счете тот анархист оказался неправ — как, вероятно, всегда и всюду неправы критики масс: в последнем счете. Но тогда, вначале, диагноз его подходил, как перчатка: у этой массы, не знаю по чьей вине (может быть, виноват был жесткий холодок их английского окружения), онемел тот именно нерв, который связывает единицу с суммой, с расой, краем, человечеством — и единственная связь с коллективом, еще кое как им, быть может, понятная, сводилась к их ремеслу: я купец, ты учитель, мы портные...

Измумительнее всего при этом была их слепота ко

всему, что творилось за воображаемой стеной, будто бы отделявшей их от остальной Англии. «Никто нас не трогает»... Но первые шаги мои в Лондоне ясно показали мне все симптомы недалекой бури — именно бури над Ист-Эндром. В каждой комнате военного министерства, в каждой лондонской редакции, от каждой кухни и тетки моей английской квартирной хозяйки в Челси — я слышал одну и ту же раздраженную жалобу: наши гибнут по сотне в час — а те молодчики ваши разгуливают с барышнями и играют на биллиарде. В печати уже начинали осторожно вентилировать вопрос о принудительном наборе — пока еще не для Уайтчэпеля, а только для собственных, английских домоседов. Только со сна можно было не разобрать, что скоро, очень скоро дойдет очередь и до безмятежных иностранцев. Но дремать приятно, и того, кто непрошенный пытается будить, люди терпеть не могут.

Таков был главный резервуар человеческого материала, на котором зиждились мои планы; и я был почти одинок; и сионисты меня отлучили от церкви; а Китченер говорит, что в Палестину идти не стоит и что никаких экзотических батальонов он не хочет...

Я не слеп. Все это я видел ясно, взвесил, проверил и подсчитал. Не скажу, чтобы итог мне дался без сомнений и колебаний. Напротив, много было сомнений и много минут уныния. Но итог все-таки получился твердый, и вот он, по пунктам.

Лорд Китченер ошибается: Англии придется воевать на Палестинском фронте.

Лорд Китченер еще в одном ошибся: еврейский легион — не экзотика, а неизбежность и необходимость для самой Англии. Правительство будет вынуждено его создать, потому что общественное мнение Англии заставит его мобилизовать Ист-Энд, — а еврейский контингент для Палестины есть единственная форма, в которой можно провести эту мобилизацию без мирового скандала.

Сионисты ошибаются. Легион и для них необходим — и еще придет время, когда они будут стоять на улицах Уайтчэпеля и рукоплескать его церемониальному маршу.

Уайтчэпель тоже ошибается: его «тронут», и скоро. Единственный выход для его молодежи называется легион. Служить они пойдут — и еще спасибо скажут, что им хоть дана будет возможность биться за еврейское дело.

«Все ошибаются, ты один прав?» Не сомневаюсь, что у читателя сама собою напрашивается эта насмешливая фраза. На это принято отвечать извинительными оговорками на тему о том, что я, мол, вполне уважаю общественное мнение, считаюсь с ним, рад был идти на уступки... Все это не нужно, и все это неправда. Этак ни во что на свете верить нельзя, если только раз допустить сомнение, что, быть может, прав не ты, а твои противники. Так дело не делается. Правда на свете одна, и она вся у тебя; если ты в этом не уверен — сиди дома; а если уверен — не оглядывайся, и выйдет по-твоему.

ПОБЕДА

Кап. Эмери был неутомим: раза два в неделю, не реже, приходил за мною вестовой на плац-парад учебной команды с распоряжением ехать в город. В батальоне это мне создало репутацию не то комической фигуры, не то просто недоразумения. Английские сержанты постепенно перестали принимать меня всерьез в качестве солдата. Когда я, грозно рыча по приказу, налетал на соломенный мешок, избравший немца, и попадал ему штыком вместо сердца в желудок, сержант говорил: «Для Уайтхола — недурно».

В конце концов, произвели меня в чин, который я и перевести не умею: по-английски unpaid Lance-Sergeant, т.е. вроде сержанта, но не совсем, и с жалованием не сержантским, а всего лишь капральским. Добрый знакомый мой, заведывающий винной лавкой общества Кармель в Лондоне, прислал мне десять бутылок палестинского вина, и я «поставил» их сержантам в первый мой вечер в их столовой — той самой столовой, где когда-то мыл столы с таким успехом. К сожалению, преемник мой по этой гигиенической должности далеко не стоял на той же высоте.

* * *

Из более важных свиданий и встреч того времени отмечу здесь только одно.

Ген. Смутс, премьер Южной Африки, приехал тогда в Лондон участвовать в заседаниях военного кабинета. Он играл в то время большую роль; конечно, не столько ради реального веса той военной помощи, какую могла оказать Англии небольшая колония, сколько из-за самой его личности. Как и ген. Бота, за двадцать лет до того Смутс был одним из опаснейших противников Англии на полях бурской войны. Поэтому теперешний его британский патриотизм имел нравственную ценность манифестации во славу государственного строя Британской Империи. К тому же и сам он — человек высокообразованный, воспитанник университетов Голландии, Гейдельберга, Кэмбриджа, интересный писатель и мыслитель. Он — сионист того же типа, что Бальфур или Роберт Сесиль: искренно считает, что декларация Бальфура есть, быть может, лучшее из всех достижений мировой войны. — Его приезд дал окончательный перевес в военном кабинете сторонникам сионизма над противниками (во главе противников стоял, конечно, еврей, покойный Эдвин Монтэгью). Смутсу было тогда на вид не больше сорока лет, хотя он был, конечно, старше. Производил он впечатление хорошо воспитанного, в обращении простого интеллигента

— не английского, а континентального типа; по-английски говорил с акцентом, особенно с гортанным голландским «р».

Он расспросил меня обо всех подробностях плана. Несколько фраз его сохранились у меня в письмах, которые я посылал домой в Петербург. Одна о легионе:

— Это — одна из самых красивых мыслей, с какими довелось мне сталкиваться в жизни: чтобы евреи сами бились за землю Израиля.

Две другие о России, о которой к концу беседы он много расспрашивал. В то время уже было известно, что и армия, и государственный порядок быстро идут к распаду.

— Россия, может быть, и падет, и немцы думают, будто это им поможет: но Самсон больше врагов погубил в час своей смерти, чем за целую жизнь.

— Керенский — святой человек. Но он адвокат: он думает, будто мир есть судебная палата, где побеждает тот, у кого лучшие аргументы. Вот он и аргументирует; а его противники копят динамит.

* * *

По распоряжению военного министра вызвал меня к себе директор отдела вербовки ген. Геддес (впоследствии британский посол в Вашингтоне). Мы вместе выработали, что полк будет называться коротко и ясно: The Jewish Regiment. Форма будет обычная, только вместо фуражки — колониальная шляпа, вроде как у бой-скаутов. Кокарда — семисвечник («менора») с еврейской надписью «Кадима» — это значит и «вперед», и «на восток».

— А кого вы бы хотели командиром? — спросил генерал. — Есть у вас в виду кандидат еврей?

Трудный вопрос. В кармане у меня лежало письмо Патерсона из Дублина. «... По моему глубокому убеждению, вам нужен полковник еврей. Я был бы счастлив опять вести в огонь еврейских солдат; но и

справедливость, и интересы нашего дела требуют, чтобы честь эта досталась еврею».

Правильно — только где такого найти? В ассимиляторском окружении майора Лайонеля Ротшильда можно было найти человека с подходящим чином — но уж очень я разборчив в применении титула «еврей». Изо всей этой компании один только офицер отнесся к нашему делу сразу «по-еврейски» — звали его майор Шенфильд, и он, насколько мог, был нам полезен в первое время моей работы. Джэмс Ротшильд тогда уже перешел из французской армии в канадскую, но он еще был поручик. Л.М. Марголин, тот австралийский поручик, о котором я упоминал в рассказе о Габбари и о котором часто с тех пор думал, был уже, правда, майором, но он стоял где-то во Фландрии со своими австралийцами и не согласился бы уйти с фронта. О полковнике Ф.Сэмюэле я тогда еще не слышал. Но, при всем уважении к упомянутым именам, я и теперь думаю, как думал тогда, что историческую честь эту честно заслужил другой: тот, кто не постыдился стать во главе еврейских «погонщиков» и сумел сделать из них боевую единицу, при упоминании которой военный министр наклоняет голову; тот, кто и в госпитале думал о нас и продолжал нам помогать, составляя книгу, которая потом много нашумела — «С сионистами в Галлиполи»; тот, который поверил в нас с первого момента, когда еще все над нами смеялись.

Я сказал:

— Есть один только кандидат: хоть он не еврей, но полковником нашим должен быть он, и надеюсь, он будет еще нашим генералом: Патерсон...

ЗИГЗАГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУДРОСТИ

Ассимиляторы формально объявили войну. Они отправили к военному министру целое посольство, с лордом Суэтлингом, Лайонелем Ротшильдом и присными. Цель у них была совершенно ясная, и дело шло не только о легионе. Они уже знали, что правительство собирается обнародовать какую-то декларацию в смысле поддержки сионизма; всеми силами они старались этому помешать и логически рассудили, что еврейский корпус на Палестинском фронте, с их точки зрения, еще гораздо опаснее, чем простая декларация на бумаге. Они потребовали от военного министра, чтобы вообще еврейский полк был раскассирован; иностранных евреев, конечно, следует забрать, но распределить по общим батальонам и послать туда, куда посылают большинство солдат, а никак не в Палестину.

— Вот что я могу для вас сделать, — сказал лорд Дарби. — Распределить их по другим батальонам не могу, это дело решенное, но решение о том, чтоб их полк назывался «еврейским» — мы пересмотрим. Он будет носить одно из обычных полковых имен. Будет во всех отношениях рассматриваться как обыкновенный британский полк, и пошлют его туда, куда решат послать.

Через полчаса нам эту новость сообщили в бюро. Еще через час мы ответили контрмобилизацией.

Патерсон, рискуя военным судом, отправил резкое письмо генерал-адъютанту (в Англии это — высший военный шеф военного министерства, главное лицо после министра). Патерсон заявил в этом письме, что в ответе Дарби еврейским плутократам видит измену, нарушение слова и обман еврейских рекрут (у него тогда уже было несколько сот солдат в новом нашем лагере близ Портсмута); что все это — стыд и

позор для доброго имени Англии, и поэтому он просит освободить его от командования.

Х.Е. Вейцман и майор Эмери отправились к лорду Мильнеру, в то время члену военного кабинета, и высказали ему горькую жалобу на уступчивость военного министра. Мильнер, сам глубоко возмущенный, в тот же день устроил себе свидание с Дарби — и получил согласие этого добрейшего государственного деятеля на то, чтобы через неделю представилась ему «контрдепутация», которая предъявит обратные требования и которой он, лорд Дарби, тоже предложит компромисс.

А я вспомнил свое старое кредо: правящая каста мира сего — журналисты. Я поехал в редакцию «Таймса» к м-ру Стиду. Что я ему сказал, не помню; но его ответ у меня записан в подлинной форме, коротко и ясно:

— Завтра «Таймс» скажет военному министерству, чтобы оно не валяло дурака (not to play the fool).

— Но Патерсон не хочет оставаться, — сказал я, — я без него не могу работать.

— «Таймс» посоветует ему остаться.

На следующее утро в «Таймсе» появилась его передовица. Мне говорили, что такой головомойки военное министерство не получало за все время войны. «Таймс» высмеивал бюрократию, готовую считаться с дюжиной тузов, за которыми, кроме их собственной гостиной, никого нет, и ради них пренебрегать идеализмом многомиллионной массы, симпатии которой кое-что значат в мировом учете. Если нужна уступка, переименуйте имя: вместо «еврейского» назовите полк «маккавейским»; но еврейский характер полка и его специальное назначение должны быть сохранены. «И мы надеемся, что полк. Патерсон, негодование которого мы вполне понимаем, изменит свое решение и возьмет назад свою отставку».

После этого выступления газеты-громовержца все остальное уже было сравнительно легко. Лорд Дарби

принял вторую делегацию и сказал им, что за полком сохранен будет еврейский характер и что нет никаких причин опасаться отправки его не на тот фронт, какой предполагался с самого начала; и вообще все будет в порядке. Но в одном отношении правы, по его мнению, джентльмены из первой депутации: звание «еврейский полк» есть почетный титул, и вряд ли уместно сразу давать его контингенту, который еще не успел показать себя на поле битвы. Титул этот нужно прежде заслужить; он, министр, обещает, что немедленно после того, как еврейские солдаты с честью проявят себя на фронте, полк получит и еврейское имя и еврейскую кокарду. Покамест же решено дать им другое имя, тоже почетное — тридцать восьмой батальон королевских стрелков (Royal Fusiliers).

Это обещание он сдержал. После занятия Заиорданья мы официально получили название «Judaean Regiment» и менору с надписью «кадима». Но и до того, еще тут же, в Лондоне, нам разрешили прибить над воротами нашего центрального депо на Чинистрит (дом, куда отправляли рекрут до посылки в Портсмут) вывеску с древнееврейской надписью: «Гедуд ламед-хет ле-Каллаэ га-Мелех». В печати и даже в официальной переписке нас по-прежнему называли «Jewish Regiment». На фронте офицеры и солдаты наши носили на левом рукаве значок шита Давидова: в одном батальоне красный, в другом — синий, в третьем — фиолетовый. Был у нас и «падрэ» — так в английской армии величают полковое духовенство — раввин Фальк, горячий молодой мизрахист и смелый человек под огнем. А злосчастному полк. Патерсону пришлось изучить все тонкости ритуального убоя: он вел переговоры с военным министерством и с портсмутскими мясниками о кашерном мясе, о передних и задних четвертях и жилах и сухожилиях... дальше перечислять не решаюсь, так как я этих правил не знаю; но он знает.

Для меня лично ассимиляторское посольство имело серьезные последствия. Кто-то из членов делегации оказал мне, по-видимому, честь особо протестовать против моей преднаборной пропаганды.

Дело в том, что сотрудники мои изготовили брошюру на идиш — об идее и задачах легиона. Так как закон о конскрипции давал каждому рекруту выбор — служить здесь или ехать на службу в новую свободную Россию, — то в брошюре было несколько страниц о том, что служба на русском фронте тоже не забава.

Брошюра была отпечатана за счет департамента. Департамент выдал мне список тридцати пяти тысяч адресов иностранцев призывного возраста в Англии и Шотландии. (Кстати, еще одна иллюстрация безалаберности: в этом списке людей, не пошедших на службу, я нашел свое имя и адрес..). Кроме того, департамент дал мне 35.000 конвертов со штемпелем «ОНМС» («на службе Его Величества») и десять хромых солдат для писания адресов.

На утро после приема ассимиляторской делегации у лорда Дарби я получил по телефону распоряжение явиться сейчас же в кабинет генерал-адъютанта. По совпадению, это оказался тот же кабинет, где принимал нас с Трумпельдором ген. Вудворт. Опять я вошел церемониально, выпятив грудь и с шапкой на голове. Там уже был Патерсон — тоже в шапке; за столом сидел сам генерал-адъютант, сэр Невилль Мэкрриди, тоже в шапке. Все это имело очень официальный вид и пахло неприятностями.

— Знаком ли вам этот текст? — спросил генерал и протянул ко мне толстую английскую рукопись. Я просмотрел начало.

— Первые строки, сэр, — сказал я, — похожи на брошюру на идиш, которую мы разослали иностранцам, подлежащим воинской повинности; перевод скверный, сэр.

— А я слышал, что русское посольство глубоко

возмущено, — заявил он, — брошюра полна резких выпадов против русской армии.

— Значит, сэр, перевод не только скверный, а хуже. В оригинале таких выпадов нет. А посла Набокова я видел и вчера и третьего дня, говорил с ним как раз о моей пропаганде, и он даже не заикнулся об этой брошюре. Не угодно ли вам, сэр, вызвать его сейчас же — телефон Виктория, номер такой-то.

Он начал сердиться.

— Кто вам, сержант, разрешил рассылать эту брошюру в официальных конвертах?

Мне следовало бы разинуть рот от изумления; помню, что от этого я воздержался, но боюсь, что глаза вытаращил. Что ответить на такой вопрос? Департамент, ему самому подчиненный, выдает мне список адресов, который считается государственной тайной, печатает за свой счет мою брошюру, дает мне 35.000 официальных конвертов, дает мне взвод переписчиков — и после всего этого он, хозяин военного министерства, спрашивает у меня, и.д. сержанта на капральском жаловании, кто это разрешил. Это уже не «руссише виртшафт», а совсем чепуха какая-то. Неужели может у них любой унтер, да еще приезжий, рассестись в любой комнате из дворцов Уайт-хола и распорядиться, приказывать, запрещать — может быть, даже отдать приказ, чтобы кончили войну? Счастье для них, что я «милитарист»...

Но сэр Невилль Мэкриди оказался все-таки умницей, не лишенным чувства юмора: так как я не имел права расхохотаться ему в лицо, то расхохотался он сам и обратился к Патерсону:

— Отправьте сержанта Ж. в лагерь в Портсмуте, а то он и совсем тут у нас все переделает по-своему. Надеюсь, что солдат из него выйдет менее неудобный, чем получился пропагандист.

Я отдал честь и вышел, а в коридоре остался ждать Патерсона. Через десять минут вышел и он.

— Сэр, — спросил я формально, — когда прикажете ехать в Портсмут?

— Ничего подобного, — ответил этот ирландец, который видал в жизни львов-людоедов и потому простых генералов не боится, — у себя в батальоне я хозяин, и мне вас там не нужно. Оставайтесь в Лондоне и продолжайте в том же духе. Едем в депо, я вам подпишу приказ о командировке в Лондон.

Из депо я поехал к Набокову.

— Константин Дмитриевич, правда ли, что посольство возмущено этой брошюрой?

— В жизни не видал и не слышал, — ответил он, перелистывая брошюру, конечно, слева направо и удивляясь, где же начало.

— Может быть, знает Е.А. Саблин, секретарь посольства?

Он вызвал секретаря: тот же ответ. К.Д. Набоков тут же подписал формальное заявление, что брошюра никому в посольстве не известна, секретарь приложил к ней посольскую печать; особой ленточкой они пришили это свидетельство к моей брошюре и даже ленточку припечатали сургучом. Я отвез этот пакет к майору Эмери, а он переслал его генерал-адъютанту, с препроводительным письмом, которого я не читал — но догадываюсь.

«Мэкриди» не английское имя: подозреваю, что сэръ Невилль — тоже ирландец; во всяком случае, он к этому инциденту отнесся, как добрый мальчик, т.е. «забыл». О том, что я остался в Лондоне, устраивая интервью с журналистами и произнося речи, он знал и писал об этом Патерсону, но, очевидно, ничего против этого не имел. Он остался добрым другом легиона; а резкое письмо Патерсона об отставке он сунул в карман и ответил полковнику: «не волнуйтесь, все будет all right»...

* * *

Та же компания и дальше старалась нам мешать. Генерал-адъютант разрешил евреям из других полков переводиться в наш батальон. Многие из них очень этого хотели, да и нам желательно было «подк-

рахмалить» своих новичков примесью опытных солдат. Вдруг оказалось, что полковые раввины на французском фронте откуда-то получили совет или приказ объяснять в своих проповедях, что стыдно английскому еврею служить в нашем батальоне. Меня уверяли, что инициатором был сам «реверенд» Майкель Адлер, главный раввин при армии и прямой начальник всех батальонных «падрэ». Не знаю, так ли это. Бог с ним. Но мы ждали, что к нам переведутся тысячи, а перевелось всего несколько сот.

* * *

Приятно все-таки вспомнить, что нашлись у нас и друзья. Образовался комитет попечения о наших солдатах под председательством лорда Ротшильда; в нем главную роль играли жены руководящих лондонских сионистов. Организовали его г-жа В.И. Вейцман и м-с Патерсон; остальных перечислить не могу, но всем спасибо. Это была совсем не шуточная работа: приходилось проводить в депо не только дни, но и ночи, когда привозили новую партию рекрут и надо было их кормить и поить. Начальником депо был сначала майор Нольс, друг Патерсона, а после него еврей — майор Шенфильд, тот самый единственный еврейский офицер в Лондоне, который с самого начала отнесся к нам по-человечески.

Но лучше всего было то, что мне удалось разыскать Л.М. Марголина. Его привезли раненого в один из лондонских госпиталей, и я к нему туда поехал. Я давно и много слышал о нем и от брата его в Петербурге М.М. Марголина, главного секретаря редакции обеих ефроновских энциклопедий, общей и еврейской, а еще больше — из легенд, которые мне еще за девять лет до того рассказывали о нем в Палестине. Семья переселилась туда еще в первые годы колонизации, когда Элиезер Марголин был ребенком. Поселились они в колонии Реховот. Мальчик выдвинулся и как колонист, и как удалец — «сидит на коне, как бедуин, и стреляет, как англичанин», —

говорили о нем окрестные арабы. После кризиса 90-х годов он уехал в Австралию, долго там скитался, кажется, и пахал, и копал, пока не осел где-то в городе и занялся деловыми делами. В то же время он записался в австралийскую территориальную милицию. Когда началась война, он уже был у них поручиком. Несколько месяцев он провел в Египте, потом попал во Фландрию и там в траншеях дослужился до майорского чина и должности помощника батальонного командира. Крупный, широкоплечий человек, молчаливый, солдат с головы до ног, у себя в батальоне и царь, и отец, и брат для своих boys; притом изумительный хозяин и организатор.

— Идем к нам, Лазарь Маркович.

— Боюсь. Евреев боюсь: с ними нужно разговаривать...

Но он к нам пришел. Генерал-адъютант помог уладить формальные трудности с переводом из австралийской армии в английскую (это, кстати, связано было со значительным понижением жалованья), и Марголин с чином подполковника стал начальником нашего второго батальона, на официальном языке — 39-го.

* * *

О том, как жили наши солдаты в лагере близ Портсмута, сам я ничего рассказать не могу. Я только раз там был и чувствовал себя как чужой. Полк. Патерсон познакомил меня со своими офицерами, но ему пришлось это сделать у себя в комнате, так как в офицерскую столовую он не имел права меня пригласить. В сержантской столовой я нашел старых друзей: Ричард Кармель был в чине батальонного сержант-мажора, и многие из моих приятелей по «16-му взводу» уже носили сержантские нашивки. Но все остальные меня стеснялись, и я их.

Поздно ночью, помню, я стоял один посреди большого двора, освещенного месяцем и снегом, и осматривался кругом со странным чувством. Низенькие

бараки со всех сторон, в каждом по сотне молодых людей — ведь это и есть тот самый еврейский легион, мечта, так дорого доставшаяся; и в конце концов я тут чужой, ничего не строю и не направляю. Совсем вроде сказки: дворец Аладину построили незримые духи. Кто такой Аладин? Никто, ничего; случай подарил ему старую заржавленную лампу, он хотел ее почистить, стал тереть тряпкой, вдруг явились духи и построили ему дворец; но теперь дворец готов; он стоит и будет стоять, и никому больше не нужен Аладин с его лампой. Я задумался и даже расфилософствовался. Может быть, все мы Аладины; каждый замысел есть волшебная лампа, одаренная силой вызывать зиждительных духов; надо только иметь терпение тереть и скрести ржавчину, пока — пока ты не станешь лишним. Может быть, в том и заключается настоящая победа, что победитель становится лишним.

С той ночи я стал лишним, и очень рад, что дальше можно будет писать этот рассказ, не так часто употребляя слово «я». Не моя вина, что повесть о родовых муках легиона пестрела до сих пор этим неприятным местоимением через каждые пять строк или чаще; но, славу Богу, конец. На публичных митингах, особенно в Америке, меня иногда представляли публике, как того самого господина, который «шел во главе легиона». Прошу отметить, что сего никогда не было и быть не могло. «Легион» состоял из 10 тысяч человек, из них 5 тысяч были фактически в Палестине; они составили три батальона, и во главе каждого из батальонов стоял полковник с большим военным опытом. В одном из этих батальонов, среди двадцати с чем-то лейтенантов, был поручиком и я и командовал взводом в 50 или 60 человек; да и то по особой милости. За два дня до отъезда батальона в Палестину меня произвели в офицеры с каким-то очень сложным обходом английской конституции. Я уже писал, что по конституции воспрещено давать фактические права офицеру-иностранцу. «Есть

только два исключения, — дразнил меня Патерсон, — кайзер Вильгельм и вы; и его уже выкинули». Не знаю, правда ли это; но точь в точь как кайзер Вильгельм ничего не значил в британской армии, так я ничего не значил в легионе. Ничего против этого не имею; так и должно было быть; когда был с полком, я старался играть роль поручика прилично, все равно как прежде старался хорошо мыть столы в сержантской столовой под Винчестером: и я люблю оба воспоминания.

* * *

2 февраля 1918 года первый еврейский батальон с привинченными штыками промаршировал по главным улицам Лондона, включая Уайтчэпель. Солдат наших специально привезли из Портсмута и приняли с большими почестями. Ночевали они в Тоуэре, среди монументов шести столетий английской истории; самое право идти через Сити со штыками на дулах было привилегией — Сити сотни лет воевало за то, чтобы королевские солдаты не смели в нем показываться с привинченными штыками. На крыльце Мэншон Хауза, среди пышной свиты, стоял в своих средневековых одеждах лорд-мэр и принимал салют еврейского батальона. Комично: рядом с ним я вдруг увидел майора Р., одного из злейших противников наших, члена той ассимиляторской делегации, — он стоял весьма гордо и победоносно, явно греясь на солнышке нашего успеха, раз не удалось ему помешать.

Из Сити батальон направился в Уайтчэпель. Там ждал нас тот самый генерал-адъютант сэра Невилль Мэкриди со своим штабом, и десятки тысяч народу на улицах, в окнах, на крышах. Бело-голубые флаги висели над каждой лавчонкой; женщины плакали на улицах от радости; старые бородачи кивали сивыми бородами и бормотали молитву «благословен давший нам дожить до сего дня»; Патерсон ехал верхом,

улыбаясь и раскланиваясь, с розою в руке, которую бросила ему барышня с балкона, а он подхватил на лету; а солдаты, те самые портные, плечо к плечу, штыки в параллельном наклоне, как на чертеже, каждый шаг — словно один громовой удар, гордые, пьяные от гимнов и массового крика и от сознания мессианской роли, которой не было примера с тех пор, как Бар-Кохба в Бетаре бросился на острие своего меча, не зная, найдутся ли ему преемники...

Молодцы были эти портные из Уайтчэпеля и Сого, Манчестера и Лидса. Хорошие, настоящие «портные». Подобрали на улице обрывки разорванной народной чести и сшили из них знамя, цельное, прекрасное и вечное.

На следующее утро мы выехали из Саутгемптона во Францию — Египет — Палестину.

ПРАЗДНИК ЕВРЕЙСКОЙ ПАЛЕСТИНЫ

Как только мы вернулись в Хельмию, полк. Патерсон учредил специальную «команду вербовщиков». В нее вошли унтер-офицеры и солдаты, знавшие по-еврейски; во главе он поставил лейтенанта Липси и приказал ему: «через месяц вы должны говорить по-ихнему, как сам пророк Исая». Липси происходил из религиозной семьи в Глазго и молитвы знал наизусть. Наш падре утверждал, что этого совершенно достаточно, что он берется доказать кому угодно всю важность службы в легионе при помощи тех исключительно слов, какие имеются в молитве «восемнадцати благословений». Тем не менее Липси пришлось заучить еще, по крайней мере, ту терминологию строевой команды, которую выработал наш «16-й взвод» во время прогулок в окрестностях Винчесте-

ра. Правда, согласия штаба на набор в Палестине еще не было, но Патерсон считал, что будет. По его мнению, «если Господь Саваоф, Бог Воинств, даже фельдмаршала Китченера не послушался, то уж он и простого генерала не слушается».

Незадолго перед Пасхой прибыл второй наш батальон, официально «39-й», с полк. Марголиным во главе; половина его состава были американцы. Еще через неделю прибыла «сионистская комиссия» с Х.Е. Вейцманом во главе; кап. Ормсби-Гор состоял при ней в качестве *officier de liaison* между комиссией и ставкой. К составу комиссии принадлежал также Джэкс Ротшильд, уже в чине майора, и в то же время он числился офицером в батальоне Марголина. Все это заставило советников ген. Алленби, наконец, догадаться, что лондонское правительство действительно заупрямилось и настаивает не только на сионизме, но притом еще на легионе.

Тем не менее «Гитнадвут» еще надолго осталось движением опальным и потому «опасным». Нашлись добрые друзья из окружения ставки, которые дружески советовали сионистской комиссии держаться подалеже от этого шума. У нас, как известно, советы такого рода всегда охотно принимаются. Чем больше в совете робости, тем больше мы в нем видим государственной мудрости — хотя бы мы при этом рисковали повредить важному и полезному делу.

Был такой день, когда я действительно боялся, не повредит ли государственная осторожность моих милых друзей из палестинской комиссии всему делу «Гитнадвут». Смелянский созвал у себя в Реховоте массовый съезд всех волонтеров. Собралось до тысячи человек, из Яффы, из колоний, даже из Иерусалима — по большей части пешком, потому что на проезд по железной дороге нужно было разрешение, а извозчик дорого стоил. Говорю «извозчик», так как автомобилей в Святой Земле, кроме военных, еще не было: первый «штатский» автомобиль привезла с со-

бою сионистская комиссия, и старожилы качали головой, не одобряя такой роскоши. А пешком из Иерусалима значило: два дня пути по апрельской жаре.

Комитет волонтеров пригласил на съезд всю сионистскую комиссию: никто не явился. Я, признаюсь, растерялся. Патерсон, конечно, не побоялся бы приехать, несмотря на то, что Реховот — в двух шагах от штаб-квартиры сердитого генерала Больша; но Патерсон был в Египте. В полной растерянности я бросился во встречный автомобиль и уехал в ставку, прямо к ген. Клейтону — тому самому, который впоследствии был статс-секретарем во время комиссарства Герберта Сэмюэля. Я попросил его послать в Реховот какого-нибудь офицера чином повыше или хоть написать ободрительное письмо.

Он развел руками беспомощно:

— Не могу. Скажите им устно, что они молодцы, и что я надеюсь...

С этим слабым утешением мне и пришлось поехать в Реховот.

Но там оказалось, что съезду никаких внешних ободрений и не нужно: в них самих достаточно было электричества. С громовыми овациями самим себе они снова подтвердили свою волю биться за Палестину. Было даже внесено предложение — тут же выстроиться в колонну и отправиться в Безр-Яков на личные переговоры с Алленби. Едва мне удалось их отговорить: это с моей стороны было весьма мудро и осторожно, и по сегодняшний день я об этом жалею: уверен теперь, что поход на ставку увенчался бы успехом и ускорил бы начало набора на несколько месяцев.

Тем не менее съезд и без того «передался» в штаб-квартиру. Перед самым зданием, где происходило собрание, стояла палатка офицера осведомительной службы; это был капитан, имени которого я так и не узнал. После собрания он меня вызвал к себе в палатку.

— Что это такое?

— Еврейские волонтеры. Ген. Клейтон передал мне для них приветствие.

— Странные люди, — сказал он, — рвутся в армию... здорово живешь, когда их никто не тащит. И еще на четвертый год войны, когда всем нам она давно надоела. Сколько их? Целый час они тут маршировали мимо моей палатки. Тысячи две или больше?

— Ммм... — ответил я «осторожно», — не успел сосчитать; но много.

— Приличные молодые люди, — сказал он, — и маршируют в ногу. Придется послать доклад.

Так и «дошли» они до ставки, хотя только на бумаге.

* * *

В конце концов набор был объявлен, и даже противники признавали, что такого подъема Палестина не знала ни до того, ни после. Но мне его почти не удалось видеть. В начале июня мой батальон уже был на фронте, в горах Ефремовых, на полдороге между Иерусалимом и древним Сихемом, который арабы называют Наблус. Меня оттуда вызвали на два-три дня в Иерусалим, произносить какие-то речи, явно никому не нужные; и там я увидел малый уголок этого, действительно, незабываемого зрелища. Там ко мне приходили старые и молодые матери, сефардки и ашкеназийки, жаловаться, что медицинская комиссия «осрамила», т.е. забрала их сыновей. Лейтмотив этих жалоб звучал так: «стыдно глаза на улице показать». Больной еврей, по виду родной дед Мафусаила, пришел протестовать, что ему не дали одурачить доктора: он сказал, что ему 40 лет — «но врач оказался антисемитом». С аналогичными жалобами приходили мальчики явно 15-летние. Скептики шептали мне на ухо, что многих гонит нужда; может быть, — но они все помнили битву под Газой и знали, на что идут. А мне говорили, что иерусалимская картина еще была ничто в сравне-

нии с тем «коллективным помешательством», которое охватило в те дни Яффу и колонии, особенно рабочую молодежь.

Майор Ротшильд, заведывавший вербовкой, предложил мне на обратном пути сделать крюк и заехать в Яффу. Там я снова увидел своих друзей из Реховота, но теперь они глядели победителями. Тут были: Смелянский с молодежью из колоний, Гоз и Каченельсон с чуть ли не полным составом партии Поалэ-Цион, Свердлов с еретиками из второй рабочей партии, Явнеэли со своими йеменитами, был тут молодой Бейлис, сын героя знаменитого процесса; был юный Узиэль, сын раввина сефардской общины, с эффектной группой сефардской молодежи. Вперемежку с ними бродили по Яффе члены нашей команды вербовщиков, еще более старые друзья, проделавшие с нами самые горькие дни одиночества и разочарований: инженер Аршавский с нашивками капрала, Гарри Фирст в одежде рядового; и, наконец, самые «старые» из всех, товарищи мои по Габбари и Трумпельдора по Галлиполи — сержант Нисель Розенберг, волжские «геры», грузинские «швили»... Все они собрались во дворе женской школы. Вокруг была вся Яффа с Тель-Авивом, стар и млад, все разодетые в свои убогие праздничные наряды, девушки с цветами в волосах, многие с флажками; офицеры английские, офицеры итальянские из отряда, стоявшего в Тель-Авиве, и зрители-арабы, очевидно, в таком же хорошем настроении, как и мы.

Перед этими столпами Гитнадвут я произнес нравоучительную проповедь, которая, может быть, оказалась не столь ненужной, как иерусалимские речи:

— Друзья, учить вас храбрости не за чем. Но не это главное. В жизни солдата страшнее всего не опасность, а две другие стороны армейской жизни: скука и грубость. С опасностью встречаешься раз в месяц; но в промежутке между двумя атаками нужно несколько недель просидеть в траншеях или в тылу, проделывая нудные, надоевшие поденные работы, в

которых нет ни соли, ни перцу — и при этом сержант, хотя бы из вашей собственной среды, будет еще обзывать вас *bloody fools* или эквивалентом этого титула по-еврейски. Научитесь и это выносить. Лучший солдат не тот, кто лучше стреляет, — лучший тот, кто больше в силах вынести... Более того: когда английский унтер ругается, не считайте его хамом. Англичане сегодня наши партнеры в войне — в деле, которое они называют «игра». Для нас это не игра, у нас философия жизни другая, — но и в их философии есть своя красота. В игре человек всегда и честнее, и терпеливее, чем в жизни. Купец может обсчитать покупателя и глазом не моргнет — но за картами он счел бы позором передернуть: ибо, если не в жизни, то хоть в игре хочется человеку прожить час без страха и упрека. Помните, в детстве вы играли «на щелчок по носу»: кто проиграл, принимал покорно свой щелчок — но попробовал бы тот же мальчик щелкнуть вас по носу в действительной жизни! Так смотрит на жизнь англичанин: все в ней игра, а война в особенности. Капрал ругается? Да ведь это просто щелчок по носу, это в правилах игры, сердиться не полагается. Грязно в траншее? Это просто плохая карта попалась в игре, потерпи до следующей раздачи. Пуля, граната, рана и смерть — все это части игры. Вообще я в их философию мало верю, но для войны она хороша. Играйте по правилам, не считая ни щелчков, ни битых карт...

Перед отъездом я встретил в Тель-Авиве Х.Е. Вейцмана. Он был наполовину в восторге, а наполовину зол.

— Вы начисто подмели всю страну, — говорил он Джэмсу Ротшильду, — откуда брать нам теперь рабочих, учителей, служащих?

Потом, однако, перед отъездом волонтеров в лагерь на учение, он им на торжественном параде передал еврейское знамя и произнес, глубоко взволнованный, слова красивые и трогательные: поблагодарил их от всего народа за грандиозную манифеста-

цию, которая поможет укрепить наши права на Палестину, и пожелал им успеха и победы.

Я этого уже не видел и не слышал, только прочел в письме в наших траншеях на горе Ефремовой.

* * *

Одна часть волонтерского движения осталась исключенной из общей радости: девушки. Говорить с англичанами об «амазонках» было бы, конечно, совсем напрасно, да и сами они всерьез об этом не думали; но на образование «красного щита Давидова» они надеялись крепко.

Добились мы и этого, но уже много позже, и в очень малых размерах. Маленькая группа сестер была в конце концов принята на военно-медицинскую службу; должен признать, что отбор девушек, имевших нужную подготовку, происходил в моем присутствии, и только эти немногие и оказались подготовленными. Тем не менее, группа получила официальное звание «Red Magen-David» и особый значок; и служили они в том госпитале, куда главным образом и попадали наши солдаты после перемирия. Госпиталь находился на железнодорожной станции Била, у самой египетской границы, а в получасе езды оттуда была Рафа, где почти всегда стоял какой-либо из трех еврейских батальонов.

Сестры они были хорошие; но не этим одним я считаю себя вправе похвастаться. В нашем народе еще застряло, к сожалению, несколько восточных предрассудков, и потому я немного боюсь, что иной из читателей найдет неуместным эпизод, который я сейчас расскажу. Я, однако, его расскажу, так как твердо считаю «Восток» — в духовном или бытовом смысле — самым обидным из бранных слов, и думаю, что еврей — древнейший из европейцев. А одно из отличий европейской культуры — умение гордиться привлекательностью своих женщин. Помню, что во время первых съездов Лиги наций в Женеве вся печать говорила об умном трюке англичан: их де-

легация привезла с собою в Женеву, как на подбор, всех очень миловидных машинисток. В самой Англии красивых девушек совсем не так много: тут был именно подбор, и совершенно правильно, ибо это и есть кусок национальной гордости.

Эпизод произошел в упомянутой Рафе. Неподалеку от нашего лагеря во время перемирия устроены были скачки: там рядом с нами стояла кавалерия «Анзаков» (инициалы австралийских и новозеландских войск). Наш батальон был приглашен, и Патерсон привез с собою двух из наших сестер, которые были в тот день свободны от дежурства. «Анзаки», со своей стороны, пригласили своих дам, все из того же госпиталя: большинство из них были очень элегантны в своем форменном платье, много было недурных собою, и почти все, кажется, «из хорошего общества». Но в перерыве между началом и концом скачек, именно вокруг наших двух сестер собралась самая большая толпа: тут был и начальник «Анзаков» ген. Чейтор, и его штаб с полковниками, майорами и капитанами, человек двадцать, если не больше. наших офицеров они совсем оттеснили (за исключением Патерсона, который считает, что ирландца от молодых дам нельзя оттеснить), и почти все время перерыва шла там перестрелка остроумия, смеха и комплиментов. Я был очень рад — издали, потому что и меня оттеснили.

* * *

Но уж это все было во дни перемирия, а пока речь идет о последних месяцах войны. Весело тогда было в Палестине, весело, несмотря ни на что.

Еврейское население только что пережило несколько страшных лет. До войны в Иерусалиме считалось 60 тысяч евреев: теперь осталось около двадцати двух тысяч; уехать удалось лишь немногим, остальные вымерли от голода и болезней. До сих пор (говорю о весне 1918 г.) нищета в Иерусалиме чувствовалась на каждом шагу. Дети подбегали на улице

и просили: «Не давайте мне денег, купите мне хлеба»... В прежние времена только у Стены Плача можно было встретить еврейских нищих, и то стариков; даже «халуканцы», жившие заграничной милостыней, держали своих мальчиков с утра до ночи в школе, девочек дома. Но теперь дети были на улице — и, говорят, не только за подаванием...

Но и другая, еще горшая трагедия пронеслась, едва за год до того, над палестинскими евреями. Они ее называли «риггуль» — по-еврейски это значит шпионаж. Сильный, даровитый и большой человек — большой и в талантах, и в пороках — вывезал, под самым носом у Джемал-паши и его турецкого и немецкого штаба, тайную сеть для помощи английской разведке. Он устроил правильную связь между своим центром в Палестине и ставкой Алленби в Каире; несколько раз агенты его перебирались туда и обратно в подводных лодках англичан. Англичане считают, что эта организация им значительно помогла; но евреи по сей день говорят о ней с ужасом и отвращением. Кто прав и неправ, не наше дело. Среди лиц, замешанных в это дело, бесспорно, были фигуры значительного размаха, готовые рисковать чем угодно вплоть до последней жертвы; еще найдется когда-нибудь поэт и зарисует эти образы, их грехи и героизм, их легкомыслие и отвагу. Но еврейское население дорого за все это заплатило.

От Рушука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликаая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи...

Сарру Аронсон два дня пытали турки в колонии Зихрон-Яков, били бамбуками по пяткам, клали горячие яйца под мышки; на третий день она улучила миг и застрелилась, не назвав ни одного имени. Трех ее товарищей повесили на площади в Дамаске. Другим выламывали пальцы, выворачивали руки. Страшное было время.

И вдруг, 2 ноября 1917 года, прогремел под Газой первый пушечный выстрел нового наступления, и в несколько недель освободился весь юг и вся Иудея, от Иерихона до Петах-Тиквы и Яффы. И тогда евреям рассказали, что в тот самый день 2 ноября раздался и в Лондоне другой выстрел, направленный против древней твердыни Изгнания, — декларация Бальфура; и что «еврейская армия», о которой у них давно шептались, уже в пути, идет освобождать Самарию, Галилею, Заиорданье — времена мессианские настали!

Жителю многолюдных городов трудно будет понять, как воспринял это крохотный народ еврейской Палестины. Всего их было тысяч пятьдесят. Когда вдруг повеет великий дух над малой общиной, получают иногда последствия, не далекие от чуда; в этом, может быть, разгадка тайны Афин и того непостижимого столетия, которое породило и Перикла, и Сократа, и Софокла — в городишке с тридцатью тысячами свободных граждан. Я, конечно, не приравниваю ни талантов, ни значения; но по сумме чистого идеализма Палестина в те дни могла поспорить с каким угодно примером. В конце концов, там сосредоточился отбор из двух эпох сионистского движения, до Герцля и после Герцля; там по улицам часто проходили скромные, мешковато одетые люди, именами которых, когда они умрут, потомство назовет эти самые улицы. Они пережили насмешку, равнодушие, сто неудач, пытку и голод — и теперь у них на глазах совершались первые шаги осуществления древнейшего из пророчеств. Может быть, я преувеличиваю; но мне кажется, что история мало знает других страниц, где бы так тесно переплелись, и в такой неслыханной мере, такая древняя древность, такое величие воспоминаний, такая глубина падения и горя, такой полет надежды. Может быть, то же было в Греции, сто лет назад, во время освобождения; а может быть, и там было не так.

Притом сильно чувствовалось, в конце концов, за-

холустье, где каждый каждого знает, и всякая мелочь кажется событием; но это, право, не вредило торжественности общего настроения. Мне это, по крайней мере, было мило. Вся «знать» Иерусалима и Тель-Авива и колоний волновалась о том, удастся ли уютно расселить членов «сионистской комиссии». На автомобиль этой комиссии приходили смотреть из Экрона, Гедеры и Артуфа, за десятки верст.

Потом прибыла из Нью-Йорка первая партия «Гадассы» с д-ром И.М. Рубиновым во главе, около тридцати врачей и сестер и пуды всяких лекарств и целый парк автомобилей, и подо всем ясный намек на те миллионы и миллиарды, которые вот-вот поплывут из этой Америки на строение Еврейского Государства...

Точно так же преувеличивали они и «опасности». Девушки ходят гулять с австралийскими солдатами: не грозит ли это порчей нравов? Несколько предприимчивых бедняков открыли лавчонки и продают англичанам «кекс»: что ж это такое, неужели Палестина становится страной рестораторов? Не хотим второй Швейцарии! В обиходе появилось слово «ол-райт»: берегите национальный язык — идет ассимиляция!

Право, все это не портило впечатления красивой, наивной радости. Я недолго с ними прожил, больше все налетами, по пути из Египта в штаб или с фронта в Каир; но никогда в жизни еще не доводилось мне так надышаться воздухом чистого детского счастья.

... Это все было весною. А в октябре, когда мы вернулись из Заиордания, после победы союзников на всех фронтах, уже все было по-иному.

НАШИ СОЛДАТЫ

Солдатскую массу нашу надо разделить на три главные группы: «англичане», палестинцы и американцы.

Об «англичанах» мало что осталось сказать. О том, что презрительная кличка «портные» стала у нас постепенно почетным титулом, я уже говорил. Уайтчэпель дал нам, бесспорно, хороший материал, ничем не хуже других солдат британской армии. Иногда мне даже импонировала непреклонная суровость их настроения. Без увлечения, без энтузиазма к чему бы то ни было на земле, кроме своего личного «дома» с женой и детьми, равнодушные к сионизму и к Палестине, обиженные на всех и все за то, что их посмели потревожить и послали на край света отвоевывать страну, до которой им дела нет, — они точно и аккуратно справляли свою службу от аза до ижицы, от чистки пуговиц до настоящего героизма. В наших батальонах бывали тяжелые моменты, приступы массового нетерпения, которые иногда грозили привести все наше дело к гибели, — но никогда в этом не участвовали «портные». Для них все — опасность, жара, грубость, беспредельная скука перемирия, спанье на камнях, ночная стража на горе, малярия, рана, пустая фляжка, где не осталось ни капли воды, — все это были для них составные элементы «подряда», который, хочешь не хочешь, пришлось на себя взять, а потому, раз уж «подрядился», надо выполнить, как полагается.

Коллективной жизни я у них не заметил: ни общих идейных интересов, ни собраний, ни даже кружковых сближений. Жили они группками, по произволу случая — кого капрал с кем поселит в одной палатке. Раз оказались соседями, значит, надо друг другу помогать, играть вместе в карты, вместе ворчать на полковые порядки и вместе вспоминать о доме, не

тоскуя о вчерашних соседях. Тосковать разрешается только по «доме».

Войну они ненавидели, как дикое безумие пьяного необрезанного мира, безумие, которому нет и не может быть никакого нравственного оправдания. Добровольцев, особенно палестинских, они искренно считали идиотами. А с другой стороны — такой факт. После брест-литовского мира кто-то в штабе Алленби додумался до простого способа, как избавиться от нашего легиона: ведь эти солдаты — «русские». Патерсон внезапно получил приказ созвать батальон и объявить, что каждый, кто захочет, может перевестись в нестроевые роты. Откликнулись всего два человека. Почему только два? Не знаю. Как не знаю, почему они же оказались первыми боксерами на всю британскую армию в Палестине, побив, одного за другим, чемпионов всех других полков, так что на заключительном состязании в Каире между «Англией» и «Австралией» Англию представлял наш рядовой Бурак.

Палестина их не интересовала. Однажды, во время перемирия, было объявлено по полку, что можно записываться в групповые поездки по стране. Никто из них не записался, а на другой день полковник получил письмо без подписи: «Этого нам не нужно. Мы сюда не приехали смотреть на пейзажи — мы приехали служить, служили прилично и вас, сэр, ни разу не посрамили; а теперь очередь за вами, похлопочите, чтобы нас скорее отправили домой».

Но, мечтая о «доме», они делали свое дело и не топтали ногами, и оттого, должно быть, их и демобилизовали много позже, чем американцев. Итог: первыми приехали, уехали последними; чужими пришли и чужими ушли; а между началом и концом была Иорданская долина. Странная психология, мне мало симпатичная; но не могу ей отказать в цельности.

* * *

Я сказал: «уехали последними» — конечно, последними из тех, которые приехали. Самый послед-

ний остаток еврейского полка, продержавшийся на посту до лета 1921 года, состоял из палестинцев.

Об этих волонтерах Х.Е. Вейцман сказал однажды ген. Алленби: «Лучших солдат и у Гарибальди не было», — и правильно сказал. По крайней мере три четверти «Гитнадвута» представляли редкий человеческий отбор. Смелость их была того калибра, какому научил нас Тель-Хай, где стояло пятьдесят человек против тысячи: не просто бесстрашие, но и прямая тоска по жертве. Притом, в значительной части, молодежь высококультурная и в смысле духа и в смысле внешнего обряда — вежливая, с рыцарскими понятиями о чести, товариществе, долге. Многие из них знали страну, как свою ладонь; многие говорили по-арабски, как арабы; некоторые хорошо знали по-турецки; добрая половина умела обращаться с конем и с ружьем. Всякий другой главнокомандующий ухватился бы за таких людей двумя руками. Алленби — или его штаб — на полгода оттянул их прием на службу, а потом старался держать их подальше.

Обучали их в Египте, в местности Телль-эль-Кебир; даже того, чтобы их оттуда перевезли в Палестину, пришлось особо добиваться. Сделала это г-жа Грозовская (сын ее, Аммигуд, был одним из главарей добровольческого движения): собрала депутацию из дам, у которых были в полку сыновья, и добилась свидания с Алленби. Они ему сказали: «По стране носятся разные беспокойные слухи, а молодежи нашей с нами нет; нам «жутко». Через две недели «40-й батальон» привезли в Сурафенд, недалеко от Луда.

Внутренняя жизнь их была очень богата: другого такого интеллигентного батальона, вероятно, во всей армии не было. У них была библиотека тысяч в пять томов — совершенно, кажется, беспримерная вещь для новорожденного и притом временного лагеря. Из своего лагеря они управляли рабочим движением в стране, дирижировали настроениями интеллигенции, посылали делегатов на съезды Ваад-Земанни (так на-

звался предшественник теперешнего «сейма» — Ваад-Леуми). Капрал из почтового отделения сказал мне однажды: «Случаются дни, когда десять рядовых из 40-го батальона получают больше писем, чем вся ставка целиком!» Когда у «сионистской комиссии» возникал какой-либо серьезный вопрос — план большой колонизации в районе Негева, с которым одно время много носились, или разработка проекта палестинской конституции для представления Лиге наций — на совещание вызывались делегаты «гедуда». При этом они умудрялись нести военную службу аккуратно и точно, как я уже рассказывал, даже в самых парадоксальных условиях.

Лично мне больше всего нравилась группа бывших яффских гимназистов, первого и второго выпуска. Эту гимназию много у нас бранили: и за якобы «критическое» отношение к Библии, и за совместное воспитание мальчиков и девочек, и просто педагогически. Во всем этом мне не разобраться; знаю только то, что на большинстве ее воспитанников того периода лежал общий нравственный отпечаток, и хороший, с высокою меркою требований к самим себе в смысле долга, товарищества, рыцарства, мужества, даже манер и с великою готовностью к жертве за страну и идею.

Их я и знал ближе; о других группах судил скорее издали. Было много сефардов; лучшая в них черта — здоровая непосредственность в отношении ко всему, до чего ашкеназийскому еврею приходится «додумываться». Палестина, еврейская армия, еврейское государство — для них это все не проблемы, а вещи данные и бесспорные, как нос или рука. Они, по моему, единственное племя среди евреев, сохранившее коренной, мужицкий здравый смысл — «конское чутье», как выражаются англичане, тот инстинкт, который помогает лошади ночью в горах найти дорогу, если только всадник перестанет дергать за уздечку. — Было около сотни турецких военнопленных, уроженцы Балкан и Анатолии. С точки зрения Уайтчэ-

пеля, они были еще непонятнее палестинских добровольцев. Жилось им сытно и уютно за колючей оградой в Сиди-Бишр близ Александрии; англичане долго не хотели брать на службу людей, которым, если попадутся в плен туркам, грозила виселица; но они посылали просьбу за просьбой и добились своего. — Были йемениты: может быть, от природы наиболее одаренная ветвь еврейского корня, с задатками большого коллективного таланта к музыке, мышлению и гешефту; физически — почти особая раса, происхождение которой остается загадкой глубочайшей старины и которая пронесла свою верность сквозь строй гонений, еще и в счастливой Аравии не закончившихся. Отцы их прибыли в Палестину босыми оборванцами, каждый с двумя ящиками богатства — в одном рухлядь, в другом священные книги. Сыновья — многие из них — не ели на службе мяса, так как о той кашерной пище, которую завел Патерсон в Плимуте, на фронте не могло быть речи.

Как носители идеи легиона, палестинские волонтеры последними покинули утопавший корабль. Ядро их, человек 400, зубами и ногтями боролось против демобилизации, на которой настаивала штаб-квартира. Эта борьба им и в нравственном смысле далась не легко. Уже давно заговорили кругом о новой строительной работе, слово «квуца» стало лозунгом всей молодежи — а им, лучшим из этой молодежи, приходилось стеречь железнодорожную станцию в Хайфе или пустые военные склады на границе Синайской пустыни. С огромными усилиями удалось им раз или два продлить срок своей службы еще и еще на три месяца; потом они записались в еврейский отряд «смешанной милиции», которую хотел устроить Герберт Сэмюэль. Яффский погром положил конец и «милиции», и их военной службе.

* * *

Сложную задачу представляли наши американцы.

По количеству они были самой значительной группой нашего состава¹; по интеллигентности, образованию, по личной отваге, проявленной в Иорданской долине, они тоже стояли на доброй высоте; в смысле физическом, по здоровью и мускулам, были, пожалуй, у нас первыми. Но психологически — очень трудно было их «уместить» в нашей обстановке. Виной тому были не еврейские их качества, а американские.

Очень несродны между собою духовный мир англичанина и духовный мир еврея; но эта разница — ничто в сравнении с той пропастью, которая отделяет англичанина от американца. Я жила среди русских, итальянцев, немцев, венцев, французов и турок: в жизни еще не видел двух народов, так диаметрально непохожих друг на друга, как эти две ветви англосаксонского ствола. Они сами это знают; один британский публицист, как раз тот, который больше всех работает для сближения обоих народов, заметил однажды: — Слава небу, что мы с ними не соседи, а не то бы мир впервые увидел, что такое настоящая национальная ненависть! — Но мы, посторонние, этого не подозреваем: слышим ту же речь, те же фамилии и воображаем, что это братья по духу. Братья по духу?! Даже у нас, в крошечном «театре миниатюр» 38-го батальона, легко было проследить, что это за «братство». Наши «Transatlantiques» были, конечно, только наполовину американцы; но и налета американизма оказалось достаточно, чтобы сделать для них совершенно невыносимой обволакивавшую нас английскую атмосферу. Выходцам из России, сефардам, йеменитам гораздо легче далось приспособление к британским порядкам, чем этой молодежи, всего десять или пятнадцать лет подышавшей воздухом Америки.

¹ Наши 5.000 распределялись приблизительно так: из Соединенных Штатов — 34%, из Палестины — 30, из Англии — 28, из Канады — 6, из турецких военнопленных — 1, из Аргентины — 1.

В чем тут различие — об этом пришлось бы написать целую книгу, и напишу ее не я: не мое дело. Для моей цели достаточно указать на одну противоположность: в «темпе». Американец думает быстро и отчетливо, говорит да или нет, и если «да» — действует так, чтобы вышло «да». Англичанин на это способен только в критические моменты большой опасности. В обычное, более или менее нормальное время он гораздо больше сродни испанцу с его любимым словечком «маньяна», или арабу с его «букра» — оба слова значат: «завтра!» Не толкайтесь, куда вы торопитесь? Отложим на неделю, на месяц, на год — поближе ко второму пришествию. — Притом американец — человек цели: если берется за дело, он прежде всего знает, какой ему нужен последний итог, и каждый сегодняшней шаг он приспособляет к этой конечной задаче. Англичанину само понятие «конечной цели» не по сердцу, и он открыто гордится своим пренебрежением к будущему. Снег и пламя легче примирить, чем эту психологию воспитанников Итона и Вестминстера с душою чикагского «толкача». Не берусь судить, что лучше: тоже не мое дело. Но под венец такая пара не годится.

На подмостках нашего «театра миниатюр» эта противоположность отразилась быстро, ярко и резко. Американские легионеры, высадившись в Александрии, сразу поставили вопрос о «цели»: где тут фронт? Англичанин ответил: повремените, поучитесь. Они возразили: да ведь у вас самих три-четыре месяца обучения считаются достаточными! Англичанин отозвался: поживем — увидим... Так и случилось, что большинство из них в наступлении не участвовало, т.е. пропустило цель, ради которой они туда и прибыли.

Тогда возникла новая «цель»: раз у нас мир, значит — надо «строить Палестину». Большинство из американцев были добрые сионисты. Дайте нам лопату! Но кабальеро в британской форме отвечает: «маньяна».

Я, конечно, далек от того, чтобы обвинять одну только сторону. Было бы гораздо лучше, если бы американские и канадские мои товарищи стиснули зубы и, терпя скуку и разочарование, остались на посту. Далек не все они так поступили. Видя, что пальба кончена, а строительная лопата еще далеко в тумане, многие из них решили: значит, не к чему чистить бесполезные винтовки — и начали громко, иногда очень громко, требовать демобилизации.

Летом 1919 г. состоялся в Петах-Тикве съезд представителей палестинских и американских легионеров, вместе с делегатами от рабочих. (Если не ошибаюсь, это был тот именно съезд, на котором основана была «Ахдут-га-Авода», ныне главная рабочая партия Палестины). Я был на том съезде; ясно предупредил их, что именно теперь наступает важнейшая роль легиона: по всей стране ведется беспрецедентная погромная агитация, тем более опасная, что она косвенно опирается на известные настроения и в высших, и в низших слоях оккупационного аппарата. Справедливо или нет, наши противники уверены, что ни британские, ни индусские войска пальцем не шевельнут в защиту еврейского населения: их пароль: — «эд-доуле маана», правительство с нами! Правда это или ложь, неважно: они в это верят; и единственная сила, которой они боятся, это — еврейские батальоны. Как же можно говорить о демобилизации?

Не помогло. Опять-таки, и тут нельзя винить одну сторону. Если бы легионеры поверили в опасность, они бы остались под ружьем, в этом я убежден. Но среди старших вожakov палестинского общества нашлись успокоители: они сказали солдатам, что я выдумываю или преувеличиваю, что сам я в стране новичок, а они, успокоители, знают арабов, и ни о каком погроме речи быть не может... Для американцев все это не могло не звучать убедительно: понятно, местным людям виднее.

Словом, много было у нас с американцами осложнений. Подробно рассказывать незачем; но в итоге

— многие из тех, что прибыли последними, отбыли первыми. Через два месяца после съезда в Петах-Тикве из трех батальонов осталось два, а потом и всего один — палестинцев, которые держались до конца, подавая прошение за прошением, чтобы их не демобилизовали, оставили под ружьем. Но и они быстро таяли. Весной 1919 года у нас было 5.000 солдат; к весне 1920-го осталось едва четыреста — и тогда разыгралась кровавая Пасха в Иерусалиме...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это, конечно, не «история» легиона. Для истории нет у меня материалов. Движение это проявилось в нескольких странах, в каждой по-своему: в Палестине, в Америке, в Канаде, в Аргентине, в Египте; в России Трумпельдору едва не удалось создать настоящую еврейскую армию. Да и сам полк наш жил очень сложной жизнью, из которой мне знаком только малый уголок. Я не был ни в Галлиполи с Трумпельдором, ни в Плимуте с Патерсоном, ни в Эс-Сальте с Марголиным. Из трех наших батальонов я знал хорошо только свой, а как раз остальные два, особенно палестинский, представляли гораздо больше интереса для наблюдателя.

Здесь я передал только личные воспоминания; несомненно, со всеми недостатками этого рода литературы — субъективные оценки, неточности и слишком много местоимений «я». За все это прошу извинения, совершенно не пытаюсь оправдываться.

В одном только буду настаивать на оправдании. Правду ли я написал? Да. Всю ли правду? Нет, и нарочно нет. Не всякий «факт» есть «правда» в основном значении слова. Каждое крупное явление имеет свое «лицо»: что подходит к общему характеру этого

лица, то правда; что не подходит, то случайность, царапина, волдырь. Может быть, в ученых сочинениях важно записывать и это; там, может быть, уместно отметить, что во время штурма Бастилии поймали на площади вора, который тут же таскал кошельки. Это, говорят, факт, — но разве это «правда» о 14-м июля?

Сознаюсь: перечитывая эту рукопись, сам я два раза над собой посмеялся: очень уж гладко и сладко это все у тебя изложено. За исключением горемычной «ставки», чуть ли не все милые, славные, храбрые, охотно помогают, сдерживают обещания... Неужели забыл ты все камни, подножки, обманы? — Я их не забыл: память — машина автономная, и притом мелочная. Если зажмурить глаза, вспоминаются то смешные, то нехорошие образы, и в штатском платье, и в военном. Но искать «правду» надо не с зажмуренными, а с открытыми глазами; тогда видишь главное, а главное и есть «все».

Нет, я написал в с ю правду. И пятьсот «погонщиков», и пять тысяч «королевских стрелков» — ими всеми вправе спокойно гордиться еврейский народ, всеми: из Уайтчэпеля, из Тель-Авива, из Нью-Йорка, из Монреаля, из Буэнос-Айреса, из Александрии. Они прибыли из четырех стран света, а один — Марголин — из пятой; и они честно и прочно отслужили свою службу за еврейское дело.

И так же гордо может гордиться еврейский народ теми друзьями, что пришли к нам из среды чужого народа. Есть в их ряду люди с большими именами, есть и малоизвестные: но все это красивые души, широкие сердца; каждое из этих имен, звонких или скромных, есть добрый знак для будущего, эхо старинного слова о том, что не сирота на земле Израиль; эхо герцлевой «правды» о том, что *die Welt ist keine Räuberwelt — die Welt ist eine Richterwelt*.

* * *

О значении легионизма и легиона, о роли, какую оба сыграли в нашей народной истории за годы вой-

ны, я говорил уже на разных страницах этой книги; попытаюсь резюмировать. Понятно, я не предъявляю никаких притязаний на объективность моей оценки. Спор о «легионе» еще не закончился — по-моему, настоящий разгар его еще впереди; воздух еще полон и партийных, и личных раздражений. Противники нового легиона естественно склонны недооценивать первый легион, и наоборот. Вполне возможно, что я «наоборот». Но и мой подход к этому вопросу не следует понимать слишком уж упрощенно в духе классической гречневой каши. Если человек судит только субъективно, он прежде всего скажет: победил! Я этого не говорю. Далеко мне было до победы, и не раз я думал об этом в долине Иордана. Не о пяти тысячах мечтал я в то дождливое утро, перед афишей в Бордо. Я своего не добился. Но те пять тысяч — они добились: еврейский легион, такой, каков он был, действительно сыграл историческую и определяющую роль в судьбе сионизма. И так же уверен спокойно и твердо, как уверен я в том, что завтра взойдет солнце и будет утро и день и вечер, так же уверен я в том, что оценка истории совпадет с моей оценкой.

Чисто военное значение легиона было не больше и не меньше того, какое могут иметь три батальона в большой войне. Британская армия могла бы освободить Палестину и без нас. Но она освободила Палестину с нами; и в ответственный момент она поручила нам ответственную роль на опасном, исключительно тяжелом посту. Это не много и не мало; это то, что есть. В одном из храмов Лондона хранится общее знамя старого корпуса «королевских стрелков», чью кокарду мы носили во время наступления; на этом знамени вышит ряд славных имен — Крым, Индия, Судан, Южная Африка. Благодаря нам к этому ряду прибавилось имя Палестины. Это имя было нашито на знамени в торжественной и величавой, церемонии, и славный полк, одна из гордостей британской армии, гордится нашей службой. Солдат Патерсон тоже, солдат Марголин тоже. Я тоже.

О том, что за роль сыграл наш легион в охране Палестины в трудные месяцы послевоенных содрогающих, я уже писал; и эту правду пусть затвердит на память еврейская молодежь родины и рассеяния. Пока стояли в Палестине пять тысяч еврейских солдат — даже когда, в самую опасную минуту, они остались почти одни на весь край — в Палестине было тихо. Когда они ушли, в Палестине трижды пролилась еврейская кровь.

Нравственное значение легиона ясно для каждого, кто умеет честно мыслить. Злая вещь война; но признание своего права на Палестину мы получили ценою войны — значит, ценою человеческих жертв. Сегодня никто не может бросить нам в лицо упрек: где вы были? Отчего не пришли тогда с требованием — дайте нам, как евреям, положить и свою душу за Палестину? Сегодня есть у нас ответ: «пять тысяч; и было бы много больше, если бы ваши начальники не тормозили нашего дела два с половиной года подряд». Этому нравственному моменту нет цены; это и хотел выразить премьер Южной Африки Смутс, герой двух народов, один из последних рыцарей на земле, и сам глубокий миролюбец, когда сказал: дать евреям биться за землю Израиля — это одна из прекраснейших мыслей, какие слышал я за всю свою жизнь.

* * *

Но главную свою роль сыграли эти пять тысяч и то движение, которое их породило, в области политической: роль историческую и решающую. Изюм дня в день, два года и больше, я следил за работой тех немногих тружеников, имена которых навеки связаны с декларацией Бальфура: они сами знают, как высоко я ставлю их достижение и их заслугу. Больше того: я знаю, что вся сумма всех усилий во имя Палестины, произведенных ими и нами и другими за четыре года войны, есть только малая доля того массового и длительного подвига, который накопила упрямая работа трех поколений сионизма. Декларацией Бальфура

мы обязаны и Герцлю, и Ротшильду, и Пинскеру; в еще большей, верно, мере, первым пионерам — «билуццам» и всем преемникам их, колонистам, рабочим, учителям, от Метуллы на севере до Рухамы на юге. Я уж не говорю о том, что еще важнее: о книге, святой для всего мира и научившей весь мир связывать еврейский народ с Иерусалимом. Девяносто девять шагов к цели были сделаны задолго до выстрела в Сараеве: только сотый, последний был ступлен за годы войны. Но этот последний шаг был большой шаг; и неправо забывать, что это был шаг коллективный, и, помяная несомненную заслугу отдельных единиц, затенять заслугу пяти тысяч. Я считаю обе заслуги равными. Свет не жюри, декларация Бальфура не приз; даже на бумаге не дают родины Ивану, Сидору или Петру. Обещать родину можно только в ответ на соборный голос массы — в ответ на движение и е. В чем, где, когда могла в те одичалые годы проявиться сионистская мечта, как «движение», как манифестация массовых воль? Организация была разбита, парализована, загнана в тень или прямо в подполье; но и без того, по самой природе своей, культурной и колонизационной, сионизм лежал безнадежно вне тесного, резко отграниченного кругозора воюющих народов и их правителей. Только одна форма сионизма в состоянии была проникнуть в это узкое поле зрения, прорваться в очередь, заставить министров, послов и репортеров внести нашу мечту о земле в список забот текущего — кровью текущего — дня.

Еврейский народ ничем не отблагодарил своих солдат; они меня тоже не уполномочили хлопотать о его благодарности — обойдутся. Но в их душе живет то спокойное сознание, которое я высказал здесь; и придет время, когда дети ваши будут заучивать имена их полковников вместе с азбукой. А рядовым, каждому из пятисот и каждому из пяти тысяч, я хочу сказать на прощанье то, что сказал когда-то своим товарищам «портным», уходя навсегда из последнего лагеря нашего под Ришоном:

— Ты вернешься к своим, далеко за море; и там когда-нибудь, просматривая газету, прочтешь добрые вести о свободной жизни еврейской в свободной еврейской стране — о станках и кафедрах, о пашнях и театрах, может быть, о депутатах и министрах. И задумаешься, и газета выскользнет из рук; и ты вспомнишь Иорданскую долину, и пустыню за Рафой, и Ефремовы горы над Абуэйном. Встрепенись тогда и встань, подойди к зеркалу и гордо взгляни себе в лицо, вытянись навывтяжку и отдай честь: это — твоя работа.

ЗА СУТКИ

(Глава из рукописи «Крепость в Акко»)

... Тропы жизни подобны переулкам Иерусалима: то вверх, то вниз. От тюрьмы, что у русского подворья, до больницы Гадассы всего три минуты ходьбы и три минуты назад: путь недалекий, но какой подъем и какое падение! Так бывает и на тропах жизни... — Прошу прощения за этот философический отрывок; но, в самом деле, за двадцать четыре часа довелось мне пережить такую гамму изменений в «уровне» моего социального статуса, что и в книжках ничего подобного, кажется, не читал.

Восьмой вечер нашего пребывания в «Москобии» (так арабы называют русское подворье, а заодно уж и тюрьму). Чувствовалось, что настроение начинает падать, и поднять его больше нечем. В течение всей недели мы делали, что можно: превратили свою камеру в клуб, читали доклады, рассказывали истории (потом, уже в Акко, кто-то из начитанных товарищей назвал ту неделю «Гептамерон»). Тюремный цирюльник остриг нас, а мы смеялись; отобрали у нас городское платье и одели в одежды, соответствующ-

щие духу учреждения — мы смеялись; от тюремной пищи мы отказались, потребовали кашерного супа и не получили, семь дней питались арабским хлебом, посыпанным какой-то мелко нарезанной зеленью, названия которой не помню, — смеялись. Однажды вошел англичанин, начальник тюрьмы; звали его поручик Фру, но между собой мы называли его «Гуц», т.е. карапуз (вперемежку с названиями еще более выразительными): вошел и отобрал у нас всю недвижимость — свечи, гребешки и книги; мы опять посмеялись и, когда зашло раннее апрельское солнце, пробовали дремать в темноте на тонких наших циновках, разложенных прямо на каменном полу. Каждую новую каплю яда за эти семь дней мы глотали со смехом; но капель этих накопилось так много, что стало не до смеху. В тот восьмой вечер мы уже молчали; каждый из двадцати (двадцать первый, сефард Малька, герой самообороны в Старом городе, уведен был от нас еще на второй день) — каждый думал одну и ту же думу: что дальше?

Вдруг послышались шаги в коридоре: шаги нескольких пар обуви, притом обуви явно начальственной. У каждой пары подметок, если прислушаться, есть и свой голос, и своя интонация. Одна из пар на коридоре скрипела совсем по-высокопоставленному — сразу чувствовалась и работа хорошего, притом заморского сапожника, и носитель, привыкший повелевать. Отворилась внешняя дверь, дубовая; сквозь решетку, служившую внутренней дверью, брызнули лучи фонаря и послышался английский голос, называвший мое имя. Я приподнялся на циновке и спросил:

— Генерал Сторре?

— Шалом, адони, — ответил он. Через решетку, все еще запертую, в свете фонаря продвинулась простертая рука в военном обшлаге. Я встал, подошел к двери и совершил обряд рукопожатия; не могу умолчать, что в это самое время один из товарищей проворчал: «Не стоит пожимать».

— Как поживаете? — спросил гость — Будьте любезны собрать ваши вещи, и пожалуйста за мною. Впрочем, не трудитесь — ваши вещи заберет сторож.

— Нечего забирать, — ответил я. Решетка распахнулась. Я сказал товарищам, что постараюсь дать им знать, что случилось или еще случится; вышел в коридор, обе двери нашей камеры заперлись. Позади Сторрса стоял молодой поручик Н., начальник иерусалимской полиции. Он мне отдал честь по военному; я тоже, по старой памяти и по рассеянности, поднес руку к бритому виску. Наш тюремный Гуц был тут же, но салютовать не решился, а глядел в сторону.

Мы двинулись процессией: впереди Гуц в качестве вожатого, за ним Сторрс, за ним я, за мной начальник полиции. Пришли мы в большую камеру, раза в два больше общего нашего чулана, откуда я только что вышел; в камере была железная кровать, на кровати был матрац, на столике была керосиновая лампочка. Сторрс указал мне на всю эту роскошь жестом, полным утонченного величия, словно владелец замка, приветствующий гостя на пороге самой исторической залы:

— Это для вас лично. Но у вас нет вещей? Сейчас привезем. Сам привезу — не хочется посылать к вам на квартиру полицейского, чтобы дамы не перепугались. Но — но ведь тут, я вижу, нет мебели. Мистер Н.! — Он обратился к юному полицеймейстеру. — Будьте любезны продуцировать, скажем, два стула, и умывальный прибор, и, кстати, обеденный столик несколько презентабельнее этого. И, пожалуйста, сейчас же. А я еду к вам на квартиру; ле-гитраот, адони!

И он удалился; за ним ушли все воеводы и сторожа, и даже дверь моей новой камеры осталась незапертой. Я выглянул в коридор и поманил к себе одного из сторожей: это был араб, обходительный и несколько меланхоличный, что приносил нам ежедневно хлеб и ту зелень. Он понимал немного по-английски. Я поручил ему передать «Юнесу» (так он

называл сидевшего с нами Ионатана Б., нашего арабского томача), что я возвысился в чине, но бедных братьев великодушно не забуду.

Через полчаса я услышал издали скрип главных ворот, голоса, потом шаги: шаги сторожа, который что-то тащил; шаги Сторрса, опять звучащие как гимн во славу башмачников лондонской улицы Бонд-Стрит; и еще шаги, совсем легкие — я даже не успел их узнать от удивления: женщина? На высоких каблуках? Здесь, ночью? Стук в дверь; голос Сторрса: «Можно?» Я уже настолько вошел в комизм этого положения, что совершенно серьезно разрешил: «Войдите». Он открыл дверь, но не вошел, а остался на пороге, поднес руку к раззолоченному околышку своей штабной фуражки, сказал: «Пожалуйста, сударыня», и вошла моя жена.

— Боюсь, что это против всех правил, — сказал генерал, — но в этой комнате необходима женская рука.

Ввалился сторож, нагруженный двумя чемоданами и зеркалом, которое не влезло в чемодан. За ним еще двое, в предшествии поручика Н., со стульями и кувшинами и умывальным тазом. За ними еще кто-то, с подносом; на подносе было несколько полных тарелок и бутылка с ярлыком Ришона.

— Все в порядке? — спросил Сторрс. — Отлично. Я вас оставляю, у меня масса дел; через час заеду сюда отвезти мадам обратно.

— Генерал, — спросил я, — а как будет с товарищами?

— Не беспокойтесь. Я и для них сделаю все, что можно.

И удалился, и сторожа за ним, и опять дверь осталась не запертой на замок; и за дверью он вполголоса, но очень внятно, сделал наставление Гуцу — не мешать нам, пока он сам не вернется.

Жена рассмеялась:

— «Сделаю все, что возможно». Он-то здесь при чем? Из Лондона пришел приказ — перевести вас на

положение политических заключенных. Но он все-таки очень мил: собственноручно помог затянуть ремни на одном из чемоданов; напомнил мне, что тебе нужно привезти книги, и набрать свежих чернил в самопишущее перо; и сам предложил мне поехать к тебе в гости! А завтра утром вас всех отправляют в Каир: там приготовлены для вас апартаменты (так он подлинно выразился) в казармах Каср-эн-Нил.

Через час явился Сторрс, и визит кончился. После этого сейчас же постучался ко мне Н., наш юный полицеймейстер; вошел, отсалютовал и заявил:

— Простите, но — вынужден исполнить свою обязанность.

Он подошел к моим чемоданам, открыл их, произвел руками внутри те движения, какие полагаются при обыске; сказал «ол-райт, простите», отдал честь и ушел.

Я пожал плечами: странный это плод — английский чиновник. Неделю назад прибыли мы сюда, двадцать один человек, каждый со своим чемоданом или своей торбой; все, что угодно, могло быть спрятано в этой поклаже, вплоть до динамита; но тогда нас забыли обыскать. Даже в день конфискации гребешков — тоже не было обыска. А теперь военный губернатор Иерусалима самолично привез два чемодана — и его подчиненный беспокоится, нет ли там револьвера. Семь лет подряд, как я, надо прожить с англичанами бок о бок, чтобы привыкнуть к этой их путанице и неразберихе; к этой хаотичности, из которой, в конце концов, медленно, неправильно, нелепо, но все же как-то вырабатывается порядок — только иногда слишком поздно.

* * *

Утром я побрился; великое наслаждение после недели назорейства, но нелегкое. Надел собственное платье, казенное имущество бросил под кровать; только номерок свой украл — синюю бляху с белыми арабскими цифрами 127. В коридоре уже за-

стал товарищей, тоже бритых и в собственном платье. Здесь же был и Малька. Но здесь же оказались и те два араба, которых приговорили к каторге за изнасилование девушек в Старом городе во время погрома. Их тоже к нам присоединили. Вышли мы на улицу колонной, под команду И.И. Гинзбурга, по всем правилам шагистики, унаследованным самообороной от легиона, четверо в ряд; но за нами шли, правда чуть поодаль, эти два араба.

Час был еще ранний, и в городе не знали, что нас отправляют в Египет. На вокзале, однако, было полным полно; толпа кричала нам «Гейдад!» Ко мне подошел майор Смоллей: когда-то он был старшим офицером в батальоне у Марголина и натворил нам тогда немало горя, о чем уже рассказано в «Слове о Полку». С тех пор он давно перешел на службу в администрацию, и оказалось, назначен был начальником нашего конвоя. Он негромко сказал мне:

— Для вас с женой отведено купе. Подождите немного, я велю очистить место, чтобы вы могли подойти попрощаться с матерью — надеюсь, ненадолго.

Редко выпадало мне в жизни на долю путешествовать так весело и удобно. Завтракали мы в вагонересторане вчетвером: Смоллей представил своего адъютанта, поручика Б., из офицеров иерусалимского гарнизона. Б. оказался очень милым юношей; все происшедшее, очевидно, сбило его с толку, в том числе и это почетное эскортирование «каторжанина» в купе первого класса; он недоумевал почтительно. Смоллей был много старше, и служба в еврейском легионе уже давно приучила его к странным сочетаниям, к тому, что официальное звание человека часто не совпадает с его удельным весом; он чувствовал себя, как дома. Нам было очень весело. Жена несколько раз ходила проведать товарищей; им отвели целый вагон; она возвращалась и сообщала: «Едят, поют песни и кланяются».

На станциях Артуф и Шорек ждали нас небольшие

еврейские группы. Но в Луде уже была целая толпа; когда поезд наш подошел, раздались рукоплескания, сотни рук замахали платками и шапками. «Пол-Тель-Авива здесь», — сказал мне кто-то: вполне возможно — Тель-Авив еще тогда состоял из полудюжины улиц. Я, подъезжая к Луду, гадал: позволит ли военная полиция придти на станцию последним солдатам легиона? Около 400 палестинских добровольцев все еще донашивали форму еврейского полка в лагере под Сарафендом, в трех верстах от Луда. Оказалось, они все пришли, и сам полковник Марголин явился с ними и стоял навытяжку...

* * *

Незадолго до заката мы прибыли в Кантару на Суэцком канале. Отсюда жена моя поехала в Каир, Смоллей с нею; нас же, арестантов, велено было задержать в Кантаре. Мы снова выстроились колонной, и поручик Б. повел нас к месту нашего отдохновения; и опять плелись за нами те два араба. Я узнал дорогу: всего за полгода до того я сам по ней ходил, целую неделю по два раза в день, когда в тюремном бараке сидели мои подзащитные, солдаты 38-го батальона, преданные суду за «бунт»: по утрам их судили в большой палатке три офицера, а после обеда я ходил к ним в тюрьму совещаться. Я шел теперь по той же дороге и думал думы, полные горечи пополам с улыбкой, думы о путях жизни, подобных переулкам Иерусалима; но здесь эти думы рассказывать не стоит — опять вышла бы философия.

Так мы дошли до тюремного барака. Я узнал капрала, заведывавшего тюрьмой, и он меня. Поручик Б. шепнул ему что-то на ухо; тот кивнул головой и ответил: «так точно, сэр». Б. после этого подошел ко мне и сказал негромко:

— Я его предупредил, что вы — на *особом* положении.

Я хотел было сказать ему, что в этом не было никакой надобности, но он быстро пожал мне руку и ушел.

Капрал, очевидно, не так его понял. Правда, говоря со мною, он стоял навытяжку и держал руки по швам, словно еще вспоминая мои прежние погоны; но «особое положение» он, очевидно, использовал в смысле удвоенного надзора. С соблюдением всяких офицерских почестей он отвел меня в самую тесную и самую темную из клеток во всем бараке; там не было ни койки, ни стула, ни окна, только дырочка в двери; впустил меня, оглянулся во все стороны — нет ли подслушивающих — и сказал с глубокой грустью:

— Вот что полагается человеку, который борется за свою родину; я из Ирландии, сэр.

Отдал честь и ушел, а ключ в дверях повернул дважды.

Настала ночь; света не было; подо мной рогожа на цементном полу; рукой можно было достать обе стены справа и слева; ни кувшина с водой, ни одеяла; и еще суток не прошло с той минуты, когда я поднялся с такой же циновки в «Москобии». Я дотронулся рукою до подбородка: неужели я, действительно, выбрит? Неужели я, действительно, провел этот день на бархатной скамье спального вагона, ел какое-то турнедо с шампиньонами на тонком фаянсе, вилок из (правда, накладного) серебра? О, сколь прекрасны переулки твои, стольный город Давидов, — переулки твои, подобные тропам нашей жизни...

На дворе слышались голоса товарищей: их выпустили погулять на свежем вечернем воздухе — насчет их «особого положения» ирландский капрал, почитатель борцов за родину, не получил никаких распоряжений. Час и больше они там шумели и кричали мне «шалом», потом разошлись по своим ночлежкам.

Капрал подошел в моей двери и спросил через дырочку:

— Угодно погулять, сэр?

Я вышел; мы долго ходили взад и вперед под навесом между бараком и проволочной изгородью, и он рассказал мне, что и тех двух арабов, изнасиловав-

ших девушку, он тоже почтил «особым положением», притом по собственному почину: взял их за уши, стукнул бритой головой о бритую голову, и запер — «отдельно, а где — не скажу».

В конце прогулки он остановился, осмотрелся по всем сторонам, и шепнул мне на ухо:

— Сэр, там за оградой, за колючей проволокой, стоят несколько еврейских солдат. Они хотят говорить с вами. Если согласны, идемте; только надо беседовать шепотом.

Я подошел к проволоке один; капрал остался под навесом. В темноте я различил тени, их было четверо или пятеро. Они сидели на песке, но поднялись, увидев меня. Я спросил по-еврейски: — Кто такие?

Это оказались мои прошлогодние подзащитные. Их тогда приговорил военно-полевой суд, кого на два года, кого на четыре; они отбывали свои сроки в Египте, но недавно вышла амнистия. Большинство уехало в Америку; но эти решили вернуться в Палестину. Тут им сегодня сообщили, что и я в Кантаре, в том самом убежище, куда еще недавно приходил к ним по два раза в день, и они тайком пришли сказать мне, что — что нечего сказать; ничего путного не скажешь.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Из романа «Самсон Назорей»

БЕЗЗУБЫЙ

Его ждали у ворот. Еще за версту до Цоры высматривали его добровольцы-ребятишки и, завидя, пустились во весь опор назад — оповестить сборище; а некоторые остались и пошли за ним, держась подалее и тихо переговариваясь.

Сходка была большая: спешные гонцы созвали старшин из всех главных поселений, как в тот день, много лет назад, когда решено было послать ходоков на север, и Самсон стал у Дана судьей. Были среди старост и прежние, и новые лица; был тут и древний Шелах, сын Иувала, начальник Шаалаввима, совсем уже скрюченный старостью, но с теми же хитрыми глазами; были и пророки из окрестных пещер — те же или другие, никто их не помнил в лицо. Три посла от Иуды сидели на особой скамье, за ними стояла большая вооруженная свита. Среди старшин Цоры был Маной, а левит Махбонай, слегка переваливаясь, ходил от человека к человеку, о чем-то расспрашивал и что-то доказывал.

Самсон вышел прямо на середину круга. Сидевшие поднялись в молчании. Он ни с кем не поздоровался, только глазами встретился с отцом — у того был усталый вид глубокого старца — и с Иорамом из Текоа, с которым виделся когда-то в Чортовой пещере.

— Что надо? — спросил Самсон.

Никто ему не ответил. Три посла смотрели в землю, остальные на них. Махбонай, крикнув, сказал:

— Не лучше ли было бы сначала братьям нашим из колена Иуды поговорить с судьей наедине...

Самсон его прервал:

— Пусть говорят здесь.

Люди стали опять усаживаться с шепотом и шумом; только Иорам бен-Калев из Текоа не сел. Он тоже поддался и поседел за эти годы, и, кроме того, сегодня на лице его лежала тяжелая неловкость и гнула его голову книзу. Тем не менее он сказал свои слова громко, ясно, без колебаний и запинок. Филистимское посольство пришло с полком стражи, чего никогда не бывало; целый военный стан разбили они чуть не у самых ворот Хеврона. Но на равнине, близ границы, собирается настоящее войско из всех пяти тираний; командует им сын экронского сарана, а племянник того же сарана, Ахиш, по прозвищу Бритва, стоит во главе послов и того полка, что пришел с послами. Человек он свирепый и ненасытный...

— Знаю Бритву, — прервал Самсон, — говори про дело. — С этим Ахишем он часто играл в кости: тот, когда выиграет пригоршню серебра, кричит восторженно: «обрил!», и руки у него трясутся от жадности; когда проиграет, лицо его черно от скупой досады. Зато был он лучший наездник на всем побережье, и кони его славились даже в Египте.

Бен-Калев продолжал. Дело обстояло именно так, как передал Нехуштан: или выдаст им Иуда Самсона, или филистимское войско пройдет потопом по всей Иудее от Вифлеема до Эн-Геди. Никакие отговорки не будут приняты.

Посол остановился, ожидая слова Самсона. Самсон молчал и глядел на него, глазами спрашивая: дальше?

Иорам тяжело вздохнул и заговорил дальше. Было у них, старейшин Иуды, ночное совещание. Говорили долго и разное, но важен вывод: Иуда не может воевать с Филистией. Даже без колесниц, которые в

горах неприменимы, у врага есть кони, много железа и обученные солдаты. Иуда может сделать одно: бросить города свои на разграбление, засыпать источники и колодцы и разбежаться по ущельям, — жить отныне, как живут иевуситы. Но на это Иуда не согласен. И вот — пришел Иуда к Дану за советом: что делать?

Он сел; собрание перевело глаза на Самсона, но Самсон молчал; он низко нахмурил брови, и глаз его не было видно. Постепенно вокруг поднялся подавленный шепот. Потом нерешительно выступил из круга некто Хермеш, цоранин, человек еще молодой — когда-то он был у Самсона среди шакалов. Он спросил:

— Я все же не понимаю: почему грозят они Иуде, а не Дану?

Бен-Калев развел руками и ничего не ответил. Но старый Шелак из Шаалавви́ма забормотал что-то на ухо сыну, стоявшему по правую руку его, и тот, выслушав, сказал:

— Отец мой говорит: филистимляне хорошо рассчитали. Зачем им самим воевать в Даном? Пусть лучше воюет с Даном брат наш Иуда.

По толпе сначала пробежал смех, потом тревожный ропот, потом ропот гневный. Три посла молчали, опустив глаза, с непроницаемыми лицами. Хермеш подошел к ним ближе и спросил в упор:

— Говорите прямо: если мы не выдадим судью — вы пойдете войною на нас?

Стало очень тихо. Вдруг Дишон бен-Ахицур, посол из Вифлеема, поднял голову, уткнулся лицом в лицо Хермеша и закричал, обрызгивая его слюной:

— Дурак! Уж если нам воевать по вашей вине, то, конечно, не с Пятью городами!

Остальные двое молчали. Цидкия бен-Перахья, посол из Хеврона, зажмурил глаза и жевал тонкими губами на лисьем лице; Йорам из Текоа стиснул зубы и побагровел от стыда — но молчал.

Сходка загрохотала; со всех сторон неслась брань,

— круг, посреди которого сидели послы Иуды, стал вдруг суживаться, иудейская свита тревожно зашевелилась, — но Самсон остановил это все резким окриком:

— По местам!

Только Хермеш остался перед послами, и теперь можно было разобрать, что он им кричит. Он кричал, тряся кулаком:

— Если бы вы не были псами, то сказали бы нам: вооружайтесь, будем вместе воевать, позовем на помощь другие колена...

— Не пойдут колена, — ответил бен-Калев, — и лучше всех знает это сам судья. А ваша помощь нам не помощь. Против медведя все равно — что один ребенок, что два.

— Или полтора, — пробормотал Дишон, и все его услышали. Но прежде чем разразилась новая вспышка гнева за эту обиду, он вскочил и закричал на Самсона:

— Ты, господин судья, ты чего стоишь, как куча навоза на поле, и ничего не скажешь? О тебе речь, не об этих дровосеках и водоносах — только о тебе.

Самсон усмехнулся:

— Хорошо ты меня знаешь, бен-Ахицур, — проронил он, — я посла не трону: ругайся.

В эту минуту нашел необходимым вмешаться Махбонай: заговорил негромко, но сразу все замолчали. Большой был теперь человек Махбонай бен-Шуни, почитаемый у Дана и даже у соседних колен.

— Жаль, — начал он плавным и рыхлым своим голосом, — жаль, что не принял судья моего доброго совета поговорить обо всем наедине. Но раз уже мы беседуем на сходке, то надо беседовать спокойно, как подобает великим старшинам. И вот что хочу я выяснить: почему так уверены послы филистимлян, посетившие ваш город, будто мы, даниты, можем всегда разыскать Самсона? Разве он прикован к Цоре и Дану? Разве не мог он уйти от нас — уйти на север, где живут наши новоселы вокруг Лайша, или к

Вениамину, к Ефрему, в Галаад — мало ли куда?

Его слушали внимательно. Кто-то в толпе зашипел: сссс... — как будто призывая внимание к новой и разумной мысли; и многие, подняв брови, приставили пальцы ко лбу и закивали головами.

— Был уже такой случай, — продолжал левит, — давно это было, когда после дела в Тимнате пришли к нам послы от Экрона; но мы им объяснили, что Самсон ушел в пустыню, и они удовлетворились (он замялся, вспомнив о коже, содранной с Гуша и Ягира) — удовлетворились малой данью и ушли. Кто из нас может удержать Самсона, если бы он и теперь захотел уйти?

Встал опять Иорам бен-Калев.

— Тяжело мне вести с вами эту торговлю, — сказал он усталым голосом. — Будем говорить напрямик: ты, бен-Шуни, предлагаешь судье бежать из земли Дана. У нас в Хевроне много левитов, и есть среди них такие же мудрые, как и ты, бен-Шуни. Мысль эта первая пришла нам в голову, и мы сразу так и сказали Ахишу, племяннику сарана: уйдет Самсон, кто за ним угонится? И ответил нам Ахиш точными твоими словами, бен-Шуни: «Раз уже так было, что он ушел. А потом? Потом он вернулся, и с тех пор не стало покоя на равнине. Где теперь Самсон — это ваше дело, не наше; вы его ищите, вы приведите — а не приведете, погиб Иуда». Так ответил Ахиш, и так будет.

Махбонай молчал, глядя бороду; молчала и вся толпа, и никто не глядел на соседа. Из угла, где столпилась шайка пророков, послышался чей-то возглас: «Собака!» — неизвестно в кого брошенный, но продолжения не было.

— Отец хочет говорить, — сказал сын Шелаха, старосты шаалаввимского.

Шелаха слышали только ближайшие к его месту, но и среди остальных была тишина, пока он говорил. Самсон повернулся к нему и смотрел на старика пристально, сначала просто с любопытством, потом с

удивлением. Вот что прошамкал Шелах, сын Иувала:

— Лжец и вор денной Вениамин, чванная блудница Ефрем; но хуже всех Иуда. Сам не грабит, не охотится: как вороненок, сидит он в высоком гнезде, разевая клюв, и ждет, пока принесут ему кусок падали; вкусно поест, насытится — а сам не в ответе: это падаль, я никого не убил. По всем коленам торгует Хеврон медью и железом; за клинок отдай ему полвеса серебра, за копейный наконечник — столько пшеницы, сколько может унести верблюд; вон тот бен-Перахья, посол, который молчит, уже сколько зарыл у себя на дворе кувшинов золота — выручку от этого, не от иного промысла! В каждом селении Иуды стучит теперь кузнечный молоток; молодежь его учится лязгать мечами; скоро будет Иуда могуч — но того человека, что принес ему эту силу, Иуда готов отдать на потеху филистимлянам; и клинками, добытыми отвагой Дана, грозит Иуда разорить землю данову, если Дан не пойдет на последнюю низость.

Двое из послов, Иорам и Дишон, вскочили — первый побагровел еще гуще, второй обливался слюной — но прервать старика не посмели, заметив, как грозно обернулась на них толпа. Бен-Перахья не шевельнулся, только приоткрыл один глаз и скосил его на Шелаха.

— Прогони их, Самсон, — шамкал дальше бен-Иувал, — не следует юношам нашим слышать их речи. Не выдадим мы тебя. Часто мы тебя огорчали, и часто ты нас, и обычай твой странный; но ты нам дал покой и защиту, ты нам дал новую землю на севере, ты... Пусть идет войной на нас Иуда, хоть у него больше тысяч, чем у нас сотен; пусть идут на нас хоть сами сараны — Дан не ворона, Дан с тобой, Самсон.

Но этого конца его речи уже и близкие не слышали из-за восторженного вопля всей толпы. Понявшие и не понявшие, старики, молодые, ребяташки, муж-

чины и женщины, даже туземцы на окраинах площади замахали руками, закричали каждый что-то свое и все одно и то же; Хермеш влез соседу на плечи, Нехуштан тоже, и, надрываясь, они о чем-то опрашивали толпу — должно быть, вербовали бойцов.

Послы уже все стояли и смотрели на Самсона, жelay, по-видимому, что-то сказать. Он давно не показывал данитам своего умения покрыть одним окриком тысячный гам — не приходилось; но теперь это понадобилось — и опять в одно мгновение все стихли.

Тогда бен-Калев из Текоа обратился к Самсону и сказал, тяжело дыша:

— Мы готовы идти обратно; но последнее слово за тобой. Говори, Самсон.

— Говори, собака! — закричал то же голос из кучки пророков, и на середину круга выбежал пожилой дервиш, лысый до затылка, с шишками на черепе и с черной бородой, в которой застряли какие-то клочья; одет он был в изорванную циновку из древесного луба. Теперь уже было ясно, что слово «собака» относится к Самсону.

— Кабан нечистый! — вопил он, прыгая вокруг назорея и тряся кулаком. — Шут! Пьяница! Распутник! Душегуб народа божьего! Это ты завел свое племя и все колена в трясину, и нет выхода! Не язычник идет на нас теперь — хуже, хуже, Иуда подымает руку на Дана, Дан на Иуду; братья загрызут друг друга, как звери в лесу, и необрезанный возликует, а ты, ложный судья — ты спрятался, как хорек зловонный, в яму!

Дишон даже засмеялся от радости.

— Правильно говорит сын пророческий, — закричал он, — хорош у вас судья: пусть гибнет земля, пусть восстает колено против колена — лишь бы ему спасти свою душу!

Но у пророка была своя особенная логика. Он

вдруг забыл Самсона и набросился на послов, выкрикивая:

— Позор вам и развратным матерям вашим, семья предательское! Гаже филистимлян Иуда. Когда сгорела Тимната, старый кафторянин, тесть этого Самсона, и дочь его, юное дитя, оба молча понесли пытку и смерть, но Самсона не выдали; а кто был он им? Чужой! Вы же готовы предать во вражьи руки брата вашего, плоть от плоти отца нашего Иакова...

Тут Дишон бен-Ахицур внезапно расхохотался так визгливо, что даже пророк удивился и замолчал, забыв закрыть рот. Пророк смотрел на него и задышался, а Дишон тоже по-своему задышался, корчась от беззубого смеха, держась то за живот, то за ребра; и вдруг, перестав смеяться, он закричал среди полной тишины, тыча пальцем в сторону Самсона:

— Этот? Брат наш? От плоти Иакова? Эй, Дан, стадо слепых безумцев! Сколько лет можно вас дурачить нелепой сказкой? Или вправду по сей день вы не поняли, откуда, из чьего семени пришел к вам этот судья, этот чужак под гривой назорея?

Толпа глядела на него, не понимая, но еще больше замерла в предчувствии чего-то нового и доселе небывалого. Шевельнулись только три человека: старый Маной схватился за горло, Махбонай бен-Шуни протянул руку, словно желая, но не смея вмешаться, — а Самсон резко обернулся назад; ему показалось, что оттуда на него кто-то пристально смотрит. Там, за собой, в толпе женщин, он увидел мать; но она смотрела не на него, а на Дишона, вся скорчившись, и глаза ее выкатились. И Самсону вдруг почудилось, что на него надвигается громадная черная туча или туша и сейчас она его обхватит и начнет душить.

Дишон продолжал уже не крича, не спеша, с ядовитой отчетливостью:

— Он такой же данит, как саран из Экрона данит. Сами вы знаете, что обычай его не ваш, и душа у него чужая: потому что и кровь его — не ваша. Кто из мудрых людей верит басням об ангеле, который в

весеннюю ночь явился к женщине и возвестил ей о рождении сына? К честным женам не приходят ангелы ночью, в пустынном месте у колодца. Это не Самсон: имя ему Таиш, филистимляне правы, и недаром они его любили: он от плоти Кафтора, и тот ангел у колодца, любовник его матери, был филистимлянский бродяга!

В мертвой тишине послышалось одно только движение — это Нехуштан, с широким ножом в руке, без возгласа бросился на посла. Самсон схватил его за руку и отшвырнул его далеко в толпу; он стоял весь бледный и не сводил глаз с Ацлельпони. Женщины, переглядываясь, расступились; старуха — она давно была старухой по виду — тряся головой, медленно вышла на середину круга. В тяжелом молчании все взоры скрестились на ней. Не дойдя до сына, она споткнулась; к ней хотел подбежать Махбонай, но и его Самсон остановил.

Ацлельпони приподнялась и поползла на руках по земле. Теперь она смотрела на Маноя и старалась что-то прошептать, но слова не выходили; тогда она подняла руку и протянула в сторону мужа скрюченный палец.

Самсон, сам того не замечая, перевел ее жест. Потухшим, безучастным голосом он сказал Манюю:

— Отец, она спрашивает у тебя, правда ли это.

Маной стоял с закрытыми глазами, одной рукой держась за глотку, другой потирая свой шрам на лбу. Услышав слова сына, он слабо шатнулся вперед; в ту же минуту лицо его исказилось, веки широко распахнулись, из горла вырвалось отрывистое, заикающееся хрипение; руки его повисли, колени подогнулись, и он свалился на землю.

— Он-то знал, — насмешливо сказал Дишон.

Самсон медленно повел головой вправо и влево, вправо и влево; ему нужно было что-то сбросить с темени, что-то гнетущее, но оно впилося ему в виски и не отступало. Опять было с ним так, как было давным-давно, один только раз в жизни, тогда в Тим-

нате — горы валились ему на голову, гора за горою, вышибая, одна за другой, каждую мысль, разрывая, одну за другой, каждую струну сознания. Но теперь он все-таки вспомнил, что вокруг него толпа и что нельзя им показать свою муку. С огромным усилием он стиснул мускулы вокруг глаз и обвел взглядом все эти сотни лиц, растерянных, подавленных; и, несмотря на туман и хаос, старый звериный инстинкт мгновенно отпечатал в его мозгу их общую думу. Он ясно прочел: они поверили сразу, без колебаний: теперь они молчат и вспоминают. Все вспоминают; все, что с раннего детства отдаляло их от него, все, чего нельзя в нем было понять, всю загадку Самсона и Таиша...

Он подошел к Манюю, нагнулся, повернул его навзничь, голова старика отвалилась, из раскрытого рта сочилось что-то черное. Он отвернулся; постоял еще мгновение, потом двинулся, осторожно поднял на руки Ацлельпони и понес ее прочь, а толпа широко расступилась перед ним, — и даже ребятишки за ним не побежали.

ВО ВЕСЬ РОСТ

Одна только соседка пришла к Ацлельпони и ходила за ней всю ночь: это была мать Ягира и Карни. Самсон сидел один над телом Манюю; но в течение ночи три раза приходили к нему люди по делу.

Первыми пришли Хермеш и Нехуштан, с ними еще человек десять: эти остальные столпились в тени, лиц их не было видно.

— Мы не от своего имени пришли, — сказал Хермеш. — Нас послали другие, и их очень много; и нам велено сказать тебе вот что: мы за тебя до конца.

Остальные сзади крикнули подтвердительно. Сам-

сон всмотрелся в них, и сердце его на миг остановилось. Он их вспомнил: это все были когда-то его шакалы. Вспомнили что-то и они: повинуясь безмолвному призыву, они вдруг затолкали друг друга, переместились и выстроились в один ряд, навтыжку, по его старой науке.

— И вся Цора за нами пойдет, — продолжал Хермеш, — и весь Дан. Сегодня они шепчутся по закоулкам о том, что было на сходке; но если быть войне, каждый мужчина и каждый юноша встрепенется и скажет: мне все равно, я за Самсона!

Самсон тихо сказал, помолчав:

— Дана ты сосчитал; сосчитал ли Иуду?

— Есть время считать, — ответил Хермеш, — и есть время взвешивать. Иуда силен; но все равно. Пусть рухнет Дан от края до края; в Лаиш на севере уйдут остатки, но имя наше останется Дан и Лаиш — судья и лев. Для имени живет народ, не для домов и пастбищ.

Самсон смотрел на них молча; они поняли, о чем он думает, так ясно, как будто он это выговорил: война с родными — за чужого? Они все потупились, не зная, как ответить ему; только Нехуштан робко сказал — робко, потому что не привык говорить с Самсоном длинными словами:

— Это не наше дело. Вероятно, солгал тот беззубый; но это не наше дело. Был или не был тогда у колодца ангел божий, этого мы не знаем. Но одно мы знаем: в другую ночь по всем домам нашим прошел ангел божий, забрал у нас каждую мысль, и надежду, и самые сны, смешал воедино, сделал из них одно сердце и вложил в твои ребра, Самсон. Ты — это мы; не за тебя мы, а за душу Дана.

— Верно, — отозвался Хермеш; и остальные, все разом, твердо и громко повторили: — Верно!

Самсон молчал, тяжело дыша. Опять они поняли молчаливый приказ, и Хермеш ответил:

— Мы пойдем, каждый к своей сотне, и будем ждать твоего слова.

И они ушли, а Самсон вернулся к телу Маноя.

* * *

Много прошло часов; было совсем тихо, только из-за простенка невнятно слышался минутами визгливый бред Ацлельпони и тихая речь соседки, которая успокаивала ее. Вдруг заскрипела дверь за Самсоном. Он не обернулся, пока за ним не раздался рыхлый и плавный голос:

— Это я, Махбонай бен-Шуни.

Самсон оглянулся на него и глазами спросил коротко: что надо?

— Я был в той комнате, — сказал левит, указывая на простенок.

Самсон опять спросил глазами.

— Встань, Самсон, — ответил Махбонай с неожиданной настойчивостью в голосе, — встань и пойдй к своей матери.

Самсон не двинулся, и они долго смотрели друг на друга, назорей с хмурой неприязнью, левит с учтливой уверенностью. Самсон, хотя ему было не до того, подивился, что левит, против обычая, стоит прямо, не суетясь, и глаза его не бегают по сторонам. Но это все же был откормленный Махбонай, барышник и заклинитель, которого Самсон брезгливо не любил: и теперь он ему напомнил сразу тысячу вещей, о которых вспоминать не хотелось. Одному воспоминанию Самсон засмеялся без улыбки и сказал вслух:

— Ты оказался провидцем, левит. Это ты, еще с первой нашей встречи, назвал меня: сын Ацлельпони. Так и будут звать меня люди с этого дня.

— Пойди к своей матери, — повторил Махбонай, не обращая внимания на его слова.

— Зачем?

— Она в горячке, и рука ее шарит кругом. Пойди, дай ей схватиться за твою руку.

— Зачем?

— Тогда можно будет ей умереть, — сказал левит.

Самсон промолчал и отвернулся, кончая беседу; но Махбонай не ушел.

— Сделай, как я говорю, — сказал он еще настоятельнее. — Она не может умереть. Она повторяет одно и то же. Вопрос, который ты знаешь. Она спрашивает: Маной — неужели это правда?

— Ей лучше знать, — грубо отозвался Самсон. Левит уверенно ответил:

— Нет. Она всю жизнь прожила в горячке. В ту ночь, у колодца, она тоже была в бреду. Она не знает. Знал, быть может, Маной. Многое знал Маной, о ней, о тебе, и обо всем: знал, может быть, и об этом.

Самсон молчал.

— Пойди к ней и возьми ее за руку, — повторил левит, и уже голос его звучал не рассыпчато и не умилительно. — Возьми ее за руку; тогда она поймет, что то была неправда, и ты ей закроешь глаза.

Самсон резко повернул к нему голову.

— Неправда? Откуда мне-то знать, что неправда?

Левит медленно двинулся к нему и подошел совсем близко; и Самсону вдруг показалось, что он этого человека еще ни разу по-настоящему не видел, что это не бен-Шуни, жирный нахлебник его матери, а кто-то иной, важный, величавый и по-своему сильный. Самсон невольно поднялся и смотрел на него; он был много выше, но это как-то не чувствовалось — словно глядят друг другу в лицо два человека, равные ростом.

— Правда, — сказал Махбонай бен-Шуни, — правда — это не то, что было или чего не было в одну ночь из ночей. Правда есть то, что останется в людской памяти навсегда; и знает ее один человек на свете: я.

Самсон указал на Маноя и тихо спросил:

— От него?

Левит покачал головой.

— Он об этом не говорил, и я не спрашивал, — сказал он строго, — и не из расспросов познается настоящая правда. Не допрашивай меня и ты. Пойди в

ту комнату, возьми ее за руку, и это будет правда. Тогда она умрет. Когда-нибудь и ты умрешь: и умрут все люди, что были сегодня на площади, даже малые дети; и умрут с ними все их мысли, и слова, и пересуды. Одно уцелеет навеки: то, что назову правдой я, левит Махбонай.

Самсон смотрел на него пристально, слегка ворочая головой, как всегда, когда старался понять трудное.

— Ты презираешь меня и мое дело, судья, и всю мою породу, — говорил левит, — ибо велика, но коротка твоя мудрость. Ты человек могучий, но мера твоей силы — один день: будет вечер, будет утро, и народятся новые люди, не знавшие Самсона. А я и порода моя — мы, по твоей мере, червяки: мы бродим из края в край, мы бормочем заклинания, мы чертим крючки на козьей шкуре. Но жить будет только то, что я закрепил в молитве и записал на лоскуте кожи: это и назовут люди правдой, а все остальное — дым.

Он пошел к двери и приоткрыл ее.

— Пойди к матери, Самсон. Много лет тому назад она мне сказала: возьми шкуру козленка и записывай на ней жизнь моего сына, от чудесного рождения его и до конца. Так я и сделал; и то, что я записал, то и останется правдой из рода в род. Я, Махбонай из Хеврона, когда-то сказавший тебе по неведению «сын Ацлельпони» — я червь, я умру; но то, что я записал, никогда не умрет — а там написано: сын Маноя. Ступай за мной, судья — твоя мать боится умереть без моей правды.

* * *

Перед зарей, когда перестала хрипеть Ацлельпони, пришли к Самсону еще двое: Иорам, богатырь из Текоа, и Цидкия бен-Перахья, ростовщик из Хеврона, послы Иуды. Бен-Перахья сел на скамью, зажмурил глаза и стал жевать губами. Иорам, стоя, склонил голову перед назореем и сказал тихо и твердо:

— Не пришли бы мы к тебе в первую ночь твоего сетования; но горше будет, если раздерут одежды свои два колена божьего народа. Слово за тобой, судья: страшное слово, тяжкое слово, но сказать его можешь только ты.

Самсон молчал.

— Когда-то, — опять заговорил Иорам, — когда ты был еще юношей, а у меня на плечах уже лежало бремя полужизни, ты держал со мной совет; и мне помнится — ты тогда отличил мои слова от речей других советчиков. Хочешь ли выслушать меня снова, Самсон?

Самсон отозвался:

— Говори.

— Люди Цоры, — говорил посол, — не спали в эту ночь. Товарищи твоей молодости, которые шли за тобой когда-то, покинули свои дома и созывают теперь бойцов; вокруг них уже собрались сотни, но соберутся тысячи. Не даром жил ты, Самсон: Дан не знает ни трусости, ни измены — Дан тебя не выдаст.

Самсон молчал, глаза его глядели в темноту.

— То, что они сегодня слышали, — продолжал бен-Калев, — и чему поверили (хотя я и не верю), — то не смутит их решимости. Может быть, оно и укрепит ее. Я стар и хорошо знаю все наше племя: ниже, вдвое ниже, преклонится оно пред таким вождем, над которым распростерлось покрывало тайны; если он чужой, тем больше его могущество. В этом похожи друг на друга все колена; вероятно, все народы. Дан тебя не выдаст.

Цидкия бен-Перахья разжмурил на мгновение глаза, что-то промычал и кивнул головою подтвердительно.

Иорам продолжал:

— Но Иуда, если бы ты был судьей в Хевроне и дело сложилось так, как сложилось, — Иуда посыпал бы пеплом голову и отдал бы тебя филистимлянам. Я тебе скажу то, чему ни ты, ни кто другой еще сегодня не поверит; но это правда. Не трус Иуда; но

Иуда хочет жить, потому что в душе его затаен замысел. Какой замысел — я не знаю: не дано человеку самому толковать свои сновидения, и не всегда помнит он поутру, что приснилось ему ночью. Но такой это замысел, какого нет в душе других колен. Иаков, отец наш, разделил свою душу между сынами и внуками: вкрадчивое очарование свое отдал Ефрему; страсть любовника, покоряющую женщин, Вениамину; жажду скитания, создающую новые города, Дану. Но свой дар сновидца и свое упорство погони за невнятными снами — он завещал Иуде; и, как он, пойдет Иуда, ради невнятного замысла, на раздор и с отцом, и с братом, и с богом; и схитрит, и солжет — и изменит, Самсон, предаст лучшего и ближайшего, ради того замысла, на неслыханные муки.

Цидкия бен-Перахья неожиданно фыркнул с явным пренебрежением и насмешливо отозвался:

— «Муки»? Ха!

И, зажмурив теперь один только глаз, он этим взглядом, непонятно зачем, как будто подмигнул Самсону.

— Даже на муки, — повторил Иорам сурово. — В последние годы, на покое, часто я слушаю рассказы бродячих левитов о старине нашего племени. Много в этой повести измен. Авраам, первый наш родоначальник, святой и мудрый человек, не одно, а три предательства совершил на своем веку: старшего сына, малютку, вместе с матерью неповинными бросил на безводную смерть в пустыне; другого сына сам поверг на костер; и от жены своей Сарры, нашей матери, отрекся пред язычниками, отдал ее в наложницы князю Герара, лишь бы не погибнуть. Ибо Иегова заключил с ним союз и дал ему замысел; и сегодня, через цепь поколений, Иуда хранит древнюю заповедь. Она для нас то, что для Дана судья: ее мы не выдадим, но ради нее предадим все остальное. Иуда должен жить, Самсон: жить — какой бы ни было ценою.

Самсон молчал.

— Значит, быть между нами войне, — говорил Иорам из Текоа. — Дань, которую требуют сараны за твою шутку, Иуда уплатит; если не может он дать им одну твою голову, должен будет отдать за нее тысячи голов дановых, и сожженные виноградники, и разрушенные города от Гимзо до Айялона. И помни мое слово, Самсон: тогда, от Гимзо до Айялона, не вспомнит ни один из сирот дановых о том, что сегодня у ворот ты, Самсон, не произнес ни слова, что сами пришли к тебе ночью отцы их и сказали: мы с тобою, судья! — Забудут они об этом и скажут: он подстрекал, он молил бойцов Дана «спасите меня!», он за себя одного обездолил наше колено. И сотрется тогда навеки имя Самсона, спалившего Тимнату: поджигателем Цоры останешься ты в людской памяти. Не принимай жертвы, Самсон. Я стар, я знаю природу человека: ростовщик он по природе, его жертва — заем; горе должнику, если не уплатит он сторичного роста.

Цидкия бен-Перахья, услышав слово «ростовщик», опять разжмурил один глаз — и кивнул головою, подтверждая правильное рассуждение.

После этого они долго молчали. Иорам тяжело и устало сел на скамью; в его голосе, когда он говорил, это не чувствовалось, но все в нем изнутри было разорено и выжжено, как та земля после нашествия, которую он только что описывал. В то самое время, как он убеждал Самсона, вспоминалась ему беседа в пещере, и юный великан, который тоже пришел тогда с большим и дерзким замыслом; вспоминалась Иораму и его собственная молодость, боевые набеги в пустыне, погоня за врагом, вражья погоня за ним, три дня без воды — дела простые и честные, непохожие на то, что выпало ему на долю сегодня. Сто раз ему хотелось оборвать свою речь и крикнуть Самсону другое; но он продолжал свою речь, и теперь у него не было силы, и он горько и гневно думал о том, что нет грани между правдой и кривдой. А о чем думал Самсон, того и Самсон не мог бы рассказать:

как тучи за бурей, неслись в его мозгу черные обрывки мыслей.

Тем временем стало светать; и, преодолевая усталость и стыд и отвращение к самому себе, Иорам из Текоа сказал свое последнее слово:

— Легче было бы мне вырвать язык из гортани, чем произнести все то, что я произнес; и, хотя ты молчишь, мне понятна речь твоей души: вся она в одном слове — презрение. Слушай, Самсон. Люди говорят, что ты нас всех презираешь, Дана, Иуду и Ефрема; и, быть может, ты прав, ибо есть народы, созданные из мрамора, а нас вылепил Иегова из скользкой глины и хрупкой соломы. Но глина с соломой вместе дают кирпич: крепкий это камень. Приходили к тебе в эту ночь товарищи даниты; я знаю, что они сказали тебе: скала так не загремит под ударом, как гремела их прямая и верная речь. Был у тебя в эту ночь Махбонай бен-Шуни, родом левит, осколок бездомного сброда из помета всех колен: я знаю, что сказал он тебе, и знаю, что ты встал перед ним и покорился, ибо и в его словах был отголосок величия. Теперь мы пред тобою; мы люди худые и малые, говорим недостойными устами, но мысль наша — куст неопалимый, лестница от земли до неба. Кто бы ни был отец твой, Самсон, не презирай и нас, семя твоей матери. Большие сердца, одно за другим, распахнулись пред тобою в эту ночь; ты ли, самый могучий среди нас, окажешься малым? Больше говорить я не буду; решай.

Он встал и пошел к выходу; Цидкия бен-Перахья поднялся за ним, посмотрел на Самсона и вдруг уже совсем явно подмигнул ему, и снова сказал неожиданно и непонятно:

— Пустяки; все кончится по-хорошему. Ха!

Но Иорам еще остановился у порога и через силу, запинаясь, прибавил:

— Одно я забыл. Даже если ты согласишься, Цора тебя не отдаст, и приказу твоему не подчинится, и будет война.

Самсон усмехнулся и спросил:

— Что же, не скрыться ли мне от друзей и бежать потайно в землю Иуды — для вашего удобства?

Иорам ответил:

— Да.

Когда закрылась дверь за послами, Самсон опять подошел к телу Маноя. От сквозного ветра с груди Маноя сползло одеяло. Самсон поправил одеяло, застонал долгим, глубоким стоном, повернулся и вышел на двор. Город еще спал после бессонной ночи.

* * *

Через три дня пришел в Текоа гонец и сказал Иораму, сыну Калева:

— Самсон ждет тебя один в пустыне Иудейской, в утесах близ Баал-Меона. Присылай стражу.

ТРИ ЗЕЛЬЯ

Скоро должно было взойти солнце; а на небе от недавней грозы уже не осталось ни одного облака. Зато богатый след она оставила на земле. И холмы, и долина Сорека умылись начисто и теперь сами себе радовались, как малое дитя, когда мать уже кончила его купать и вытирать и причесывать, поцеловала и сказала: «вот теперь ты красавец!» Когда побежали по ней первые лучи, зелень со всех сторон засверкала так задорно, что Самсону почудилось, будто она звенит. За две ночи ливня пробилась новая трава, и цветы красные, лиловые, желтые и других окрасок. Самсон старался припомнить, как назывались эти все оттенки. В бедном и сухом словаре данитов почти не было таких слов: учила им его когда-то Семадар, но это было давно. Одно он запомнил: есть зеленый камень чудного блеска, по имени изумруд; одна-

жды Семадар пела песню, где было такое место: «виноградники наши похожи на изумруд» — «керамэну семадар...»

Самсон ехал на коне со стороны земли иевуситов. Почему в ту ночь он вдруг повернул коня к западу, на равнину, в сторону Сорек, — он и сам не знал. Он вообще не знал, даже когда держал прямо на север, куда едет: может быть, в новую землю Дана близ Лайша, может быть, за Иордан, совсем на чужбину. Вдруг, среди ночи, его потянуло к руслу Сорек. Во все эти дни он почти ни разу не вспомнил о Далиле, а теперь его потянуло к руслу Сорек, где стоит ее шатер. Он даже забыл рассудить, что ни шатра, ни Далилы, вероятно, там уж не будет. Больше недели прошло с их прощанья; и, должно быть, она слышала о его судьбе и вернулась домой. Он и не подумал об этом. Он ни о чем определенно не думал; он так устал, что и спать не мог; когда нужно было дать отдых коню, он сидел неподвижно часами на камне, а потом ехал дальше; но, хотя двигались его руки и ноги, голова не работала. Он только смутно чувствовал, что теперь он бродяга, и нет у него нигде близкого человека, а в том шатре будет уют и радостный прием.

Но солнце и зелень подбодрили его; он пустил коня вскачь. Он опять уже был на филистимской земле; но то был округ малолюдный, часто попадались дикие заросли, встретить было некого — да и кто его тронет, когда он не связан? Скоро он обогнул последний холм и сквозь деревья увидел воду. Сухое русло наполнилось, Сорек на зиму стал речкой. Потом он увидел и шатер и только тут сообразил, что мог бы и не застать его, и весело улыбнулся. Привязав коня, он осторожно, без шума, обогнул палатку и подошел ко входу, чтобы нагнуться над постелью и разбудить — но полотно у входа уже было отвязано, а сзади он услышал возглас и свое имя.

Он обернулся и с крутого берега увидел Далилу в речке; вода ей доходила до колен, волосы под солн-

цем отливали красной медью, руки были подняты ему навстречу, и, вся вытянувшись к нему, она казалась тоненькой, словно подросток.

— Я знала! — крикнула она; выбежала на берег, подхватила с земли на бегу мохнатый плащ и на бегу закуталась, и через мгновение Самсон на руках уносил ее в шатер. Она плакала и смеялась заодно, ее руки жадно бегали по его лицу, волосам, по плечам и коленям; она шептала, задыхаясь, какие-то бессвязные слова радости и нежности и повторяла:

— Я знала, что ты вернешься; не хотела уйти...

Потом, не отпуская, она стала совсем по-женски задавать вопрос за вопросом, такие вопросы, что на каждый надо было бы ответить длинным рассказом, а ответов она не дожидалась. Ее расспросы были пока только другой формой ласки, еще одним способом прижаться к нему теснее. Она была в самом деле сама не своя от счастья. Но вдруг ее голос оборвался, она отстранилась и тревожно окликнула его:

— Самсон? Что такое?..

С ним и вправду было что-то странное. Он морщил лоб, моргал глазами, медленно поводил головою, как бывало, когда старался понять трудную мысль. Какую мысль — он и сам бы не умел сказать: он был утомлен вконец, как еще ни разу в жизни; даже имя «Далила» ему трудно было бы выговорить. Но что-то ему казалось неладно; особенно только что, когда он ее увидел с берега; почему-то это было нехорошо, этого не должно было быть. В просвете вялой памяти мелькнул опять сон, который ему привиделся тогда, связанному на коне — долина, пчелы, стройный мальчик и еще что-то, самое важное — но просвет сейчас же потух, и он только беспомощно моргал ресницами, глядя на нее.

— Ты устал, бедный мой, — сказала Далила. — Не рассказывай ничего, не надо; потом. Я тебя накормлю, и ты выспишься.

Не замечая, что с ним делают, он проглотил и выпил, что подали, дал себя разуть и обмыть ноги, лег,

куда положили, закрыл глаза и не двигался. Далила села на пол у изголовья. Но не шел к нему сон. Спали мысли, спали мускулы, но сам он не спал; это было мучительно, вроде голода или той ноющей боли от тугих веревок. Долго он так пролежал; наконец открыл глаза и встретил взгляд Далилы. Опять мелькнул просвет в его памяти: что-то неладно... — и опять лень было доискиваться, что именно. Только, несмотря на туман сознания, он заметил, что Далила под его взглядом вздрогнула, вспыхнула, потом побледнела. На полмгновения проснулось в нем старое, особенное его чутье, обычно помогавшее ему читать мысли человека — но и этот инстинкт, словно один из тех голубей, которым бен-Шуни отрывал у алтаря головки, только махнул крыльями и не полетел.

— Не спится... — протянул он досадливо.

Далила встала, отошла так, что ее не было видно, и оттуда сказала:

— У меня есть сонная трава: но тебя ведь зелья не берут?

Он отозвался:

— Сейчас я не я; меня и ребенок повалит. Может быть, и зелье меня сегодня возьмет.

Она пошла к столу, где расставлены были ее флаконы и баночки: взяла одну, потом другую; но глаза ее тревожно бегали, она закусил губу. Вдруг она пристально взгляделась в него, улыбнулась, подошла к нему неслышно, наклонилась, закрыла ему глаза обеими руками и шепнула:

— Самсон... Я тебе дам сонной травы, только не сразу. Раньше выпей другую.

Он молчал; она шепнула еще тише:

— Раньше такую траву, от которой ты меня будешь любить; это будет, как гроза; а потом тебе станет легко, и тогда я дам тебе сонное зелье, и снова все будет по-хорошему...

Он ничего не ответил; она побежала к столу, что-то раскупирила, что-то высыпала в чашечку, стала смешивать и растирать — остановилась, обернулась

в его сторону и сказала вполголоса, сквозь дрожь подавленных слез:

— Потому что сегодня ты меня не любишь...

Он не ответил; должно быть, и не расслышал.

* * *

Самсон был прав: прошедшая неделя сломила его, сегодня он был такой же, как другие люди, без защиты пред силой могучих и тонких настоев, которые привезла Далила из мудрого Египта. В шатре было темно: Далила завязала дверь, как будто на ночь; но и ночи такой у них еще никогда не было.

Нельзя про это рассказывать. Но в стране было предание, что когда-то сходили на землю сыновья богов и брали в жены человеческих дочерей для нечеловеческой радости. Далиле казалось, что сегодня это правда. В жилах Самсона плыла самая ясная земная кровь, беспримесный, беспорочный сок всех почв и деревьев и родников Ханаана; только у вола, у коня, у пантеры может быть такая кровь — среди людей ее не бывало и никогда больше не будет. Это принес на пир их Самсон; а Далила принесла свою любовь, похожую на жажду. Если бы можно было человеку много лет прожить в пустыне без капли воды, в каждое мгновение томясь о воде, и не умереть, а только накопить раскаленную жажду: такую жажду принесла на пир их Далила. Но ученые жрецы Мемфиса в течение долгих столетий кипятили в изогнутых склянках семена, травы, органы зверей, гадов и букашек, отбирая и сочетая острые яды плодородия: десять капель этого зелья брызнула Далила в вино для Самсона и сама до него отпила один глоток. Оттого и нельзя, даже если бы дозволено было, рассказать этот день, как нельзя рассказать солнечный свет или бурю.

Можно было бы рассказать их слова; но они их сами не слышали: говорили, как в бреду, каждый свое.

Так убыло много времени. Солнце шло к закату,

когда Далила откинула завесу над входом шатра и опять села на пол у изголовья постели. Самсон лежал и смотрел на нее; карие глаза его ушли глубоко под брови и казались черными от расширенных зрачков; но она выпила только один глоток — ее глаза, из темно-лиловой рамки утомленных век, переливались зелеными огоньками. Солнце било наискось в ее волосы, вся голова ее была в пушистом ворохе золота, и оттуда, как из окошечка, выглядывало бледное, усталое, счастливое лицо. Она гладила его лоб и волосы; расплела ему косицы, проскользнула сквозь них пальцами к самой коже и несколько раз провела кончиками пальцев по темени. Он закрыл глаза и сказал:

— Это хорошо. Еще.

Через минуту она спросила:

— Теперь сам заснешь? Или дать тебе то, другое зелье?

Он покачал головой и тронул ее руку: по прикосновению она поняла, что еще первое не развеялось, и скоро снова вспыхнет. Она засмеялась от гордого счастья. Несмотря на утомление, ей хотелось плясать или бить в ладоши. На столбе висела лютня; она скрестила на полу ноги, положила лютню на колени и запела что-то задорное по-египетски, оборвала и начала другое, опять оборвала и перешла на песню, которую много пели когда-то в Филистии, но давно уже забыли:

«Я твоя, милый, когда ты со мною; когда ты уйдешь на войну — что тебе до того, чье ложе услышит мой шепот? Я верна тебе, вечно тебе.

Море в часы прилива плещет навстречу луне. Пусть, в безлунные ночи, кажется звездам, будто ради них вздымается морская грудь. Глупые звезды! Светит ли месяц, скрылся ли месяц — но прилив от него, для него и к нему».

Самсон приподнялся, не раскрывая глаз, и протянул к ней руки; и когда она была в его руках, он, сквозь стиснутые зубы, вдруг сказал ей слова, которых

еще никогда она от него не слышала, о которых даже в чаду тех часов не посмела просить: — Голубка моя — любимая...

Ей казалось, что она задохнется, так застучало ее сердце от радости; солнце для нее померкло, весь мир исчез, только она и он остались, и между ними это страшное слово «люблю», которого никто, даже сам вечер не должен подслушать; и, прильнув к его уху, она едва внятно переспросила:

— Любишь?

— Люблю.

— Давно ли?

— Всю жизнь.

— Отчего не сказал?

— Я говорил, ты забыла.

Он откликнулся как в бреду, без смысла, но ей казалось, что она понимает; или ничего не казалось — просто было без конца хорошо.

— А ты знаешь, сколько я по тебе тосковала?

— И я по тебе тосковал.

— Еще до той ночи — в Газе?

— Еще с того первого утра — весной, — когда ты сказала «я боюсь» — помнишь? — в Тимнате.

Что-то резко ушибло Далилу в самое сердце. Ей стало страшно и холодно; она попыталась высвободиться и жалобно сказала:

— Пусти меня, Самсон, я хочу видеть твои глаза...

Но уже в глазах Самсона ничего нельзя было прочесть, кроме горячки от последних капель ее зелья; и глядели они, как будто не видя, взором человека в горячке. Она хотела вырваться, но он притянул ее к себе и говорил, задыхаясь:

— Я тебя любил все эти годы. Только я не знал, что ты можешь вернуться. Ты не умерла? Или умерла и все-таки вернулась? Я отомстил за тебя — я сжег Тимнату дотла, я раздавил Ахтуру череп между коленями. Но я не думал, что ты вернешься. В Газе, в ту ночь, когда ты меня спасла, мне казалось, что я узнал тебя — почему ты не назвалась, не сказа-

ла, кто ты? Но я узнал тебя; только вслух не говорил, но в душе, каждый раз, и тогда в Газе, и в эти семь ночей в твоём шатре, и сегодня — я про себя твердил твоё имя, твоё имя —

Ещё до того, как он договорил, она пыталась высвободить руку, чтобы закрыть ему губы, не дать произнести то имя; но в тисках его рук нельзя было шевельнуться, и прямо в лицо ей, обжигая дыханием, он повторил два раза:

— Семадар...

Она закричала: Пусти меня — я тебя ненавижу! — но крик утонул в его поцелуе, и она не могла оторвать губ. Со стоном и хрипом последнего бешенства она укусила его; но Самсон не почувствовал. Крепкие снадобья делали жрецы в Мемфисе; пять капель считалось довольно, а она дала Самсону десять; и, должно быть, последняя капля была крепче других.

* * *

Стемнело. У входа показалась негритянка со светильней в руке. Она осторожно заглянула в шатер. Госпожа ее лежала на ковре, лицом вниз, закутав голову в комканное платье: при неверном свете эфипке почудилось, что шелк этого платья изодран в лоскутья. Далила подняла голову, и лицо ее тоже показалось рабыне странным. Без слов, она жестом спросила, подавать ли ужин; Далила жестом ответила: ступай прочь. Негритянка оставила светильню у двери и ушла.

Далила поднялась. Зубы ее стучали: стало холодно; она завернулась во что попало. Самсон давно лежал с закрытыми глазами, не шевелясь; на шорох ее движений он не отозвался. Она подошла к постели: он, по-видимому, спал, но дышал беспокойно и двигал губами. Она усмехнулась горько и злобно; сто недобрых мыслей хлынуло ей в голову, но для больших решений она еще недостаточно пришла в себя с той минуты пытки и позора. Ей только захотелось

разбудить его и сказать — что сказать, она так и не придумала. Пусть спит. Чем крепче, тем лучше. Можно будет придумать, из ста недобрых мыслей выбрать одну; только нужно время, и чтобы он спал. Но спит ли он? Крепко ли?

Она его окликнула, не очень громко, первыми словами, какие пришли в голову:

— Самсон! Филистимляне идут!

Он сразу рванулся на постели, сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутила, — сказала она, — хотела проверить, уснул ли ты.

Подняв светильню, она пошла к своему столу, отобрала нужные флаконы и смешала ему сонное питье. Он сидел, бормоча, потирая то лоб, то затылок, то грудь. Каждый звук его движений хлестал по ней противно и ненавистно; ее рука задрожала от отвращения, она едва не сбилась в счете капель. Опять ровно десять. Ей подумалось: почему не больше? Не двадцать? Не весь флакон? От двадцати, говорят, человеку не проснуться. Но другая какая-то мысль, еще не вполне созревшая, перебила эту. Десять, больше не надо. Пусть заснет; она останется одна, в тишине, и можно будет думать: это главное.

— Пей.

Он выпил послушно, обтер губы тылом руки по-мужицки, лег и закрыл глаза. Даже вкус того, что выпил, он не сразу понял: только спустя минуту он сделал гримасу и лениво проговорил: «горькое». Вдруг у него как-то отвалились и голова, и руки, дыхание выровнялось, и он заснул.

Далила долго стояла у входа. Было совсем холодно: опять застучали у нее зубы. Из зарослей, позади шатра, донеслось ленивое чавканье и стук переступающих копыт о траву, и голос негритянки, ласкавшей привязанную лошадь. Далила прислушалась, сдвинув брови; оглянулась на постель и неслышно пошла в сторону рощи.

Эфиопка была родом из нубийской пустыни, где

мужчины и женщины с детства умели держаться верхом на верблюде, на муле, на чем угодно, даже на лошади. После разговора с Далилой она тихо увела коня подальше от речки, трепля ему шею и уговаривая не топтать и не ржать. Отойдя достаточно далеко, она вскочила на него без стремян и понеслась в сторону Экрона.

* * *

Далила снова сидела на ковре, не сводя глаз со спящего. Она закуталась и сгорбилась, не было видно ни лица ее, ни волос; со стороны можно было бы ее принять и за ребенка, и за старуху. Самсон не шевелился; он дышал во сне ровно, медленно и беззвучно. Он лежал на правом боку; волосы, которые она оставила незаплетенными, рассыпались на подушке. Одна прядь упала ему на лоб и дальше, до самых губ. Сама не замечая, по привычке, Далила протянула руку и откинула прядь; ее пальцы при этом нечаянно коснулись щеки Самсона — она вся сжалась от испуга, но он не проснулся, даже не двинулся. Близко где-то вдруг хором заплакали шакалы; потом что-то живое грузно бухнулось в воду; Самсон спал.

Осмелев, она поднялась оправить светильню. Свет упал на Самсона с другой стороны; его лицо показалось ей таким прекрасным, что сердце ее на мгновение остановилось и глазам стало горько от слез. Ей хотелось броситься к нему, не то целовать, не то душить. Не от любви, не от ненависти: все в ней теперь отупело, и чувства, и воображение, только работала четкая, упругая, быстрая мысль. План у нее был, но не картина: она послала нубийку в Экрон, знала, что произойдет, но еще не представляла себе, как это получится и на что будет похоже. Почему-то захотелось опять окликнуть его — не то снова проверить, крепок ли сон, не то испытать судьбу или саму себя подразнить страхом. Она повторила несколько раз, все громче и громче, тот же оклик: «филистимляне

идут, Самсон!» Самсон не слышал. Она совсем уже громко рассмеялась. Задор охватил ее: она ударила сразу по всем струнам лютни, топнула ногою, толкнула стол с зазвеневшими склянками и баночками, провела всей ладонью по лицу Самсона — он не двинулся, не перевел дыхания. Ей стало смешно и весело, захотелось дурачиться: она присела за изголовьем и заплела одну из его косиц, посмотрела на свою работу, надула губы, опять расплела. — Вдруг она изменилась в лице, бросила прядь, отодвинулась, сжалась и забилась в угол. Жуткое чувство охватило ее: что все это уже было когда-то. Спящий великан, который не слышит прикосновений; женская фигура у его постели; ночь. Вот-вот он проснется — и проговорит то же имя, с которым уснул, самое ненавистное имя на свете, — и толкнет ее пяткою в лицо?.. Она быстро нагнула голову и заслонила ее руками; опомнилась, вскочила, укусила свою руку до боли и сказала, задыхаясь и стуча зубами:

— На этот раз не ударишь.

Только тут она заметила, что ей холодно. Платок, в который она прежде завернулась, давно соскользнул. Надо одеться по-настоящему: к рассвету придут гости. Она пошла за перегородку шатра, где на длинном толстом шнуре висели ее платья, ощупью выбрала и вернулась к свету одеваться. Теперь она была совершенно спокойна. Погляделась в зеркало, распустила и причесала волосы, вытерла лицо и шею сначала мазью, потом насухо; провела рукой осторожно под мышками — гладко ли, не нужно ли провести бритвой или раскупорить баночку ароматного щелока, лучше лучшей бритвы: но оказалось, не нужно. Потом она оделась, внимательно проделывая все подробности, завязывая, застегивая. Это был один из ее нарядов египетского покроя. К нему полагался «кафтор»: она открыла шкатулку и достала оттуда, из вороха цепочек и ожерелий, аметистовый овал в форме жука; и ей вспомнилась беседа с Самсоном об этом украшении, о золотых кольцах в носу у неволь-

ника, о дворянах из земли Вениамина, которым он обрел когда-то бороды, и о том, почему важнее человеку ненужное, чем нужное.

В светильне перегорел какой-то комок, мешавший фитилю разгореться, и пламя вдруг вспыхнуло ярче; оно как будто осветило перед Далилой ее собственные думы. Только теперь она их поняла — отдала себе отчет, почему отлила в сонную чашу только десять капель, а не двадцать и не сто. Убить можно в отплату за боль; но за срам — смерть не расплата. Жить весь век, сколько себя помнишь, одним и тем же голодом; с первого утра ненавидеть одно и то же существо, заслонившее тебе дорогу; пронести свою мечту сквозь семь костров пекла, называемого жизнью, под надругательством пьяных туземцев в ночь пожара, под плетью работаровца, в грязи дешевых египетских притонов, в гареме гнилого старика, покрытого чесоткой, — через это все, и даже через тупосытое однообразно пьяное веселое житье богатой блудницы пронести мечту об одном облике, одном голосе; найти его, взять его, пить его близость — и вдруг узнать, что ты для него не ты, что твои волосы, глаза, песня и ласка милы ему только через память о другой — о той же самой другой, которая отняла его у тебя с первого утра... За это нельзя просто убить: срам останется неутоленным, зеркало и птицы и ветер будут над ней издеваться. Одна расплата за срам: срамом.

Ее движения были теперь неторопливые, точные и бесшумные. Она аккуратно расставила у изголовья свои баночки, положила на ковер подушки, уселась на них так, чтобы ей было удобно работать; обмакнула губку в теплую жирную воду, провела ею по волосам спящего, опять и опять, с каждым разом смелее и крепче выжимая ароматную пену. Потом опустила кончики пальцев в одну и другую из банок, растерла пахучую смесь и осторожно вползла пальцами обеих рук в скользкую гриву. Ее пальцы двигались медленно, как гусеницы, подбираясь к коже те-

мени, висков и затылка; добрались, прильнули, нежно и ровно защекотали, вперед и назад, вправо и влево. Со стороны это было похоже на ласку; самой Далиле минутами казалось, что у нее заснул усталый ребенок и она его гладит по головке — ей хотелось запеть над ним колыбельную песню; может быть, она и запела ее вполголоса. Но Самсон ничего не слышал.

... Кончив, она так же аккуратно собрала все пряди в сноп, выровняла, уложила в корзиночку; принесла светильню и долго смотрела на лоснящийся череп. Ей даже не пришло в голову, что Самсон теперь сам на себя не похож: она смотрела не на Самсона, а на череп, как рабочий, который выложил ряд кирпичей и проверяет, ровно ли выложил, а про то, какой получится из этого дом, он и не думает. Зато она решила, что теперь надо смыть с черепа мазь и мыло, а то некрасиво: достала другую губку и полотенца, омыла Самсону темя, лоб, виски; хотела омыть и затылок, но нашла это невозможным и озабоченно прошептала «жаль». Вдруг издалека донесся до нее топот; и, оглянувшись, она увидела, что светает. С той же методичностью хорошей, бережливой хозяйки она прикрыла колпачком светильню; в шатре стало темно; и как прежде вспышка фитиля, так теперь вспышка темноты вдруг толкнула и разбудила ее мысли, и они смерчем закружились у нее в голове.

Далила на цыпочках выбежала из шатра. Полнеба уже посерела; со стороны моря, которого оттуда не видно, подымался предрассветный перламутр. Топот стих: отряд, должно быть, спешился, чтобы не шуметь. Скоро она услышала смутный отголосок шагов; потом на пригорке, среди низкой заросли, показался человек. Он ее не мог видеть, но сам он ясно очертился на заревой стороне неба, и каска его тускло блестела. По жестам видно было, что он рассылает солдат направо и налево, чтобы оцепить место со всех сторон. Небо с того края быстро розовело. На пригорке показался отряд, человек двадцать и

больше; у них были копья. Потом, ближе к реке, выступила на алом небе другая группа: у этих не было копей, но по негромкой команде офицера они подняли кверху тонкие длинные шесты, держа их над головами горизонтально; по второй команде перечеркнули их наперерез другими палками, еще тоньше, и отвесными; по третьей команде горизонтальные шесты изогнулись дугою и превратились в натянутые луки со стрелами наготове и опустились книзу. Тогда сотник обернулся к шатру, увидел Далилу, махнул ей приветственно рукою и знаком спросил, указывая на шатер: там? Спит?

Далила кивнула головою; хотела было пойти на встречу, но ноги не тронулись с места. Опять охватил ее озноб и застучали зубы. Солдаты медленно подвигались вперед, одни с пиками наперевес, другие с луками пред собою. Офицер шел впереди, подняв рукоятку меча вровень с головою. Он смотрел куда-то через голову Далилы, вытягивая шею: увидел, кого ждал, и замахал им мечом. Далила обернулась: с той стороны тоже шли солдаты. Ей стало страшно, как будто она сама попала в ловушку; и особенно страшными показались ей два солдата без копей и луков — они тащили на ремнях какие-то бревна. Еще через мгновение она узнала эти бревна: видела такие на торговых площадях и в Египте, и в Филистии. Это были колодки для рук и ног, для рук Самсона и для ног Самсона...

Далила пошатнулась, схватилась за голову, закричала что-то непонятное. Офицер встревоженно погрозил ей пальцем и негромко, но внятно сказал — или ей так показалось (между ними еще было шагов тридцать): «разбудишь».

Она бросилась в шатер. Не отдавая себе ни в чем отчета, с головы до ног дрожа, она схватила спящего за плечи, изо всей силы тряхнула их, застучала кулаками по его груди, по лицу, по голове. Он перевел дыхание, забормотал, но не проснулся. Она нагнулась к его уху и, что было голоса, завопила:

— Самсон, это филистимляне!

Крик ее донесся далеко во все стороны: снаружи послышалось громкое ругательство сотника, торопливый топот бегущих к шатру солдат. В полумраке палатки она видела, что Самсон мотнул головою; он опять что-то проговорил, двинул рукою — но не пронулся.

Шаги офицера послышались у самого порога. Далила бросилась ему навстречу, заслоняя вход. Он грубо выругался, схватил ее за плечо и отшвырнул назад. Она упала у изголовья постели; все помутилось у нее в голове, силы не было больше кричать; но еще одна отчаянная, нестерпимая мысль пролетела в ее сознании — и, ударив себя обеими кулаками в виски, она простонала:

— Самсон, они меня режут — меня — Семадар!

Что-то тяжело рванулось на постели над ее головой. Самсон лежал, но его ровное дыхание оборвалось. Глаза Далилы, привыкшие к темноте, увидели, как поднялись его веки — и сейчас же замкнулись. Сотник стоял уже внутри шатра и вглядывался. Самсон не шевелился.

— Если ты еще раз откроешь рот, гадина, — прошептал сотник, наклоняясь над Далилой, — я тебя приколю.

Она молчала и смотрела на него, он на Самсона. Самсон опять дышал ровно, как спящий. Офицер повернулся к выходу, уже протянул вперед руку, чтобы жестом позвать солдат — в это мгновение Самсон, почти не шевелясь, вытащил из-под затылка подушку и сзади швырнул ее сотнику в голову. Сотник пошатнулся, взмахнул руками; прежде чем он успел упасть ничком, уже Самсон зажал ему руки за спину в левой руке, а правой закрыл ему рот.

Далила поднялась на колени и, опираясь обеими руками о ковер, подняла к нему лицо.

— Это не я, — сказала она, плача, — это моя негритянка поскакала за ними...

Он спросил без выражения, как человек, еще не

совсем проснувшийся и действующий только инстинктом:

- Много их?
- Много...
- У них луки?
- Да...

Самсон поднял офицера с полу и, держа его перед собою, как щит, выступил за порог шатра. Там стояли солдаты сплошным полукругом; все копья наперевес, все луки наготове. Два полусотника поместились с обеих сторон входа; у обоих, при виде Самсона с его живым нагрудником, вырвалось одно и то же проклятие.

Самсон держал их начальника на весу одной рукою, другая все еще прикрывала ему рот. Он слегка свернул голову офицера вправо и сказал громко, но спокойно, шуря глаза — потому что прямо против него над зарослями показался край солнца.

— Положите на землю копья и луки, а сами отойдите на полстрелы назад; иначе я у вас на глазах ему сломаю шею.

Офицер барахтался и что-то мычал — вероятно, пытался крикнуть солдатам, чтобы они его не жалели и делали свое дело. Полусотники, в нерешительности, переглянулись между собою, потом оба разом ступили было к Самсону — он двинул рукою, зажимавшей лицо офицера, и тот протяжно застонал. Полусотники отступили назад, растерянно глядя на Самсона. Самсон засмеялся и обвел прищуренным взглядом весь полукруг. Солдаты смотрели прямо на него; но ему надо было разглядеть выражение лиц, чтобы рассчитать момент, когда можно будет броситься напролом к зарослям, — а солнце почему-то сегодня мешало ему видеть. Никогда ему солнце так не мешало — всегда косматый чуб помогал. Он тряхнул головою, но еще прежде, чем это сделал, ощутил какую-то странную легкость и прохладу на темени. И еще прежде, чем он успел изумиться, почему не падает ему на глаза тяжелый чуб, левый из

полусотников, старый приятель его по ста попойкам, расхохотался и закричал:

— Вот за что ты убил Ахиша — обрил тебя Бривта!

Из полукруга солдат тоже послышался подавленный смех. Самсон мотал головою, как всегда делал, когда силился что-то понять; и каждый поворот головы подтверждал то же странное, жуткое ощущение. Пальцы его, сжимавшие обе скулы офицера, сами собой разжались; он поднял руку к темени, поперхнулся и пробормотал, как-то совсем домашнему, словно обращаясь к друзьям:

— Что это такое?

Ему ответил дружный хохот всего отряда. Солдаты сразу, еще раньше полусотников, заметили, что он лыс, как кочевник из Синайской пустыни, и через силу удерживались от смеха; теперь, видя, что и начальники взялись за бока, они дали себе волю, тыкали пальцами, махали копьями, приседали и наперебой выкрикивали какие-то остроты. Теперь было время кинуться на них, прорваться и бежать; но Самсон не двигался, только голова его дрожала мелким трепетом и хлопали глаза. Офицер что-то кричал солдатам; вдруг он, по-видимому, почувствовал, что и на руках его ослабли тиски; почти без усилия он вырвался, отскочил вперед, обернулся на Самсона, раскрыл глаза, разинул рот и тоже расхохотался:

— Как мать родила, — закричал он, — голый, босый и лысый!

Далила подползла к Самсону, тронула его колено и жалобно сказала:

— Это не я, это...

Ей больше ничего не пришло в голову. Самсон не оглянулся на нее, только поднял ногу и босой пяткой ткнул ее в лицо; потом поднял обе руки и прикрыл ими глаза и голову, как ребенок, ожидающий пощечины. Хохот утих; в воздухе засвистел аркан и обвился вокруг его колен: его рвануло вперед, он зашатался, едва не упал, но не двинул руками и только

еще ниже наклонил голову. Еще через мгновение он лежал на земле под грудой солдатских тел и не защищался.

В ЯМЕ

— Это не так просто, — ответил саран Газы своим вельможам на совещании после того, как трое из них произнесли горячие кровожадные речи.

Совещание носило городской характер. Из остальных четырех саранов трое сообщили, что не видят надобности в съезде. «На каком дереве повесить пойманного разбойника — сами можете решить». Только саран Экрона обещал прибыть, но от него накануне пришло известие, что расследование по делу о побеге Самсона и смерти Ахиша приняло новый оборот, очень любопытный, и теперь нельзя отлучиться.

— Врет, — сказал один из начальников Газы, когда пришла эта весть. — Вероятно, привезли ему новую певчую птицу заморскую, и сидит он у клетки и слушает.

У сарана экронского была, действительно, репутация великого любителя соловьев.

Газа, однако, была в сильном возбуждении, и вельможи настояли на том, чтобы совещания о казни Самсона дальше не откладывать. Но на все их мстительные речи старый саран качал головой и упрямо повторял:

— Это все не так просто.

Он был человек образованный и вдумчивый. Знал языки египетский, греческий и арамейский, вел переписку с учеными и правителями других стран; кроме того, хорошо знал и старинное островное наречие филистимлян, так как сарану полагалось на больших

праздниках выступать в должности главного жреца и говорить с богами Кафтора на любимом их языке. Население уважало его и охотнее, чем к саранам остальных четырех городов, применяло к нему титул местного происхождения: «авимелех», то есть старшина царей. Но у него бывали странности, и одну из них он проявил на этот раз, отказавшись назначить срок для казни.

Совещание затянулось до полудня.

— Подождите, — сказал саран наконец, — через три дня соберемся опять, и тогда я решу.

* * *

Хотя взяли Самсона экронцы, но, по приказу тамошнего начальства, они отвезли его, вместе с колодками, прямо в Газу. Экронский саран был человек рассудительный и считал, что украденные ворота — гораздо больший ущерб, чем смерть его беспутного племянника; поэтому удовольствие расправы надо предоставить Газе. В Газе пленника, не снимая колодок, опустили в глубокую каменную яму с маленьким окошком наверху. В первую же ночь он разбил колодки о стену, что сейчас разнеслось по всей Газе и передавалось из уст в уста с удовлетворением; ибо Газа так и ожидала, что Самсон еще не раз успеет ее удивить, даже когда сдерут с него кожу. Но вылезть из ямы по гладкой стене даже он не мог.

Еду и питье спускали к нему через окошечко, и в изобилии — так было приказано; и ел он много. Но голоса его никто не слышал; впрочем, никто с ним и не пробовал заговаривать через окошко, вокруг которого стояла всегда стража.

На закате того дня, когда во дворце состоялось совещание, сотник сунул голову в окошко и сказал:

— Саран хочет говорить с тобой, но не хочет видеть на тебе ни цепей, ни колодок. Обещаешь ли ты спокойно пойти, спокойно держать себя и спокойно вернуться сюда?

Самсон долго молчал, потом ответил:

— Кому я нужен, тот пускай сам придет.

Через час сотник опять просунул голову:

— Если саран придет к тебе, обещаешь ли ты не сделать ему вреда? Саран велел передать тебе так: если Таиш даст слово, я поверю.

Самсон молчал.

Сотник прибавил:

— И еще он велел передать тебе: приду один, когда совсем стемнеет, и без факела.

Самсон думал именно об этом и оттого молчал: засветло ли придет саран смотреть на его лысую голову? Вдумчивый и тонкий человек был старый владыка Газы.

— Обещаю, — сказал Самсон.

* * *

Полночи просидели они оба в черной темноте. Самсон на полу, саран на каменном выступе. Страже велено было не подслушивать, и никто не слышал их беседы.

— Ты наш, — сказал ему саран. — Я знаю все, что произошло на собрании старшин ваших в Цоре. Ты не гневайся, что я об этом говорю: я человек старый. И наши обычаи не ваши: нет во всем этом деле — если так оно и было — позора ни для женщины, ни для ее сына. Но не в крови суть человека, а в душе. Ты наш; в преданиях Крита и Трои говорится о богатырях, которые были похожи на тебя, как братья; но никогда не бывало таких людей в роду твоей матери, ни у других колен ее племени. Ты им чужой; может быть, наполовину чужой по крови, но совсем чужой сердцем и обычаем.

Самсон долго молчал, потом спросил:

— Для чего ты говоришь об этом?

— Иди к нам, Таиш, — ответил саран. — Ты будешь у нас полководцем над полководцами. Ты создашь для нас — для народа твоей души — великое царство ханаанское. Дор будет наш, и Сидон будет

платить нам дань на севере; Амалек на юге станет нашим уделом до самой границы Египта.

Самсон беззвучно усмехнулся, и саран это угадал, несмотря на мрак.

— Я знаю твой ответ. Ты хочешь спросить: а на востоке? Да, и на востоке должны мы создать единство, порядок, власть и суд. Один Ханаан, от Газы до Рамота, что в Галааде за Иорданом. Но не торопись отвечать; выслушай до конца. Я тебя знаю. Свой или чужой, ты служишь Дану: свой или чужой, ты никогда не согласишься стать разрушителем Дана, ни остальных колен. И не это я тебе предлагаю.

Даже в темноте саран увидел светящиеся глаза, устремленные в его сторону, и догадался об их выражении гнева и насмешки.

— Понимаю, — сказал Самсон. — Я покорю для вас юг и север: вы наберете оттуда новые тысячи войска и пойдете жечь и грабить Дана, Ефрема и Иуду — только без меня.

Саран покачал головой.

— Нет, ты не понял. Мы пойдем на Дана и Ефрема, и на Иуду; и впереди войска пойдешь ты сам; но не жечь и не грабить, а строить. Строить так, как строится веками все великое на свете: силой меча. Скажи, Таиш: вот уже много лет, как ты правишь коленом Дана. Но разве был ты начальником Иуды, судьей для Вениамина? И разве не гневалась твоя душа на этот разброд и раздор между потомками одного праотца? Я говорю с тобой впервые; молодежи нашей, с которой ты пировал, ты тоже говорил только свои прибаутки, а не замыслы; но я твои замыслы знаю, потому что вожди, рожденные вождями, понимают друг друга без слов. Разве не живет в твоём сердце мысль о едином порядке надо всеми коленами, до самых далеких, за Иорданом, под Хермоном, — где сегодня, быть может, и имя твое неведомо?

Самсон не ответил, но сарану и не нужен был словесный ответ.

— Никогда, ни в одной стране, ни в одном племени, — продолжал он, — не создавался единый порядок по доброй воле старшин на сходке у ворот. Мечом строятся большие царства; чаще всего мечом иноземца. В старину, когда мы еще владели островами на море, много таких царств, больших и малых, создали наши полководцы. Налетали в лодках на берег, где жило племя, не знавшее чина и суда; и, покорив, давали ему власть и порядок и гордость. По сей день, на всех языках Моря, зовут таких завоевателей нашим княжеским званием — саранами, хотя производят по-разному. Это пришел я предложить и тебе. Судье не создать царства: царства создают покорители. Покори с нами колена, чью кровь передала тебе твоя мать; железным молотом скуй из них один прочный слиток; создай из них народ, научи его всему, чему ты сам научился у нас — строю, мере, нравам — и, может быть, настанет день, когда будет не пять, а шесть саранов в Великой Филистии, и шестым будешь ты.

Самсон не спускал горящих глаз с того места в темноте, откуда доносились эти слова. До сих пор он откликался небрежно и раздраженно; теперь его голос прозвучал иначе — голос вождя, беседующего с вождем.

— Ты умеешь говорить, старшина царей, — сказал он. — Умеешь ли ты и молчать, когда другой думает?

— Умею. Обдумай, — ответил старик.

Так они просидели в молчании долгое время; потом саран опять увидел против себя две светящиеся точки.

— Знаешь ли ты Филистию, господин? — спросил пленник.

Саран ответил:

— Ни один человек не знает своего лица. Он может знать только отражение в зеркале; если он крив на правый глаз, в зеркале это левый. Что ты знаешь о Филистии?

— Знаю певучую речь, нарядные одежды, учтивый обычай. Знаю и то, что важнее: есть у вас правила для всех дел жизни, от главного до нестоящего дела; чинный порядок на войне, на молитве, в городе. И знаю то, что еще важнее: сытое сердце. Бывает сердце голодное: оно всегда настороже, оно забрасывает сети и высматривает добычу. И бывает сердце сытое, которое зевает перед сном и ни о чем больше не тоскует.

Теперь саран молчал; а его глаз Самсону не было видно — они вообще не блестели, а теперь старик еще прикрыл их опущенными веками.

— Судья, городской начальник, сотник, — говорил Самсон, — я всегда на них у вас любовался, так они ловко и точно проделывают обряд своей должности; но потом они приходят в дом блудницы и смеются над этим обрядом. По праздникам они все надевают платья древнего образца, сидят в храме неподвижно и бесшумно. Но потом, за чашей, они говорят про то, что праздничная одежда женщин, с голой грудью, много приятнее будничной, и спорят, у кого круглее грудь, у Харситы или Агувы; а Дагона, которому утром молились, называют помесью осла и седлочки и Вельзевула — если это в Экроне — царем блох.

— В деле, не в забаве познается корень человека, — строго сказал саран.

— В деле познается, что за человек он сегодня, — ответил Самсон, — но только за чашей открывает он тебе, каким он будет завтра; сам или его внук. Дело? Делают они все, что нужно; так, как нужно. Но надо всем, что делают, трунят; и корень, о котором ты говоришь, давно изъела эта насмешка. Строй вашей жизни подобен лучшей ткани, пригнана каждая нитка к нитке; но ткали ее ваши деды, и их давно уже нет; вы ее храните и носите по привычке, без ревности — никто не порвет; но, если порвется, никто не починит... Корень? Все я видел у вас в этой земле, а корня не видел. Пьете вы вкусно, красиво преломля-

ете свой хлеб; но ваши земледельцы, рыбаки, пастухи все остались там, на островах, а здесь вы — как масло над водой, как мох на стене...

— Но нас ты любишь, — сказал саран.

— Вас я люблю, — подтвердил Самсон. — Дана зато не люблю, его родичей ненавижу. Там все по-иному. Когда приходит человеку возраст сидеть у ворот на сходе старейшин, невыносим в своем доме становится тот человек: за месяц до схода и месяц потом говорит только о городской заботе и волчьими глазами глядит на соседа, старого друга, который рассудил по-иному, не по его суждению. Там левит — пройдоха с масляным языком; разбуди его со сна — он тут же сочинит молитву новому богу, о котором никогда не слыхал; но если ты посмеешься над этой же молитвой, он огорчится и отвернется. Жизнь их — как песок, вся из мелочей, но за каждую мелочь они готовы ссориться, радоваться безмерно, убиваться безгранично. У вас есть порядок даже в пашне туземца: он под вашим надзором тоже проводит ровные полосы. У Дана нет надзирателя, пашет он сам, суетливо, бестолково; завидует и соседу, и туземцу, всегда кого-то хочет опередить на всех дорогах, — и оттого повсюду заброшены его сети, повсюду засеяно его зерно. Чина и правила там нет: есть мешанина городов, божниц, мыслей; земледелец ненавидит пастуха, Вениамин Иуду, пророки — всех. Но над этим есть одно единое для всех: голодное сердце. Жадность ко всем вещам, виданным и невиданным. В каждой душе мятеж против того, что есть, и возглас: еще! еще!

— Сброд, — брезгливо отозвался саран, — объединит его только палка. Это я тебе и предлагаю.

Самсон засмеялся:

— Зачем это вам, саран? Чтобы они вас еще скорее проглотили? Все равно проглотят.

Саран отшатнулся; но он был человек сдержанный. Не поддаваясь раздражению, он спросил:

— Неужели ты в это веришь?

Он при этом поднял веки и снова увидел глаза Самсона: они как будто вонзились ему теперь глаубоко в самый мозг. Самсон ответил:

— Вожди, рожденные вождями, понимают друг друга: неужели *ты* в это не веришь?

Теперь в голосе сарана проскользнуло нетерпение. Он сказал:

— Вот во что я верю: когда человек любит одно племя, а другое ненавидит, и в первом у него друзья, а во втором — предатели, то место его — среди своих и против чужих.

— «Любить», «не любить», — ответил Самсон презрительно, — мудрый ты человек, а со мной говоришь языком женщин. Разве по любви распознается свое и чужое? Разве ты любишь должность сарана, любишь считать налоги и судить воров? Я много слышал о тебе: любишь ты свитки из папируса, звезды в небе и рассказы мореходов. А ты все-таки саран.

— Мой отец был сараном и все деды, — напомнил ему голос из темноты.

В ответе Самсона уже послышался гнев:

— Твой намек я понимаю. Оставь это. Если бы и правдой было то, что дошло до тебя со сходки в Цоре, — что в этом? Пусть один из двух предков моих играл на лютне и носил пеструю шапку. Но второй муравьем прополз через рабство, через пустыню; муравьем прорыл ходы в сухой земле этого проклятого края; и все, что встречал, обглодал и проглотил. Может быть, и встретились они лицом к лицу в час моего зачатия; но если и так, то и во мне давно обглодал муравей твою пеструю шапку. Ваша кровь — кубок вина; та кровь — чаша яду; если и смешались они — что осталось от вина? Я не ваш. Зови меня на свои попойки, филистимлянин, — я приду и позабавлю тебя... даже если попойка будет вокруг моей плахи. Пить и шутить с вами я люблю. Но строить? Ты сказал «строить»? С вами? Из вас? Я в вас не верю.

Саран вздохнул, поднялся, пошел прямо на блеск самсоновых глаз и положил ему руку на плечо.

— Юноша, — заговорил он совсем по-другому, голосом, от которого Самсон сразу притих, — я не хотел упоминать о плахе, но ты сам о ней заговорил. Пойми хоть это: я не хочу плахи. Для меня ты — как конь чистой породы, как статуя, сделанная большим искусником; как один из героев, которых когда-то рожали наши женщины от поцелуя богов. Я хочу тебя спасти. Я трижды старше тебя, я все знаю; но я хочу тебя спасти.

Под его рукой огромное плечо дрогнуло. Самсон осторожно взял эту тонкую, хрупкую руку и долго держал ее, не отвечая. Потом он вдруг поднес ее к губам и поцеловал.

— Иди с миром, добрый человек, — сказал он. — Пропадать коню, так пропадать; но это конь — не гиена.

* * *

На третье утрово опять собрались вельможи во дворце у сарана. Прибыл и экронский саран и рассказал им подробно о следствии. Сначала он думал, что Самсона в пути плохо связали и плохо стерегли и виноваты офицеры. Но офицеры все единогласно присягнули, что Ахиш сам велел посадить пленника на лучшую лошадь в отряде и не стягивать ремней под брюхом коня; и что сам, как только понесла его лошадь, он два раза свистнул коню Самсона по-своему, тем свистом, который хорошо знали все его приятели. Выяснилось также, что во время стоянки близ Адораима он вел какие-то тайные переговоры с людьми из Иуды, людьми вида хитрого — и зажиточного. Также выяснилось, что Ахиш недавно проигрался дотла.

— Словом, измена, — закончил саран Экрона свой доклад. — Стыдно мне, что это был мой племянник; но дрянной был он человек, и давно все это знали.

Советники переглянулись.

— Странно, — сказал один, глядя в землю, — странно, что именно ему было поручено такое важное дело.

— А кого я мог послать? — спросил саран, разводя руками. — Все старшие офицеры просили их освободить. Все говорили так: брат Самсона силой, хоть и трудно, мы бы охотно пошли; но ведь вы, сараны, решили иначе — получить его связанным, словно тук шерсти в счет подати; это работа не для нас. Один Ахиш согласился, и еще с радостью — собака!

И, хотя слова его были гневные, но он очень весело рассмеялся. Он был человек живого нрава, охотник поест, сам большой игрок и ничего близко не принимал к сердцу.

— А что вы решили сделать с Таишем? — спросил он.

Все обернулись к сарану Газы. Старик беспокойно заерзал в своем кресле, замялся, закашлялся; но все же ответил твердо:

— Мое решение постановлено: пусть сидит в тюрьме, а казнить его не позволю.

Вельможи развели руками.

— Старшина царей, — сказал один из них, — дозволю представить доводы о том, как опасно держать такого пленника в тюрьме. Человек он необычайный, преград для него нет; если вырвется даже из каменной темницы, никто не изумится. И где порука, что колено его не подошлет и в Газу таких же проныр, как те, что подкупили Ахиша? Игроки, по горло в долгах, найдутся и среди наших офицеров. Хуже всего то, что половина сотников у нас — его друзья. Теперь они сердиты на Таиша, помнят еще о том, как он осрамил нас и обесчестил городскую стену. Но через несколько месяцев досада забудется. Такой уж мы народ: мало думаем о том, что было, и о том, что будет. Солдаты хорошие, но сторожа плохие...

Старый саран, которому эти слова еще живее на-

помнили беседу в тюремной яме, нетерпеливо и упрямо замахал на говорящего рукою.

— Ты меня не учи, — сказал он раздраженно. — Не позволю казнить, и кончено. Нельзя рубить голову такому человеку, все равно как нельзя сжечь свиток, исписанный стихами, или разбить серебряный кубок критской работы. Для зловонного туземца это дело, — не для народа, чьи прадеды еще рождены были во дворцах. Таких людей, как он, редко посылают на землю боги. Ахтур, защитник Трои, был из той самой породы; грек, убивший его, привязал его тело к колеснице и волок его за ноги по полю — но на то и был он грек, сын безродного и необразованного племени разбойников. Разве мы греки?

Вельможи переглянулись и опустили головы. Они знали: начал их саран поминать старые сказания — спорить с ним дальше бесполезно.

— Я вас помирю, — вмешался гость из Экрона. — Твои советники правы, отец и брат мой: держать эту птицу в клетке — все равно что разложить костер на гумне в день умолота. Но я вас помирю. Я ведь уже давно вожусь с птицами в клетках. Есть у меня на службе раб из холодного заморского края, большой искусник в обхождении с соловьями. Он им осторожно выкалывает глаза: тогда они лучше поют, а улететь не могут. Прав и саран ваш, господа вельможи: пристойно ли вам собрать на площади сволочь нашу и туземную и драть кожу с человека, с которым вы сто раз сидели за столом? Да и я, признаться, благодарен ему за то, как он расплатился с моим вороватым племянником: странное, конечно, спасибо за помощь в побеге из плена, но это его дело, не наше. Словом, поступите с Таишем, как с соловьем: тогда он безопасен, малое дитя с ним справится; а он погорюет несколько дней — и примирится, и станет опять любимым шутком Филистии. Я этих дикарей знаю: подвесь его хоть вверх ногами — он через час привыкнет.

— А Железные ворота? — спросил один из собрания, человек мстительного нрава.

— Что такое ворота? — ответил саран экронский.
— Ворота в стене — что глаз во лбу. Око за око: это, кажется, их собственная поговорка. И прекрасно.

* * *

Так они и сделали. В темную ночь разбудили Самсона окриком сверху и спустили к нему в яму толстую плетеную веревку: вылезай. Он полез, хватаясь обеими руками за кожаные узлы. А вверху, по обе стороны окна, стояли два солдата с прутами из раскаленного железа и ждали, чтобы в окне показалась его голова...

СРЕДИ ДРУЗЕЙ

Второй посетитель был Хермеш, тот самый, что когда-то был у Самсона шакалом и после той сходки в Цоре с послами Иуды хотел поднять колено Дана в защиту судьи. Он добрался до Самсона без труда: Самсона не боялись и даже издали не стерегли.

Печальные вести принес он Самсону, о которых Самсон и не подозревал. Филистимляне при нем об этом не говорили, и у него сложилось впечатление, будто все теперь утихло и они забыли о Дане, об Иуде — забыли, как он забыл. Но они не забыли. Опять как в тот год после пожара Тимнаты, когда он ушел в ущелья Этама, — словно стена обвалилась в осажденном городе, и нет больше защиты. Опять бродят филистимские отряды по окрестностям пограничного Гимзо, и скоро, должно быть, опять займут город. Снова пришло в Цору посольство требовать дани; и с послами пришла вооруженная стража и внезапно учинила обыск во всех домах — искала

кузнецов и склады железа; и, хоть можно было стражу перерезать, никто не посмел даже огрызнуться. Только один из старейшин, Авирам, человек гордый, стал на пороге своего дома и кричал: «не пущу!» — но посол Меродах велел его тут же на улице избить, а горожане стояли кругом и не заступились. Он, Хермеш, хотел было собрать молодежь и кинуться в драку, но староста Махбонай бен-Шуни запретил.

— Как звали того посла? — переспросил Самсон, тяжело дыша.

— Меродах. Он из Экрона.

— Когда это было?

— За неделю до весеннего праздника.

Самсон стиснул кулак. В день весеннего праздника этот Меродах из Экрона кутил с ним на паперти храма, обнимал за шею, пел песни — и даже не похвастал, что на днях только был в Цоре и избивал тамошних старшин. И Самсону вдруг пришло в голову, — как будто бы раньше нельзя было догадаться о такой понятной вещи, — что все они, чиновники и сотники, или почти все, не раз за это время побывали, вероятно, и в Цоре, и в Хевроне, вымогали, обыскивали, убивали — а потом пировали с ним, Самсоном, и он им говорил прибаутки.

— А кузнецов и железо нашли? — спросил он сквозь стиснутые зубы.

— Нет, — ответил Хермеш. — За это спасибо Махбонаю. Ему еще накануне донесли какие-то левиты, что к нам идут; и он сейчас велел убрать все, что нужно было убрать, в горы за Чортовой пещерой.

Говорили они в Маиме, на берегу моря. Самсон встал, положил руку на плечо Хермеша и долго шаггал с ним по песку взад и вперед, ничего не говоря, только мотая головою.

— А ты как живешь, Самсон? — робко спросил его Хермеш.

Самсон ответил резко:

— Весело живу; а дальше будет еще веселее.

И по движению мускулов на плече Хермеша под

его рукою он почувствовал, что тот низко опустил голову.

— Мне пора, — сказал наконец Хермеш. — Ответи ли тебя к твоему дому или позвать к тебе детей? Они недалеко.

— Оставь меня здесь. Они сами прибегут.

Хермеш помялся и спросил:

— Передать ли что нашим от тебя?

Самсон подумал, потом сказал медленно:

— Две вещи передай им от меня, два слова. Первое слово: железо. Пусть копят железо. Пусть отдают за железо все, что есть у них: серебро и пшеницу, масло и вино и стада, жен и дочерей. Все за железо. Ничего дороже нет на свете, чем железо. Передашь?

— Передам. Это они поймут.

— Второго слова они еще не поймут; но должны понять, и скоро. Второе слово: царь. Передай это Дану, Вениамину, Иуде, Ефрему: царь! Один человек подаст им знак, и тысячи разом подымут руку. Так у филистимлян; и оттого филистимляне — господа Ханаана. Передай от Цоры до Хеврона и Сихема, и дальше, до Эндора и Лаиша: царь!

— Передам, — сказал Хермеш.

— Ступай, — сказал Самсон.

Хермеш схватил его руку и стал ее целовать; и, не отрываясь от руки, он спросил трепетным голосом:

— Эти два слова я скажу от тебя народу: но людям, нам, которые тебя любили, — нам и нашим детям ничего ты не хочешь сказать?

На руку Самсона упала теплая капля, и еще и еще; на минуту захватило его искушение — рассказать Хермешу то, что открыл ему, умирая, аввеец Анкор. Но зачем? Поздно. И они поверили. Пусть. — И он высвободил руку и ответил, отворачиваясь:

— Ничего.

Хермеш побрел по песку назад; вдруг Самсон его окликнул. Он оглянулся: Самсон старательно вытирал влажный тыл ладони и сказал ему:

— Я передумал. Не два, а три завета передай им от меня: чтобы копили железо, чтобы выбрали царя и чтобы научились смеяться.

ПОСЛЕДНЯЯ

О заключительном дне того праздника подробное письмо написал очевидец, знатный египетский турист, не раз уже бывавший в Филистии. Письмо начертано было демотическим шрифтом, которым в то время еще пользовались только немногие, ибо у жрецов и правительственных писцов он считался выдумкой легкомысленной и безбожной. Несмотря на сравнительную простоту этого способа начертания, автор диктовал его ученому рабу две недели подряд. — что, впрочем, его не стеснило, так как он в это время все равно лежал в постели и оправлялся от ожогов. Письмо было адресовано приятелю автора в Мемфисе, и вот существенная его часть:

«...Праздник жатвы считается главным праздником этого края. Обряды, которыми он обставлен, кажутся мне смесью двух преданий: большая часть их заимствована у здешних коренных племен, теперь уже давно поработанных, но кое-что, по-видимому, действительно занесли предки филистимлян со своих островов. Так, божество Дагон, о котором я писал тебе несколько лет тому назад, в первую поездку мою сюда, а также многолюдные пляски, праздничная одежда — все это, я полагаю, островного происхождения. Но обычай в эти дни украшать храм изнутри камышом, ветвями пальмы, смоковницы, маслины, платана, кипариса и дуба, до того, что и вид, и запах этого убранства напоминают молящимся лес, — этот обычай распространен во всем Ханаане. Даже в туземном предместье Газы, где в

обычное время глаза встречают зрелище грязи и нищеты невообразимой, накануне праздника над дверью каждой лачуги торчало по несколько тощих, но зеленых веток.

«Эту особенность внутреннего убранства капища следует тебе, любезный Тэфнахт, тщательно усвоить, если ты хочешь правильно понять как причины, так и размеры того замечательного события, слух о котором, как я вижу из твоего запроса, дошел и до вас в Мемфисе. Подобное описание самого здания ты, быть может, помнишь из старых моих писем, так же как и описание главной его части — навеса на четырех колоннах из разных каменных пород, под которым находятся идол на золотой подставке и жертвенник. Итак, постарайся представить себе все эти столбы, карнизы, шипы для факелов и статуи обвитыми зеленью до того, что мрамор и гранит только пятнами проступают сквозь зеленый переплет. Зеленым, впрочем, можно было назвать его лишь в первые дни: праздник продолжается неделю. Причем, если в строгом смысле богослужения главным днем считается первый, то в смысле народного разгула особенного внимания заслуживает последний день или, вернее, следующая за ним ночь. О проявлениях этого ликования и о размерах, какие они принимают в эти заключительные часы праздника между закатом солнца и зарею, мне заранее столько тут рассказывали, что я, признаться, с великим любопытством готовился воспринять их всеми органами, предоставленными мне природой; и, поверь, любезный Тэфнахт, памятуя, что и ты в неменьшей мере одарен тем же родом любознательности, я почел бы долгом представить тебе точный отчет обо всем, — если бы событие, которому, взамен того, я вынужден посвятить нынешнее письмо, не произошло как раз перед закатом в седьмой день праздника и, таким образом, не оборвало естественного хода вещей.

«Но, хотя не вполне подобает, говоря о происшествии такого печального свойства, останавливаться на

вещах свойства игривого, я не могу не упомянуть о том, что зрелище, какое представлял собою храм в тот предвечерний час, внушало самые бодрящие ожидания. Достаточно указать на два обстоятельства. Первое — это праздничный наряд женщин, как бы нарочно придуманный для того, чтобы довести здорового человека до высшей степени предвкушения; впрочем, и его я тебе уже неоднократно и с достоинством одушевлением описывал. Второе же обстоятельство заключается в том, что факелов в эту ночь не зажигают, ибо это было бы опасно в виду обилия ветвей, уже совсем засохших; и, таким образом, по мере наступления ночи, внутренность храма постепенно погружается в темноту, среди которой слабое тление догорающего жертвенника пред кумиром Дагона должно, я полагаю, оказывать то же действие, как крупича острой приправы к сочному блюду.

«Долг человека просвещенного и привыкшего к добродетели обществу обязует меня, однако, также упомянуть, что и в другом — хотя, по-моему, гораздо менее привлекательном — смысле внутренность храма представляла в эту ночь немало замечательного. Здесь присутствовали все пять саранов Филистии, каждый со своею свитой, половина коей, говорят, до сей поры вербуетя из уроженцев острова Керэта, а вторая половина из местной молодежи высшего происхождения. Вообще я должен сказать, что храм этот, хотя по размерам своим остался бы незамеченным в Мемфисе или даже Фивах, ибо скамей в нем едва хватало для тысячи, и еще полутысяча могла уместиться стоя, — вмещал в тот день почти все именитое население Газы и немалую часть высшего сословия остальных четырех филистимских столиц. Причем, как я слышал, сараны и старейшие сановники по наступлении темноты удаляются, дабы не покровительствовать своим высоким присутствием происходящему народному веселию — или, быть может, дабы не мешать таковому; но, покуда светло, и они восседают на отдельных своих сидениях, хотя и

не принимают прямого участия в развлечениях толпы.

«Богослужение давно закончилось, солнце только еще клонилось к закату, и мы во храме доедали мясные сласти, запивая их довольно сносным вином местного изделия, когда послышались приветственные возгласы, и я увидел в среднем проходе между скамьями самого замечательного человека, какого довелось мне встречать на веку. Я писал тебе в прежнюю свою поездку, а потом и устно рассказывал, что этим разбойником из дикого племени, живущего где-то в предгорье к востоку от Филистии, разбойником, причинившим Филистии немало ущерба, Филистия, по-моему, гордилась: противоречие, которое у нас, египтян, было бы невообразимо, но которое вполне вяжется с беззаботным легкомыслием здешнего населения. Около года тому назад, однако, лопнуло даже здешнее терпение: разбойника взяли в плен, но (черта, опять-таки непонятная для нас, воспитанных в карательной твердости Египта) почему-то не казнили, а только выкололи глаза и оставили его на свободе, и постепенно он снова сделался желанным гостем на всех пирах Газы.

«Теперь я впервые увидел его. Передай твоему длинноному негру Шормасте, который столько раз после ужина уносил меня, человека плотного, как младенца, на руках, что бритая макушка его не дотянулась бы до подбородка этого великана. И, однако, плечи его были так широки, вообще все члены так соразмерны, что он ничуть не показался мне чудовишным. Лицо же его поразило меня своей красотой даже в этой стране, где прямые носы с едва заметным изгибом, тонкие губы и маленькие уши столь радуют египетский глаз и, увы, столь омрачают завистью египетское сердце. В отличие от филистимлян, шапки на нем не было, и в его темных, но далеко не черных волосах, очень старательно расчесанных, я заметил широкую белую прядь. Единственное, что было мне в его лице неприятно, это, конечно, за-

крытые, неестественно впалые глаза; помнится, я тогда же подумал, что у нас в Мемфисе даже рабы из хорошего дома не согласились бы пировать с человеком, столь явно обезображенным. Но, с другой стороны, когда он уселся на одном из табуретов, приготовленных для жреческого сословия у самого жертвенника, лицом к обществу, и, откликаясь на шумный хор приветствий, очень весело улыбнулся, я и сам забыл о его глазах ради очарования этой улыбки. Рядом с ним стояла маленькая девочка, приведшая его за руку (он признавал, говорят, только малолетних вожатых, упорно отклоняя предложения услуг со стороны взрослых людей; и вообще был любимцем у детворы). Судя по нарядному платью, девочка была из богатого дома. Усевшись, он погладил ее по голове и приказал ей безотлагательно идти домой: может быть, просто потому, что детям в эту ночь никак не подобало оставаться во храме, а может быть (если предположить — в чем я отнюдь не уверен, — что дальнейшие события были им уже заранее предусмотрены), и из привязанности к этому именно ребенку.

«Его приход внес большое оживление. Со всех сторон его окликали и откликался он; и на каждый ответ его все общество отзывалось веселым смехом, часто даже рукоплесканиями. Не стыжусь признаться, что и в хохоте, и в плеске, по прошествии недолгого времени, начал принимать участие и я; и должен признать, что этот троглодит оказался далеко не лишенным лицедейского дара. Лицо его, несмотря на закрытые глаза, способно было принимать любое выражение и даже сходство с другими лицами; и, при помощи самых несложных приемов, как, например, легкого перемещения локтей или едва заметного наклона шеи, он придавал своему высокому и стройному стану то вид коротенького толстяка, то обличье молоденькой девушки. Что касается до его голоса, то подобной гибкости я еще не встречал. Он передавал речь людей, тут же сидевших, с таким совершенством, что даже я, забыв обо всех правилах нашего сто-

личного изящества, вынужден был от времени до времени прижимать обе ладони к животу, дабы не задохнуться от хохота.

«Особенно мне понравилась одна картина, которую он разыграл в лицах, воплощая с изумительным искусством около десяти человек, говорящих почти одновременно. Но филистимским друзьям моим она пришлась почему-то не по вкусу. Насколько я понял (ибо он при этом употреблял много слов простонародных, мне неизвестных, а также подражал ломанному выговору разных племен), он тут изобразил перебранку на одной из пограничных застав, где филистимская стража собирает пошлину от купцов разных народностей. Вначале слушатели смеялись очень весело; но вдруг, когда пленник заговорил каким-то особенно отрывистым говором и при этом слегка насупился, как человек, глядящий исподлобья, — смех оборвался, а сидевший рядом со мною приятель с некоторым смущением шепнул мне, что теперь пленник изображает купца из своего собственного народа и что этого не следовало бы ему делать. Пленник, однако, не смутился и показал в чрезвычайно забавной смене вопросов и ответов, как его сородич, прикидываясь тупым простаком, постепенно вгоняет в пот и высокомерного сотника, и кропотливого счетовода пограничной стражи и в конце концов их же обсчитывает. На этот раз ему хлопали гораздо меньше прежнего, — за одним исключением, на котором я теперь и остановлю твое внимание тем охотнее, что речь идет о нашей с тобою старой приятельнице.

«Ты, конечно, помнишь общую нашу подругу, которую мы за красоту называли царевной Нофри, хотя она была иностранного происхождения, — и которая исчезла из Мемфиса года два тому назад? Здесь она, оказывается, слыла под другим именем, но я ее сейчас же узнал, как только обратил внимание на то, что она, одна среди всех сидевших на передней скамье, шумно рукоплескала пленнику именно после этого, почему-то никому не понравившегося предста-

вления. Она даже несколько раз повторила одобри-
тельный возглас, и, так как остальные молчали, то
великан, очевидно, расслышал и узнал ее голос, ибо
на мгновение быстро повернул голову в ее сторону,
хотя тотчас же и отвернулся. То обстоятельство, что
она оказалась и его старой знакомой, меня, конечно,
не удивило, принимая во внимание ее ремесло и его
богатырскую осанку; но с тех пор мне удалось вы-
яснить, что именно эта женщина каким-то образом
помогла филистимлянам захватить в плен дотоле не-
уловимого разбойника, за что и получила впоследст-
вии от казны крупное денежное вознаграждение.

«Она, однако, не удовлетворилась тем, что обра-
тила на себя его внимание, а, по-видимому, решила
привлечь также и внимание всего общества; и, дейст-
вительно, с этого мгновения и почти до самого конца
взор и слух присутствующих остались уже сосредото-
ченными не только на пленнике, но и на ней. При-
чем все дальнейшее произошло так быстро, что я,
диктуя это описание, далеко не уверен, удастся ли
мне припомнить и передать главные черты проис-
шедшей между ними беседы. Постараюсь, однако,
изложить то, что сохранилось в моей памяти.

«Начала беседу женщина, а именно тем, что, слегка
приподнявшись с места, воскликнула, обращаясь к
пленнику:

«— Ты умеешь загадывать загадки, Самсон (это,
как я забыл тебе сообщить, было его имя; или, может
быть, кличка, ибо в прошлый мой приезд его назы-
вали иначе) — но умеешь ли отгадывать?

«На что он, помолчав несколько мгновений, со сме-
хом ответил:

«— Какие у тебя загадки, красавица? Даже узор
голубых жилок на твоих ляжках — ни для кого не за-
гадка: все его видели!

«Это опять вызвало общий смех, и женщина
сильно побледнела, но, тем не менее, крикнула еще
громче:

«— Нет, у меня для тебя иная загадка. Что это та-

кое: из пожирателя вышло лакомство, из могучего — забава, из истребителя — шут?

«Он, услышав этот вопрос, унижительный смысл которого даже для меня был ясен, дрогнул всем телом; голос его, однако, звучал совершенно спокойно, когда он ответил ей:

«— В самом сладком лакомстве иногда таится отврава — так же точно, как в ласке блудницы часто прячется предательство.

«Филистимляне опять засмеялись, но сейчас же смолкли, ожидая с любопытством, что скажет она: по-видимому, такие поединки обидной колкости не считаются у них противными праздничному обычаю. И, действительно, женщина продолжала, причем мне показалось, что в ее голосе, кроме запальчивости и ненависти, чувствовалось также заглушенное начало рыдания:

«— Вот еще одна загадка: из отверженной вышла победительница, и глаза, когда-то глядевшие на нее с презрением, никогда уже ни на что не взглянут. Знаешь ли ты имя этой загадки?

«На что он немедленно и спокойно ответил:

«— Знаю, слышал: пять тысяч и пятьсот серебряных монет.

«Она, однако, покачала головой и сказала, наклонясь вперед:

«— Нет, не отгадал. Имя этой загадки иное: мое имя: Элиноар!

«Она произнесла это имя с такой силой выражения, что и у меня, никогда его не слыжавшего, прошла щекочущая дрожь вдоль спины, и я понял, что для пленника это имя должно было иметь какое-то особенное значение, и с любопытством взглянул на него. Так как лучи предвечернего солнца, прорываясь в открытые двери храма, очень ярко освещали его лицо, я мог ясно видеть сменявшиеся на нем выражения. И опять я вынужден повторить, что — если только имя, ею произнесенное, было ему действительно знакомо — этот дикарь оказался лучшим ли-

цедеем, какого я когда-либо наблюдал. Он изобразил на лице все признаки простодушной растерянности, поднял брови, даже раскрыл рот, повел головою вправо и влево, как бы расспрашивая всех присутствующих, и наконец проговорил:

«— Элиноар? Это кто такая? Не помню.

«При этом неожиданном ответе женщина пошатнулась совершенно так, как будто ее ударили в лицо, и прижала руки к своей открытой груди. Но через мгновение, преодолевая себя, она закусил губу, обернулась к задним рядам храма и кого-то оттуда поманила. В ответ на это к ней подбежала нубийская рабыня, на руках у которой я заметил нечто вроде свертка, окутанного прозрачною белую тканью. Женщина взяла у нее этот сверток и, опять повернувшись к пленнику, воскликнула:

«— А теперь отгадай третью загадку!

«Произнося эти слова, она быстро развернула ткань и извлекла оттуда голого младенца, которому на вид было едва ли больше трех или четырех недель от роду и который, очевидно, потревоженный со сна, сейчас же громко заплакал. Она поднесла его к самому лицу пленника и приложила маленькие руки младенца к его бородастым щекам; и как только осуществилось это прикосновение, дитя перестало плакать и потянулось к нему, причем я вспомнил уже упомянутые мною рассказы о том, что великан этот вообще пользовался любовью детей. И, действительно, от ощущения детской ручки его лицо, странным образом, стало вдруг само похоже на черты малого дитяти, и несколько мгновений он сидел, не шевелясь, а только подставляя то одну, то другую щеку, то нос, то лоб, то закрытые глаза под неловкие пальцы ребенка. Но внезапно он отстранился и быстро встал, делая такое движение руками, как будто хотел схватить младенца; чему, однако, женщина помешала, столь же быстро прижав дитя к себе и отступив на несколько шагов назад. Тогда он спросил, но уже не прежним своим голосом, полным на-

смешки, а так, как говорит человек, обуреваемый сильным волнением чувств:

«— Чей это ребенок?

«Женщина же рассмеялась и ответила ему:

«— Отгадай? Он будет храбр и могуч, как отец его; и я, чье молоко стало ядом, научу его ненавидеть отцовское племя; и от судьи и заступника произойдет недруг и разрушитель.

«Тогда в его гортани послышалось странное для меня клокотание, мало похожее на человеческий звук, и он ступил вперед, протягивая руки; но наткнулся на один из столбов, поддерживавших навес над идолом Дагона и над жертвенником. Женщина же, уверенная в том, что он ее не схватит, стояла на месте и хохотала, прижимая к груди младенца, который опять жалобно заплакал. Сосед мой, с явным неудовольствием в голосе, негромко заметил, что это все уже приняло оборот, не соответствующий обычаям праздника; но общество, по-видимому, настолько было увлечено происходящим перед ним состязанием, что в храме господствовало глубочайшее безмолвие, а в задних рядах почти все стояли, устремляя взоры то на женщину, то на пленника. Я же смотрел в особенности на него, замечая, что дыхание его вырывается из груди с чрезвычайным трудом и шумом и руки бесцельно бродят — одна по гладкой поверхности столба, другая по медной решетке, ограждавшей жертвенный очаг, на котором все еще тлела груда раскаленных углей. Но внезапно волнение его утихло, на лице вновь появилась улыбка, и он проговорил прежним своим голосом, хотя чрезвычайно громко и медленно:

«— Теперь отгадайте вы все эту последнюю загадку Самсона: многих перебил при жизни, но еще больше — в час смерти?

«Я не сразу понял, шутит ли он или грозит; но через несколько мгновений, по особенному шороху, который, несмотря на общее молчание (нарушаемое только плачем ребенка и треском углей на жертвен-

нике), пронесся по всему храму, — почувствовал и я, что подготавливается нечто небывало опасное. В то же время, однако, мне казалось, что члены мои связаны до полной невозможности шевельнуться; и, полагаю, такое же безволие оковало и все собрание. Как должно быть, и все остальные, я мог только смотреть на великана и дивиться (еще не понимая, что нам предстоит) новой перемене в его лице, которое постепенно багровело; дивиться толстой жиле, почти черного цвета, которая обозначилась на лбу его, и могуцей шее, которая как бы стала вдвое шире прежнего; дивиться крутым холмам мышц, которые медленно вздулись на его плечах и поползли вдоль обеих рук, опиравшихся одна о столб, другая о решетку жертвенника; дивиться всему этому, как дивится дитя или невежда редкому явлению природы, еще не догадываясь, что оно является предвестьем ужасов. Но в это время из задних рядов послышался беспокойный, хотя сначала еще заглушенный ропот встревоженных голосов, который, катясь все ближе к нам и разрастаясь, скоро превратился в общий вопль, такой громкий, что, казалось мне, и гром небесный трудно было бы сквозь него расслышать. Однако в этом последнем мнении я ошибся, так как над всеми этими голосами предостережения, страха и гнева вдруг совершенно внятно разразился крик того человека, крик, подобного которому по силе не может себе представить ничье воображение и который до сих пор еще не отзывался в моих ушах, а именно:

«— С вами вместе да погибнет душа моя!

«С этого места рассказ мой, любезный Тэфнахт, поневоле должен превратиться в повествование о делах невероятных; сознавая, что и сам я, не доведись мне быть очевидцем этого события, никому бы не поверил на слово в возможность подобных небылиц, я заранее отказываюсь от попытки придать им в твоих глазах правдоподобие посредством подбора выразительных слов. Он подхватил снизу жертвенный алтарь — тяжесть, по виду своему превышающую груз

для нескольких буйволов — и, подняв его довольно высоко над головою, бросил прямо в ту сторону, откуда, среди опять водворившейся тишины, доносился плач ребенка; и, еще прежде, чем жертвенник, среди грохота и воплей, обрушился на женщину с младенцем и на ее соседей, из очага его по всем сторонам разлетелись бесчисленные красные угли. Совершив это и пользуясь замешательством, которое, при виде такого деяния, овладело даже сильнейшими, он уперся спиною в столб, у которого прежде стоял, а ногами в золотую подставку идола; и не прошло мгновения, как со страшным треском столб этот, толщиной в два человеческих обхвата и вышиною в три человеческих роста, пошатнулся и начал медленно склоняться в нашу сторону; а лежащий идол, подобно коню, встающему на дыбы, поднялся торчком и обрушился в том направлении, где помещались пятеро саранов и их свита.

«Я предполагаю, что в это время храм уже полон был стонов, воплей и, — конечно, только в задних рядах — метаний уstraшенной толпы; но я ничего этого не слышал и не заметил, ибо взоры мои пригвождены были к зрелищу разрушения. Предо мною медленно и косо оседал тяжкий навес, еще за минуту до того осенявший Дагона и его жертвенник, но теперь лишенный и идола, и алтаря, и одного из опорных своих столбов. Когда же и прочие столбы, наконец, рухнули, погребая под своими обломками, вместе с многими жертвами этого неслыханного дела, также и виновника его, падение вынесло всю чудовищную тяжесть сквозь ничтожную преграду ста человеческих тел далеко в сторону, и край навеса, подобно ножу, отсекающему ветку, срезал две боковые колонны, на которых покоилась самая крыша здания. После этого я помню только хаотический обвал, где каменные глыбы смешаны были с корчащимися телами, между тем как вокруг бесновалось пламя, пожирая сухие ветви, перебегая по гирляндам от колонны к колонне во всю длину и ширину храма, и наконец —

невыносимое воспоминание, любезный Тефнахт — охватывая женские платья.

«Изобразительный дар мой, однако, слишком ничтожен для того, чтобы дать тебе описание, достойное события. Признаюсь, я попытался продиктовать таковое; но, когда писец, по моему приказу, перечитал его мне вслух, я остался настолько неудовлетворен безжизненными строками, что, дав рабу пощечину, велел ему разорвать исписанный лист папируса; и от повторения этой попытки считаю как более скромным, так и более разумным отказаться. Но не могу воздержаться от искушения несколько развить, в этом месте своего послания, мысль, которая неотвязно тревожит мой ум с самого дня того события. Не странно ли, Тефнахт, что именно картины разрушения потрясают душу своим величием, тогда как зрелище созидания — которое, казалось бы, во много крат значительно — заставляет утонченный взор отворачиваться со скукой или даже отвращением? Почему так величава смерть и в еще большей степени — битва, которая представляет собою смерть умноженную, — тогда как рождение являет вид, не только лишенный возвышенности, но и непристойный и даже тошнотворный? Почему так прекрасно землетрясение, разрушающее города; почему каждый из нас, если бы мог наблюдать его с высоты безопасного места, испытал бы при этом — конечно, наряду со скорбью по поводу гибели граждан и богатства — высокое восхищение ума, — между тем как постройка таких же городов, когда случается нам быть ее свидетелями, оставляет в каждом из нас лишь отталкивающее воспоминание о беспорядке, о пыли, о стуке молотков, о запахе пота, о брани надсмотрщиков?

«Но ты спросишь, и с полным правом, любезный Тефнахт, как же вырвался из этого сочетания пекла и бойни тот, кто ныне диктует настоящее к тебе письмо; вырвался, прибавлю я, с болезненными, но для здоровья не опасными ожогами. Объяснение, боюсь,

покажется тебе еще более невероятным, чем все остальные части моего рассказа. Ведь если бы это самое событие случилось у нас в Мемфисе (чего да веки не допустят египетские боги, совершенно независимо от вопроса о том, существуют ли они), пожар храма, несомненно, сопровождался бы свалкою, достойной диких зверей, свалкой, где сильный бьет и топчет слабого, мужчина женщину — может быть, мать свою, или дочь, или невесту, которая накануне, краснея, обещала в эту ночь подарить ему первую радость. Но у здешнего племени, несмотря на всю его склонность к шуткам, вину и разгулу, нет, должно быть, истинной привязанности ко благу жизни. Нечто подобное драке наблюдалось, если я не ошибаюсь, ближе к выходу, в задних рядах, где толпились обыватели более скромного сословия: там, по видимому, люди толкали и даже опрокидывали друг друга, загроможда тем самым проходы и мешая самим себе добраться до двери. Но в передней части храма, занятой знатнейшими семьями Филистии, было, очевидно, сразу всеми понято, что пробиваться к выходу, при таких условиях, для огромного большинства безнадежно, а потому и непристойно. Я счел бы преувеличением сказать, что все они приняли свою судьбу со спокойствием: напротив, и вокруг меня раздавались рыдания и стоны, некоторые женщины даже рвали на себе волосы, и лишь немного было таких, которые, скрестив на груди руки, неподвижно ожидали своей участи; но, тем не менее, в высшей степени примечательным должно признать то обстоятельство, что даже отчаивающиеся, даже громко оплакивающие приближение гибели не пожелали в эти минуты уподобиться черни, пробивающей себе локтями и пинками путь к маловероятному спасению.

«Стоя неподвижно среди них и вместе с ними — с теми, кого еще не коснулись ни обвал, ни огонь, — я вдруг заметил, что на сиденьях саранов уцелел только один из пяти, а именно правитель Экрона,

старый мой друг, знакомый и тебе по тому времени, когда он был моим гостем под Мемфисом и когда в загородном доме у меня по утрам нельзя было протолкаться среди множества птицеловов, приносивших ему на продажу не то певчих, не то ученых птиц. Встретившись со мной глазами, он совершенно спокойно кивнул мне головой, поманил к себе юного сотника в одежде керэтинской стражи и крикнул ему настолько громко, что расслышал его и я:

«— Проложи выход иностранному гостю — во что бы то ни стало!

«Прежде, нежели я успел понять, что речь идет обо мне, схватили меня с обеих сторон сильные руки и потащили, среди дыма и стонов, по среднему проходу между скамьями. Верь или не верь мне, любезный Тефнахт, но я тебе клянусь святынями всех народов, что на уровне первых рядов этот проход был почти свободен; и только дальше, по мере приближения к двери, сотнику, шедшему впереди, и солдатам его пришлось сурово пользоваться своими секирами, а под ногами я, вместо каменных плит, ощутил извивающиеся человеческие члены, и чьи-то зубы больно прокусили мне левую щиколотку. Дойдя до двери, сотник посторонился, оттесняя и отгоняя секирой ломившихся из узкого прохода разночинцев; и подчиненные его, тащившие меня за руки, с силой вытолкнули меня на паперть. Только один из этих солдат выбежал вместе со мною: остальные воздержались от естественного и простительного искушения; и, оглянувшись в последний раз с порога, я увидел, что молодой офицер, прямо по плечам и головам воюющей толпы, шел обратно к своему сарану. В это же мгновение затрепетала вся земля, из середины капища послышался новый грохот, и толпа, наполнявшая храмовую площадь, завопила, указывая вверх тысячами рук, что обвалилась крыша.

«Да, любезный Тефнахт, спасение мое воистину было чудом из чудес; ибо нет, должно быть, ни более таинственного, ни более возвышенного дива, чем то

непознаваемое, что гнездится в душе целого племени и отличает его от других обитателей земли: загадка, самая неразрешимая из всех, каким научил меня в эти часы и тот непостижимый человек, и народ, его любивший, его ослепивший и с ним погибший в одном огне».

Из романа «Пятеро»

НАЧАЛО ТОРИКА

Полгорода было на похоронах: шесть колясок с венками, и почти целая страница объявлений в газете. Никто не знал и не думал, что столько народу слышало о Марусе. Наш редактор, который никогда ее в глаза не видал и вообще любил, чтобы его считали сухим человеком, тоже пошел, а потом написал в газете (хотя уже давно перестал сам писать): «Словно даже совсем чужие люди пришли, не только отдать поклон величию самопожертвования, но и просто попрощаться с прекрасным воплощением юности, прелести, всего чистого и хорошего в жизни».

Первый брел за гробом никчемный, растерянный старичок, с лицом давнишнего нищего; но все-таки одет был так, как полагалось в таких случаях по правилам его поколения, воспитавшего себя на почтенной и степенной немецкой литературе, — цилиндр и черные перчатки. Абрам Моисеевич, тоже в цилиндре, поддерживал его под руку. Анна Михайловна лежала дома, доктор не велел вставать, и она сама, говорят, не порывалась пойти, вообще ничего никому не сказала. Самойло я почему-то на похоронах не помню, хотя он, конечно, был. Помню Торика: шел бледный и строгий и незаметно, но точно следил за

порядком. Перевозку тела и все прочее устроил он, ездил в братство отвоевать лучшее место на кладбище и лучшего кантора, и погребальщики все делали по его манованиям.

«...И приюти ее в высотах, где обитают святые и чистые, — светлые, как сияние небес...».

Хорошие у нас есть молитвы. Но другая была странная, даже бессмысленная, где нет ни слова об утрате, а есть только безропотная хвала обидчику-Богу. Слушая, как бормочет ее не то Самойло, не то Игнац Альбертович, я кусал губы от бешенства и думал про себя:

— Камнем бы я запустил в тебя, Господи, если бы ты не запрятался так далеко.

С кладбища я ехал на извозчике с Абрамом Моисеевичем; о чем мы сначала говорили, не помню: только одно меня поразило. Я ему сказал, думая, что это его порадует:

— Вы правы, Торик — золото. Надежный человек.

Вдруг я заметил, что у него лицо передернулось. Он и так все время был искренно подавлен, что называется, убит, но держался: тут я почувствовал, что старик вот-вот разрыдается или опрокинется в беспмятстве. Но он взял себя в руки и только проворчал совершенно неожиданное слово:

— Гладкая гадюка, склизкая...

Хоть не до Торики мне было и не до их размолвок, но я вытаращил глаза при таком отзыве о стародавнем его любимце. Но расспрашивать не решился, кажется; или, может быть, спросил, в чем дело, но он не ответил.

На другой день, или третий, я пошел к старикам. К Анне Михайловне меня не пустила деловитая сестра, приглашенная из частной лечебницы; а Игнац Альбертович сидел, как полагается, на полу в гостиной, небритый по траурному уставу, и читал по уставу книгу Иова, из толстой Библии с русским переводом. Принял меня спокойно, говорил тихо: не о Марусе, а главным образом об Иове.

— Замечательная книга. Конечно, только теперь ее понимаешь, как следует. Главное в ней — это вот какой вопрос: если так случилось, что делать человеку — бунтовать, звать Бога на суд чести или вытянуться по-солдатски в струнку, руки по швам или под козырек и гаркнуть на весь мир: рады стараться, ваше высокоблагородие! И вопрос, по-моему, тут разобран не с точки зрения справедливости или кривды, а совсем иначе: с точки зрения гордости. Человеческой гордости, Иова (он, конечно, произносил «Йова»), моей и вашей. Понимаете: что гордее — объявить восстание или под козырек? Как вы думаете?

Никак я, конечно, не «думал», никогда не читал Иова; ничего не ответил, он ответил сам:

— И вот здесь выходит так: гордее — под козырек. Почему? Потому что ведь так: если ты бунтуешься — значит, вышла бессмыслица, вроде как проехал биндюг с навозом и раздавил ни за что, ни про что улитку или таракашку; значит, все твое страдание — так себе, случайная ерунда, и ты сам таракашка.

Я начал понимать, и стал больше вслушиваться, и вспомнил, что когда-то мне эти люди с зерновой биржи и вправду казались большими жизнеиспытателями и школа «делов» — большою школой.

— Но если только «Йов» нашел в себе силу гаркнуть «рады стараться» (только это очень трудно, очень трудно) — тогда совсем другое дело. Тогда, значит, все идет по плану, никакого случайного биндюга не было. Все по плану: было сотворение мира, был потоп, ну, и разрушение храма, крестовые походы, Ермак завоевал Сибирь, Бастилия и так далее, вся история, и в том числе несчастье в доме у господина Иова. Не биндюг, значит, а по плану: тоже нота в большой опере — не такая важная нота, как Наполеон, но тоже нота, нарочно вписанная тем же самым Верди. Значит, вовсе ты не улитка, а ты — мученик оперы, без тебя хор был бы неполный: ты персона, сотрудник этого самого Господа: отдаешь честь под

козырек не только ему, но и себе, т.е. не все это здесь этими словами написано, но весь спор идет именно об этом. Замечательная книга.

Помолчав, он заговорил именно о той молитве, которая меня на кладбище разозлила:

— Вот возьмите этот самый Кадиш — заупокойная молитва, самая главная, на всех поминках ее говорят, и по нашему закону никакой другой не нужно. А содержание — «Да возвеличится и да будет свято имя божие» и больше ничего. Не только о покойнице ничего, но просто никакого намека на все происшествие; ну хотя бы «покоряюсь Твоей воле» — даже этого нет. Вообще, если хотите, дурацкий набор слов: «благословляю, прославляю, превозношу» — еще что-то пять комплиментов того же сорта: совсем похоже, как «Бейреш» — Борис Маврикиевич, знаете — писал Анне Михайловне из Италии: «дражайшая, любезнейшая, пресловутая Анюточка...». Кажется, будь у Господа желудок, его бы стошнило от таких книксенов. А на самом деле вовсе не чепуха: это он нарочно, это он черта дразнит.

— Кто «он», почему черта?

— Он — кто сочинил молитву: рабби Акива, если верно помню; как раз очень умный человек. Рассуждал при этом так: вот, стряслась беда, стоит этакий осиротелый второй гильдии купец перед ямой, все пропало, и больше незачем жить. Стоит перед ямой и мысленно предьявляет Богу счет за потраву и убытки; такой сердитый стоит — вот-вот подымет оба кулака и начнет ругаться, прямо в небо. А за соседним памятником сидит на корточках Сатана и ждет именно этого: чтобы начал ругаться. Чтобы признал, открыто и раз навсегда: ты, Господи, извини за выражение, просто самодур и хам, и еще бессердечный впридачу, убирайся вон, знать тебя не хочу! Сатана только этого и ждет: как только дождетя — сейчас снимет копию, полетит в рай и доложит Богу: «ну, что, получил в ухо? И еще от кого: от еврея — от

твоего собственного уполномоченного и прокуриста! Подавай в отставку, старик: теперь я директор». Вот чего ждет Сатана; и тот второгильдейский купец, стоя над могилой, это все чувствует. Чувствует и спрашивает себя: неужели так-таки и порадовать Сатану? Сделать черта на свете хозяином? Нет, уж это извините. Я ему покажу. — И тут он, понимаете, начинает ставить Господу пятерки с плюсом, одну за другою; без всякого смысла — на что смысл? Лишь бы черта обидеть, унижить, уничтожить до конца. Иными словами: ты, Сатана, не вмешивайся. Какие у меня там с Богом счеты — это наше дело, мы с ним давно компаньоны, как-нибудь поладим; а ты не суйся. — Та же мысль, понимаете, что у «Йова»: еврей с Богом компаньоны.

Анну Михайловну я, несомненно, после того видел, и не раз, но странно — ничего об этом не помню. Собственно, еще раньше не помню: с самого несчастья с Сережей. Вероятно, так устроена у меня память. Когда-то Лика, еще подростком — в единственном разговоре, которым меня в те годы удостоила, — объяснила мне разницу между памятью белой и черной: и сама гордилась тем, что у нее память «черная» — удерживает только горькое. У меня, если так, «белая»: очень тяжелые впечатления она выбрасывает, начисто и без следа вылушивает, и не раз я это замечал. Хвастать нечем — пожалуй, в своем роде права была Лика, считая свой сорт высшим сортом.

Ничего не помню о моей Ниобее со времени этих двух ударов; даже того, как наладились у нее отношения со слепым; даже того, очень ли она хваталась за последнего Торика — в те короткие месяц или два, что еще подарил ей Торик.

* * *

Торик выждал корректно семь дней, пока отец сидел на полу. На восьмой день Игнац Альбертович принял ванну, выбрился и пошел на биржу; а Торик

созвонился со мною в редакции, что будет у меня вечером по личному и существенному делу.

Его-то я хорошо помню, особенно в тот вечер. Я, кажется, несколько раз написал о нем: безупречный, или «безукоризненный»: право, не в насмешку. Я действительно больше никогда не встречал такого человека: люби его, не люби его, придраться не к чему: даже к безупречности этой нельзя было придраться — она была не деланная, и ничуть он ее не подчеркивал, просто натура такая ряшливая, без сучка и задоринки, не способная ни передернуть карту даже случайно, ни обмолвиться неправдой, ни притронуться к чужому добру, ни даже просто в чем бы то ни было внешне или внутренне переборщить.

А пришел он сообщить мне большую новость и просить, чтобы я взял на себя подготовить стариков.

— Вы, из нашего круга, второй, которому я это рассказываю. Первый был Абрам Моисеевич: я, во-первых, именно пред ним считал себя нравственно обязанным — думаю, вы понимаете причины: кроме того, думал его просить переговорить с папой: но он это очень тяжело принял, так что я уж не решился.

Я молчал, глядя на ковер. Помолчал и он, потом вдруг заговорил:

— Мне бы хотелось, чтобы вы меня поняли: не «оправдали», но поняли. Если согласны выслушать, я постараюсь изложить свою позицию совершенно точно, не передвигая ни одного центра тяжести: это нетрудно, я все это продумал давно и со всех сторон; еще с пятого класса гимназии. Ничего не имеете против?

Я вспомнил, что это было, приблизительно, в его пятом классе гимназии, когда я застал его за учебником еврейского языка, или за «Историей» Греца, или в этом роде. Основательный юноша, добросовестный: если что надо «продумать», начинает с изучения первоисточников. И столько лет вынашивает в уме такую контрабанду — и никто не заметил, даже друг его Абрам Моисеевич, мудрый, как змий, насквозь

видящий каждого человека, издали знающий, что творится в маленьком счастливом домике где-то в Овидиополе. Я сказал, не глядя на него:

— Слушаю.

— Начну с одной *mise au point*: я не хотел бы создать впечатление, будто мне это решение, что называется, «дорого обошлось», что пришлось «бороться» с самим собою. Эмоционального отношения к этой категории вопросов у меня нет, с самого раннего детства было только отношение рациональное. Но именно в рациональном подходе нужна особая осторожность: и рациональный подход, по крайней мере для меня, совершенно не освобождает человека от этической повинности быть чистоплотным. Например: мне кажется, попади я в кораблекрушение, никогда бы не соскочил в лодку, пока не усадили бы всех женщин и детей и стариков и калек: по крайней мере, надеюсь, что хватило бы силы не соскочить. — Но другое дело — корабль, с которого уже давно все поскакали или внутренне решили соскочить: притом спасательных лодок вокруг — сколько угодно, места для всех хватит; да и корабль не тонет, а просто неудобный корабль, грязный и тесный, и никуда не идет, а всем надоел.

Я пожал плечами:

— Откуда вы знаете? Вы здесь в Одессе никогда и не видали настоящего гетто.

— Нет, видел: с отрочества и до последних лет, как почти все мои товарищи, готовил на аттестат зрелости экстернов — «выходцы пинского болота», как их называла Маруся. Это, мне кажется, очень верный способ для изучения данной среды: по образцам; может быть, гораздо более точный способ, чем разглядывать эту среду изнутри, когда из-за гвалта и толкотни ничего не разберешь. Толковый химик в лаборатории, повозившись над вытяжкой крови пациента, больше узнает о болезни, чем доктор, который лечит живого человека с капризами, припадками и промежутками. И мой диагноз установлен беспово-

ротно: разложение. Еврейский народ разбредается куда попало, и назад к самому себе больше не вернется.

— А сионизм? Или даже Бунд?

— Бунд и сионизм, если рассуждать клинически, одно и то же. Бунд — приготовительный класс, или, скажем, городское училище: подводить к сионизму: кажется, Плеханов это сказал о Бунде — «сионисты, боящиеся морской качки». А сионизм — это уже вроде полной гимназии: готовит в университет. А «университет», куда все они подсознательно идут, и придут, называется ассимиляция. Постепенная, неохотная, безрадостная, по большей части даже сразу невыгодная, но неизбежная и бесповоротная, с крещением, смешанными браками и полной ликвидацией расы. Другого пути нет. Бунд цепляется за жаргон: говорят, замечательнейший язык на свете — я его мало знаю, но экстерны мои, например, цитировали уайтчепельское слово «бойчикль» — хлопчик, что ли — ведь это *tour de force*: элементы трех языков в одном коротеньком слове, и звучит естественно, идеальная амальгама; но через 25 лет никакого жаргона не будет. И Сиона никакого не будет; а останется только одно — желание «быть, как все народы».

Я мог задать еще двадцать вопросов: — А религия? А антисемитизм? — Но у него, должно быть, на все готовы были непромокаемые ответы; я промолчал, он продолжал:

— Лучшая школа для всего этого, по-моему, наша семья: дети, мы пятеро. Каждый по-своему ценная личность, только без догмата: и смотрите, что вышло. Отдельно о каждом из нас говорить не хочу; только хочу защититься, чтобы вы не подумали, будто я Марусе не знаю цены. Хорошо знаю: стоило, тысячу раз стоило Господу Богу сотворить мир со всеми его мерзостями, и стоило целому народу для того проташиться сквозь строй мук и разложения, если за эту цену может раз в поколение расцвести на земле такой золотой василек; существо, одержимое

одной заботой — всех приголубить, всем дать уют. Но вы сами знаете, что и Маруся—цветок декаданса.

Я помолчал и спросил:

— Чего торопитесь? Даст Бог, скоро помрут родители; а у вас времени много впереди.

— Не знаю, много ли времени. Говорят, министерство внутренних дел торгуется теперь с синодом, хочет ввести новое законодательство, которое всю эту процедуру очень усложнит, во всяком случае отсрочит получение полных прав. Но не в этом дело, поверьте. Я по натуре строитель, человек плана и распорядка; план у меня большой, на долгую дистанцию; в этом году я кончаю университет, надо начать строиться. Не могу топтаться на месте — да еще выжидать с нетерпением, скоро ли похороню маму и отца и Абрама Моисеевича.

— Он при чем?

— Он, как раз, самая у меня болезненная точка: оттого я ему первому и сказал. Дело в том, что он давно составил завещание в мою пользу; и жирное. Потому что не знал: если бы знал, скорее на призрение бездомных собак оставил бы свои деньги, как тот сумасшедший грек Ралли (это иждивением Ралли по всему городу у акаций стоят зеленые жестянки с водой, с надписью «для собак»). Что же — промолчать? Обокрасть человека? Это все не в моем вкусе: я пошел к нему и сказал, чтобы дать ему время переписать завещание; вероятно, уже переписано.

Тут я посмотрел на него, встретился глазами — он, по-видимому, и все время не прятал от меня взгляда. Прямой взгляд, глаза порядочного человека, которому нечего скрывать; и ни тени рисовки — рассказывает мне, в сущности, об очень благородном и тонком своем поступке, но просто, как о вещи само собою понятной. Одет хорошо, без Сережиной щеголеватости, но хорошо; «standesgemaess», как полагается молодому интеллигенту, который подает надежды и будет персоной, но пока еще ничего особенного не совершил, и так и знает. Ни кольца, ни брело-

ков, в сером галстуке булавка с матовой головкой — вероятно, не дешевая, но маленькая и строго-матовая.

— А церковь выбрали?

— Выбрал. Думал сначала о том армянском иерее в Аккермане, который очень упростил церемонию; но слишком уж это было бы экзотично. Сделаю, как все, поеду в Выборг к тамошнему пастору Пирхо: я уже списался.

Из сборника «Рассказы»

EDMÉE

Рассказ пожилого доктора

(1912)

— Восток? Он совершенно чужд моей душе. Вот вам живое опровержение ваших теорий о расе, о голосе крови. Я рожден западником, несмотря на предательскую форму носа. Однажды, впрочем, и я рискнул заглянуть на Восток. Может быть, тут и сыграло некоторую мимолетную роль обиженное расовое чувство. Вы знаете, у нас в Германии еще сильны некоторые предрассудки. Без ложной скромности могу сказать, что я давно заслужил кафедру; полагаю, что и ваши русские специалисты слышали о моих трудах по анатомии. Я связан тесной дружбой с профессорами университета в нашем городе и знаю, что они с живейшим удовольствием приветствовали бы меня в своей среде. Но прусское министерство имеет свои пути и средства влияния, против которых бессильна академическая автономия. Доцентуру я мог бы получить, но согласитесь — в мои годы, с моим именем, это прямо неловко. Друзья в Берлине пробовали хлопотать, но им дали понять, что это преждевременно. Я был очень огорчен, до то-

го, что работа валилась из рук. Вы поверите, надеюсь, что при моей практике я не нуждаюсь в выгодах государственной службы; я холост, братья и сестры имеют свои средства, и на мой век хватит с меня и денег, и почету без этой кафедры. Но все-таки я был очень огорчен. Вы спросите: но ведь есть простое средство?.. На это я вам скажу: ваших предрассудков я не разделяю, с религией и общиной давно порвал все связи, но есть вещи, которые мне эстетически противны. Оставалось одно: примириться. Так я и сделал, а чтобы развлечься — поехал на Восток. Повторяю, возможно, что в выборе этого места отдохновения сыграл некоторую роль бессознательный протест расового чувства. Вы меня обидели, так вот же вам, назло вам еду в родную сторону моей расы. Однако же далеко я не поехал, а удовольствовался Константинополем.

Тут я и убедился, что душа моя — душа западника. Рискуя показаться вам человеком без чувства прекрасного, рискуя даже худшим — что вы меня заподозрите в желании оригинальничать, — я вам должен признаться, что Константинополь мне совершенно не понравился. Начиная с прославленного Босфора. Я не выношу этой яркости, этого солнца, которое не знает нюансов и полутеней, которое мажет грубыми крикливыми красками, словно деревенский маляр. Уверяю вас, что наш Гоарц или Шварцвальд изобилуют видами, которые гораздо красивее Босфора и Золотого Рога. Наше солнце утонченнее, деликатнее, *plus distingué*, рассчитано на более благородный вкус. О самом городе нечего и говорить. Я ничего не имею против извилистых и гористых переулков, они представляют главную прелесть многих очаровательных старинных городов нашего германского юга; но при этом нужна же хоть какая ни на есть архитектура, стиль, тон. Переулки Стамбула, по-моему, просто безобразны. Со мною ходил по городу один художник и очень восхищался, но я в глубине души думаю, что это было из снобизма. А

толпа! Шумная, пестрая толпа есть и в Италии, но там она всегда благородна, сохраняет и в разнообразии красок, и в гаме известное прирожденное чувство меры, никогда не превращается в то, что видишь на Востоке, — в какую-то хроническую свалку воюющих людей, одетых в дико окрашенные тряпки. Нет, я и в эстетике западник, европеец. Эта закваска во мне так сильна, что даже романическое приключение, которое я там пережил, посвящено было дочери Запада и проникнуто западной мечтательностью — von einem Hauch westlicher Schwärmerei.

Ибо вы должны знать, что я там пережил и романическое приключение, несмотря на свои пятьдесят два года, социальное положение и малую привычку к дамскому обществу. Правда, это был чрезвычайно невинный роман; переживая это приключение я даже не подозревал его романического оттенка, и понял это лишь после развязки.

Я поселился на Принцевых островах. В сущности, жить по-человечески в Константинополе можно только в роскошных отелях Терапии и Буюк-Дере, потому что там много европейцев, мало туземцев и почти совсем не пахнет Константинополем. Но одна беда: все эти места лежат на Босфоре, и главной их прелестью считается вид на Босфор, а я вам сказал, что этот отвратительный пролив, со своим морем, размалеванным в синее, и берегами, размалеванными в зеленое, был мне нестерпим. Я поселился в Принкипо. Не спорю, хорошенький островок. Но... его следовало бы отнять у турок. Pardon, вы, кажется, туркофил; но так как я-то не собираюсь выпросить у них Палестину, то могу искренне сказать свое мнение. Если бы отобрать Принкипо у турок да завести там европейский порядок, это был бы очаровательный остров. Я поселился в Hôtel Giacomo и там встретил ее. Ее звали Edmée, а было ей отроду двенадцать лет.

Завтрак и обед нам подавали на террасе, над самым морем, за отдельными столиками. Неподалеку

от меня обедала семья французского консула; место службы его было не в Константинополе, но он сюда приехал отдыхать. Он и жена были парижане, младшие дети родились уже здесь, но Эдмэ увидела свет еще в Париже и росла там до четырех лет. Это мало, но не шутите с отпечатком Европы! Он сказывается. Ему достаточно маленькой щели и крошечного мгновения, чтобы пустить свои корни, оставить свой налет. Как это происходит, я не знаю; в этом есть что-то мистическое. Эдмэ не помнила, конечно, Парижа, воспитывалась она где-то в Дедеагаче с дочерьми левантинцев, но на всем ее существо лежала печать Запада, и она казалась воплощением утонченной западной культуры *in partibus infidelium*.

Я еще не был знаком с ее семьей, только раскланивался, но ее тотчас же заметил. Она выделялась. В нашем отеле было много левантинцев. Надо знать, что это за публика, что это за раса! Много трубят о нивеллирующем влиянии Северной Америки, о ее великом котле, где перемешиваются и перевариваются все племена, сплавляясь в единый американский народ. И при этом никто еще, кажется, не заметил, что нечто подобное наблюдается в европейских кварталах Константинополя, Каира, Александрии. Туда тоже все нации сбывают свои осколки, там они перемешиваются, и создается новый народ — левантинцы. В Константинополе это племя называют специальным прозвищем — *rétotte*, от квартала Перы, где живут обычно эти «европейцы». Хотите знать примерную типическую родословную средней перотской семьи? Отец — итальянец, рожденный от хорвата и шведки; мать — гречанка, рожденная от польского эмигранта и румынской цыганки; по паспорту они англичане, а в семье говорят по-французски. Представьте себе этот букет! Вообразите культурную атмосферу, в которой воспитываются дети такой семьи, эту бакалейную смесь традиций, предрассудков, обычаев, возникших под разными широтами, дисгармоничных, несоизмеримых, несовмести-

мых! Они не могут привить своим детям ничего похожего на чувство общности, потому что эти люди живут абсолютно вне всякого гражданского обихода. У них не только нет гражданских мотивов в душе, но нет и почвы, на которой могли бы вырасти гражданские чувства. Возведите понятие *sans patrie* в куб, и вы получите отдаленный намек на эту психологию с совершенно атрофированным нервом патриотизма. Отсюда глубочайший эгоизм, самодовольная тупость, полное отсутствие стимулов к общественной жизни, невежество и, наконец, простая неблаговоспитанность, всегда свойственная среде, потерявшей прочные традиции. Таковы они, таковы их дети. Эдмэ была в этой обстановке, если позволите вспомнить Шекспира, словно белая голубка среди черных ворон.

Эдмэ была блондинка; личико было у нее миловидное, не больше. Фигура тоненькая, еще совсем детская, очень грациозная. Одевали ее просто, но мило, видна была рука умной матери, хороший вкус и хороший журнал детских мод. Ее левантинские сверстницы, игравшие вместе с нею на той же террасе и в саду не помню в какие игры, были почти все гораздо красивее; притом это были уже маленькие женщины, и одевали их нарочно так, чтобы подчеркнуть зарождающиеся женственные линии. Сами девочки, казалось, об этом знали и поглядывали на мужскую молодежь отеля дразнящими взглядами. В этом антураже Эдмэ казалась воздушной, существом высшего разряда. Она резвилась гораздо искреннее своих подруг, с гораздо большим увлечением, потому что не думала в эту минуту о том, как бы казаться поизящнее; но выходило само собою, что она и в веселье изящнее, сдержаннее всех — более шаловлива, но не так криклива и не так резка в движениях. Чувствовалось хорошее воспитание, всосавшееся в самую кровь. Глядя на нее, я поверил в то, во что никогда не верил: что действительно бывают вполне нормальные, здоровые, даже умные девушки, кото-

рые созревают в спокойном неведении, недоступные даже мимолетному прикосновению нечистой мысли, недоступные даже простому любопытству. Система воспитания, сложившаяся в течение столетий, проверенная опытом многих поколений, так направила их мысль, что она сама собой инстинктивно отскакивает от точек, которых опасно касаться. Эти девушки созревают, не замечая своего созревания; бури переходного возраста проносятся у них где-то в сфере подсознательного; они растут в здоровой безмятежности, нечто предчувствуя, ничего не сознавая, ни о чем не любопытствуя. Такою будет Эдмэ.

Но и тогда она была уже не ребенком. Я это заметил, сравнивая с ее младшей сестрой, которой было лет десять. Та иначе обходилась с мальчиками во время игры, более запросто, более беззаботно, и сама еще была неуловимо похожа на мальчика. Эдмэ уже несколько сторонилась. Молодым людям отеля она еще кланялась первая и не обижалась, когда они говорили ей ты, но я видел, что при встрече с существом другого пола в ней уже что-то инстинктивно настораживалось, подбиралось, подтягивалось. Она этого не сознавала, но я это видел. Великое притяжение, первые признаки которого, по странной и мудрой воле природы, выражаются в отталкивании, уже смутно пробуждалось в тайниках души, недоступных ее собственному взгляду. Фигура у нее была еще совершенно детская, но жесты, походка, манера, когда она нагибалась, подымалась на цыпочки, останавливалась на бегу, — все это уже было от девушки.

Когда я узнал ее ближе и присмотрелся к ней, мне пришло в голову, что это, быть может, самая красивая пора в развитии женского существа. Конечно, не у всех женщин. Есть ведь и знаменитый тип девочки-подростка с красными руками и угловатыми манерами; впрочем, поверьте мне, чем дальше на Запад, чем выше по культурной лестнице, тем реже он попадается. Но есть натуры, у которых этот перелом совершается без резкости, как бы внутренно, под кожей. У та-

ких натур возраст подростка — самый обаятельный, самый поэтический, самый благоуханный. Я вообще того мнения, что заря лучше утра и полудня, апрель лучше мая. Именно там, где незаметно совершаются загадочные переходы природы от одного состояния к другому, там всего явственнее вянтен аромат великой тайны, веяние Бога, пролетающего мимо «с волшебной палочкой в руках». Там душа твоя смутно угадывает мириады дивных возможностей, из которых, вероятно, ни одна потом не осуществится. Три прекрасные вещи создал Бог: детство, юность и женщину. Вдумайтесь, как возвышенно красив должен быть момент, когда эти три прекрасные вещи сплетаются воедино — когда в душе и теле женщины совершается перерождение от детства к юности! Если бы я не боялся, что вы меня примете, Gott bewahre, за любителя парадоксов, я бы сказал, что женщина, собственно говоря, с четырнадцати лет начинает стареть. — Впрочем, может быть, это все объясняется тем, что я старый, убежденный холостяк, слишком мало женщин выдавший на своем веку. Может быть. Как хотите. Но это — мое мнение, и при нем я остаюсь.

Мы подружились. Перед закатом, когда дети переставали играть, Эдмэ приходила ко мне в сад, еще с куклой, серсо или скакалкой в руках, и мы начинали беседовать. Она говорила и как дитя, и как женщина. Болтала она обо всех пустяках детской жизни, об играх, о пансионе, мило и чуть-чуть сплетничала о своих подругах здешних и школьных, об их семьях и гувернантках, передавала свои проказы — чрезвычайно тонкие, грациозные, хорошего тона проказы; и вдруг переходила к серьезным вопросам — о добре, о зле, о Боге. Однажды она мне рассказала свои мысли об эгоизме. Ее мисс уверяет, что человек должен быть такой добрый, чтобы ему легче было самому умереть с голоду, чем не дать голодному хлеба. Но если так, то где же заслуга? Если творишь благо потому, что это тебе доставляет удовольствие, то разве

это не тот же эгоизм? Она сама, Эдмэ, подарила однажды девочке в пансионе свою брошку с сердоликом, потому что девочка ужасно завидовала ей и плакала; но Эдмэ совсем не хотелось так поступить, она заставила себя и потом сама всю ночь горько плакала. Если послушать мисс, то это еще не значит быть хорошей, а надо стать такой, чтобы твои руки так и рвались сами все отдать. Как вы думаете, кто прав? — В другой раз оказалось, что она сторонница смертной казни. Казнить надо убийц и политических преступников, а кроме того, таких мужчин, которые покидают жену и детей ради новой любви. Она не понимает, как можно примириться с изменой. Когда ей в пансионе изменила подруга, Эдмэ с ней перестала говорить и никогда в жизни уже не помирится. Со своего младшего брата Андрэ она взяла клятву, что если когда-нибудь муж ей изменит, она вызовет Андрэ телеграммой из Сингапура, где он тогда будет консулом, и он убьет того человека.

Но о чем бы она ни говорила, о Лукени, который убил императрицу Елизавету, или о своей подруге Клео, которая ужасно прожорлива, она себя держала, как взрослая. Содержание беседы могло быть ребяческим, форма и манера говорили о том, что передо мною женщина. В чем это проявлялось, я не могу точно определить. *Un je ne sais quoi*. Раз ко мне приехали два господина и провели на острове день; я их познакомил с Эдмэ, и они вынесли то же впечатление. Она не дичилась, а просто сначала присматривалась и только отвечала на вопросы, но потом разговаривалась, и получилось впечатление, что эта маленькая умная хозяйка занимает свой салон. Она то шутила, то становилась серьезна; загадывала нам загадки, расспрашивала о России (мои гости были ваши соотечественники), рассказывала о городе, где папа был консулом. Старший из моих гостей был седой старик; когда смерклось, она спросила, не сыро ли, не принести ли ему плед. Но другой был молодой человек, лет тридцати семи, с красивой бородой, и я

заметил, что она несколько раз внимательно скользнула по его лицу глазами, а вообще держала себя с ним как-то осторожнее, чем с нами, избегала прямо к нему обращаться и на его вопросы отвечала короче, и голос ее тогда звучал замкнуто.

Через неделю после этого Эдмэ пришла в сад без куклы и серсо и сказала мне, что завтра они уезжают. Мне стало невыразимо грустно, до того грустно, что я мысленно разбранил себя. Что такое? Как не стыдно? С одной стороны, мне все-таки пятьдесят два года, и не мог же я влюбиться в эту девочку; с другой стороны, я все же еще не так одряхлел, как во время оно царь наш Давид, в котором только теплота чужой юности могла поддерживать биение жизни. Так я себя уговаривал, но сердце мое болело, и Эдмэ прочла это по моему лицу. Она вдруг стихла и пристально, не отводя взора и не мигая, смотрела мне в глаза; ее синие глаза совсем потемнели. Одно мгновение мне казалось, что из-под ее ресниц побегут слезы; еще одно мгновение мне казалось, что она станет коленями на скамью и кинется мне на шею. Но она не заплакала и не кинулась, а только тихо, почти неосознано положила руку на мой рукав и сказала особенным, тихим, грудным, сосредоточенным голосом, какого я еще не слышал и не подозревал, голосом женщины, которая все и давно поняла:

— Я т о ж е буду тосковать о вас, мой единственный друг на Принкипо.

Признаюсь, у меня было движение поцеловать ей руку, но я вовремя опомнился. Я уверен, что она бы не удивилась, но я сам почувствовал, что нельзя. Я даже не погладил ее волос. Я проглотил что-то такое, что стояло поперек горла, и сказал, лишь бы что-нибудь сказать, криво улыбаясь:

— Разве я ваш единственный друг на Принкипо, Эдмэ? А подружки ваши по играм? А Клео?

И тогда она мне ответила буквально следующее... Эти слова, что называется, еще звучат в моих ушах. Я, однако, начинаю колебаться, передать ли вам их:

мне теперь только пришло в голову, что вы из них сделаете свои излюбленные выводы. Впрочем, так и быть, знаете роман, знайте и развязку. Она ответила буквально следующее:

— Ах, Клео... Знаете, ведь она еврейка, этим все сказано. Я вообще за то не люблю Принкипо, что тут всегда масса евреев. Они такие вульгарные, я не выношу. А вы?

ЖИДЕНОК

Много лет тому назад, шатаюсь по Палестине, я подружился с учителем в одной колонии. Он, между прочим, рассказал мне, что в арабской деревне неподалеку (насколько помню, деревня называлась Даньян) есть удивительная школа: шесть классов, географические карты, и учитель из воспитанников каирского университета Аль-Азгар. Он давно собирался посмотреть эту диковину. Мы решили пойти вместе. Ни он, ни я не знали дороги в Даньян и ни слова по-арабски.

— Не беда, — сказал мой приятель, — проводник-переводчик найдется среди моих учеников.

Утром, когда мы собрались, он окликнул первого попавшегося мальчика и спросил:

— Ты знаешь дорогу в Даньян?

Мальчик ответил:

— Конечно, знаю.

— По-арабски говоришь?

— Конечно, говорю.

Мы пошли. Мальчик разговорился со мной и очень мне понравился. В нем была прирожденная благовоспитанность или, может быть, просто мы его не интересовали — во всяком случае, он не заговаривал первый; но на вопросы отвечал решительно, как

человек, мнения которого давно сложились и никаким поправкам не подлежат. Имя? Авиноам. Возраст? Бар-мицва — тринадцатилетие — через несколько недель. Где родился? На юге России, уехал оттуда шести лет. Чем будешь? Колонистом в Галилее (это, впрочем, была тогда общая мода и мечта).

Учитель ушел далеко вперед и не слышал нас, так что я мог себе позволить педагогическую некорректность: я спросил Авиноама, нравится ли ему школа.

— Слишком много пустяков проходим, — сказал он сразу и решительно.

В те годы уже много писали о том, что школы в Палестине чересчур интеллектуализируют подрастающее поколение; поэтому я подумал, что он слышал такие разговоры и сейчас станет мне проповедывать сокращение программы до триады «читать, считать и пахать». Оказалось, что он еще много радикальнее и что это у него не влияние взрослых разговоров, а собственный вывод из житейского опыта.

Житейский опыт, на который он сослался, приключился еще на Днепре, в местечке Большая Лепетиха. Раз он там ловил головастиков со своим старшим братом Менделем, и напали на них туземные мальчики. Сначала не дрались, а только высказали в односложной форме неодобрительное мнение о национальности юных ловцов. Старший брат Мендель, член кружка Пирхе-Цион, принял вызов и подтвердил, что он, действительно, член того самого односложного народа — и гордится этим. Но лидер туземных мальчиков на это ответил:

— Жиды не народ.

Аргументацию туземца Авиноам передал мне так:

— Кабы вы были народы, вы бы умели ругаться по-своему. Я вот русский, так и ругаюсь по-русски (и тут он сказал такое, что не приведи Бог — Авиноам не хочет цитировать). А ну, скажи то же самое по-вашему!

Мендель не умел.

— А второе, — сказал туземец, — кабы вы были

народы, вы бы умели давать сдачи. Вот я русский, так и дам тебе по морде. (И «дал»). А ты можешь?

Мендель не мог.

Это событие, оказывается, легло в основу всей педагогической программы Авиноама. Арифметика и все прочие пустяки. Ученик должен усвоить только две отрасли знания:

— Говорить по-древнееврейски — и бить по морде.

За этими беседами мы дошли. Нас ждала у околицы целая коллегия: учитель из Аль-Азгара в каких-то белых ризах; великолепный чернобородый шейх, несколько других селян вида оседлого и зажиточного. Отношения между обеими ветвями потомства Авраамова были тогда прекрасные. Обмен приветствиями длился минут десять. Шейх, белый учитель и старейшины были несказанно рады гостям, т.е. моему приятелю и мне, потому что на третьего, на Авиноама, конечно, никто не обращал внимания. Стоял скромно, переводил, что полагалось, но вообще держался в тени.

Нас повели в школу. Столько лет прошло с тех пор — я уже не помню, какая она была; помню только, что почему-то, вместо обхода классов, нас усадили в теневой стороне двора; дали пышную подушку еврейскому учителю и другую, еще пышнее, мне (Авиноаму, понятно, не полагалось подушки); потом явился самовар, крутые яйца и два блюдечка с вкусным рахат-лукумом — одно еврейскому учителю, другое мне (Авиноаму не дали). Я несколько смутился: тогда я еще помнил самого себя в годы Авиноама, и у меня за него слюнки потекли; я было протянул свое блюдечко ему — но в эту минуту глаза наши встретились, и он как будто неприметно мигнул мне, словно хотел шепнуть:

— En davar, не беспокойтесь.

Наконец, в самый разгар чаепития, показали нам и школу. Старший класс был мобилизован тут же на дворе, полукругом, а на земле у моих ног распро-

стерта была та самая географическая карта, о которой я слышал: оттоманская империя стенного формата, испещренная арабскими надписями. Класс состоял из семи малых, лет по пятнадцати на вид; если бы не трахома, это были, насколько помню, красивые и высокие юноши. Арабский учитель тогда обратился ко мне; по тону и жестам я понял, что он мне предлагает роль экзаменатора; я уже хотел отклонить ее в пользу моего приятеля педагога — но в эту минуту глаза мои встретились с глазами Авиноама, и он сказал, почти не шевеля губами:

— Вы должны: вы гость гостя.

Это было очень тонкое понимание приличий, и до сих пор я не постиг еще всех его извилин; но мой приятель тоже кивнул головой, и я подчинился и немедленно стал функционировать. Строго осмотрев весь полукруг, я указал на правофлангового и приказал Авиноаму:

— Спроси его, где на этой карте Дамаск.

Никогда не надо говорить не подумавши. Если бы я подумал, я бы не задал такого рискованного вопроса; но я его задал и через мгновение очутился в тупике. Дело в том, что арабский мальчик, действительно, ткнул пальцем в какой-то кружок, над которым что-то было написано арабскими буквами; но я букв этих не знаю, — а про то, где Дамаск, я и на переходном экзамене из четвертого класса в пятый не имел собственного мнения. Я растерялся — в эту минуту опять глаза мои встретились с глазами Авиноама, и опять он мне как будто неприметно мигнул, как будто что-то неслышно шепнул — и я сурово сказал холодным, лязгающим голосом непоколебимой, неумолимой убежденности: нет, это не Дамаск!

Я вызвал второго и опять скосил глаза на Авиноама: второй попал в точку. Потом... но нет смысла затягивать историю, для меня совершенно не лестную. Краткое содержание ее сводится к тому, что незаметно, постепенно, вежливо, без резких переходов, без наглости, Авиноам как-то отодвинул в тень и меня, и

своего учителя; он сам не задавал вопросов, Боже сохрани, он всегда смотрел на меня и ждал моих просвещенных указаний — но указания эти он, очевидно, получал магнетически и претворял в вопросы и резолюции, о содержании которых я понятия не имел. Сначала я еще кое-как чувствовал, что мы несемся сквозь сферы таблицы умножения, но потом все смешалось; остался только Авиноам, судящий народы и творящий расправу, и мы все, малые и серые, учителя, ученики, шейхи и старейшины, где-то на дальнем плане. Как сквозь сон я видел, что шейх и старейшины смотрели то на Авиноама, то друг на друга и качали чалмами или кефиями: и еще мне привиделось в этом сне, будто вдруг откуда-то явилась подушка для Авиноама, и блюдечко со сладостями — тоже для Авиноама; и, наконец, когда мы уходили, та же коллегия и все ученики проводили нас опять до околицы — и шейх, почтительно попросившись с еврейским учителем и со мною, как бы поколебался минуту — и почтительно попрощался с Авиноамом.

Когда мы шли назад и Авиноам погнался за щерицей и где-то застрял, я спросил приятеля:

— Что он у вас, первый ученик или вообще светило?

— Этот? — сказал он не без презрения. — Такой же лентяй, как и вся моя шайка.

Я сознаю, что получился у меня страшно шовинистический рассказ, похожий на историю о том, как Чарли Чаплин единолично окружил двенадцать немецких солдат. Но, во-первых, это все сущая правда, так и было; и, во-вторых, это совсем не шовинистическая притча, ибо у меня все же еще осталось сомнение, удалось ли бы Авиноаму выдержать экзамен по главному предмету его собственной образовательной программы — по второму; а в этом-то, может быть, и все дело.

ДВА ПРЕДАТЕЛЯ

На суд к Адонаю привели ангелы двух жалких, которые были некогда людьми на земле.

Один из них был видом тщедушен и ничтожен, и глаза его беспокойно моргали, быстро поглядывая туда и сюда.

Другой же был лицом благообразен, и веяло от него достоинством, кротостью и покоем чистой души.

И привели их и поставили пред лицом Предвечного; а Предвечный долго молчал и смотрел на них всеохватывающим оком и потом сказал первому:

— Изложи нам, как жил ты на земле.

Тогда затрепетал тщедушный, и упал у подножия престола, возопив воплем одержимого, и так закричал, корчась и захлебываясь:

— Господи, я был доносчиком на Твоей земле. Я прятался вечером под окнами, когда люди мнили себя наедине и раскрывали друг другу тайники души; я же запоминал их речи и передавал врагам их; и многие через меня приняли позор и муку. А я принимал за них серебряные сикли, цену дела моего; и питал этим серебром жену и малых детей...

И выл тщедушный, как собака под плетью, и в вое не можно было расслышать заключения слов.

Долго смотрел на него, извивавшегося, Предвечный, долго молчал и потом произнес:

— Имя тебе — предатель.

И обратился ко второму, и сказал:

— Ныне изложи, как жил ты на земле.

Тогда выступил благообразный, и поник на колени, склоняясь седою головой до подножия престола, и проговорил голосом тихим и кротким:

— Я, Господи, никому не сотворил зла на Твоей земле.

При этом ответе омрачилось лицо Адоная, и были Его слова, как тяжелые ледяные глыбы.

И сказал Он:

— Здесь ли, пред лицом ли Судии хочешь ты хитрить, дитя человека? Ибо зачем говоришь ты: вот я жил на земле и никому зла не сделал; а я вижу эту землю и знаю, что нельзя человеку на ней приветствовать вечер, не сотворив злого дела в течение дня; так что и я, Бог твой, если бы жил на земле среди вас, сотворил бы злое. Думаешь ли ты обмануть Бога твоего, Мстителя?

Было печально лицо старца от гнева Господня, и трепетно и тихо, но стойко ответил он:

— Я же говорю тебе воистину, Царь над царями царей, что никому я не сделал на земле Твоей зла.

— Во всю жизнь мою, Господи, я не знал ни мгновения мира; гнали и мучили меня близкие и далекие, но я никому из них не пожелал зла. Когда ввергли меня в узилище, я укрепил сердце мое надеждою на Твое милосердие и никого не проклял; когда ограбили меня, я протянул руку во имя Твое за подающим, и никого не проклял; когда посетил меня гнев Божий, я горько заплакал над пожарищем моего дома и над холодными трупами детей и никого не проклял. И вчера, когда я умирал голодный, под забором, вокруг пировали и ругались надо мной притеснявшие меня; но и тогда я никому не пожелал злого, и умер, никого не проклиная.

Долго молчал после того Всевышний и долго смотрел в кроткие и скорбные глаза старца, и многое таинственное было тогда написано во взоре Адоная.

И прозвучало затем слово Господа:

— Имя тебе — предатель.

— Нет предателя хуже тебя на земле. Ибо о нем, о товарище твоём, что лежит рядом с тобою, и корчится, и воет неподобно человеку, — о нем говорят люди на земле: «О, то был дурной человек, и не должны быть подобными ему». И тем удаляются они от греха предательства.

— Но о тебе говорят люди на земле: «О, то был святой человек, и блажен тот, кто найдет в себе силы поступать всю жизнь подобно ему».

— И оттого редеют ряды борцов Моих, готовых положить душу за правое дело, а в то же время злые, вспоминая тебя, говорят с усмешкой друг другу: «Безопасно для нас обижать этих людей, ибо не хотят они постоять за себя; пойдем же к ним, и возьмем себе их достояние, и повеселимся с их женщинами».

— Так растет через тебя посев несчастья на земле: и вся жизнь твоя была предательством ближних, живших рядом с тобою, и внуков, которые придут после тебя. И потому говорю тебе: имя тебе — предатель!

— Его, что предательствовал за деньги, не накажу муками: пусть идет. презрение Бога и людей да будет ему карой; но тебя, развратителя, — проклинаяю!

Из сборника *Causerie*

(Легкие беседы на общие темы)

ТРИ ИСКУССТВА

Однажды три друга заспорили, что такое искусство и в чем верх искусства.

Один сказал:

— Искусством я называю только искусство поэта. Живопись дает краски, музыка дает звуки, ваяние — формы, архитектура — синтезы форм; но искусство поэта дает все это вместе и еще многое. Я бы отдал все на свете, чтобы родиться поэтом. Я бы согласился тогда оглохнуть и ослепнуть, потерять обе ноги и правую руку. Я проводил бы дни в темноте и молчании и рождал бы стихи. Это, должно быть, не-

стерпимое наслаждение пополам с нестерпимой мукой — присутствовать при том, как в твоей голове, почти независимо от воли твоего сознания, подбираются равнозвучные слова, сначала мечутся в беспорядке вихрем, потом постепенно оседают, перетасовываются и складываются в стройный лад. Я бы диктовал свои стихи людям и был бы счастлив. Я даже думаю, что мог бы онеметь, утратить последнюю нить общения с людьми, и все же был бы счастлив. Я в каждый миг ощущал бы свое могущество, свое самодержавие. Ощущал бы, что в моей власти то, чего никто другой не может. Я творю из «ничто», как сам Бог, и то, что я творю, совершеннее созданий Божьих. Божьи творения все представляют только отдаленную степень приближения к идее; мои творения очищены от примесей дня и факта, я создаю чистую идею. Я сужу Бога, природу, царей и героев, и на мой приговор нет апелляции — потому что он бронирован рифмами. Пройдут столетия, а моя рифма будет жить. Будет жить, если даже люди ее забудут или затеряется книга, где она была записана! И если даже я онемею и никто не услышит и не узнает моей рифмы, кроме одного меня, она все же будет жить вечно! Ибо рождение рифмы в душе поэта есть акт, запечатленный в незримых протоколах мирового движения; какое дело вселенскому Духу до того, слышали ли эту рифму ушные раковины каких-то человечков на какой-то планете!.. Я не умею все это передать, как надо, словами, но я чувствую: верх искусства — это искусство поэта.

Другой сказал:

— Этой философии я не понимаю. Вселенский Дух, мировое движение — все это не для моей скромной головы. Для меня искусство неотделимо от аудитории; то, чего никто не видит и не слышит, не есть для меня искусство. Искусство есть то, что движет сердцами людей; и потому верх искусства для меня — человеческая речь. Если бы меня накануне рождения спросили, каким я хочу быть художником, я бы

сказал: хочу быть оратором. Помните вы описание оратора у Гейне, в письме из Англии? Оно изумительно. Только одна деталь мешает: его оратор маленький, невзрачный человек. Это нехорошо. Греки не пустили бы его на кафедру. Оратор должен быть Kalos k'agathos, рослый, статный, мужественный, плечистый, широкобородый, с голосом, в котором звучали бы все ноты — от шелеста ветерка по траве до грохотов обвала. Он всходит на трибуну лениво, апатично, на лице усталость, веки полуопущены; первые слова его неловки, негладки, полны запинок, и лишь понемногу он оживляется и овладевает вопросом. Он анализирует и критикует. Он логичен, корректен и сух; он приводит факты, сопоставляет цифры, напоминает, уличает; он очень обстоятелен и даже немного скучен. Но постепенно в его критике начинают прорываться саркастические нотки: сначала одна безобидная шутка, потом другая — несколько едче, третья совсем уже злая, и вдруг перед вами совершенно новый человек: он уже не рассуждает — он издевается. Он за ухо, двумя пальцами, переводит своего противника из одного смешного положения в другое; он обнажает абсурды, которые скрыты в тезисах противника, он двумя мастерскими штрихами шаржирует его слабые стороны, и каждая фраза его упирается в хохот собрания. И тогда вдруг обрывается насмешка — мгновение паузы, — и вдруг перед вами третий человек, человек великого гнева. Он не рассуждает больше, он больше не шутит: он негодует. Низкий голос его глухо и подавленно рокочет, словно поток, который еще не вырвался; и вдруг поток раздирает скалы и низвергается всей своей дикую массой на головы обреченных; тогда низкий голос берет себе полную волю и гремит над собранием, заставляя плечи ежиться и волосы на полулысых макушках шевелиться. И долго грохочет он, обрушивая через равные промежутки тяжкие, гулкие удары, на которые снизу толпа в экстазе, почти в беспамятстве отзывается взрывами рукоплесканий, топота и воя,

— пока не ослабеют постепенно страшные раскаты и не заиграет из-за туч радуга примирения. Новый, четвертый человек стоит на трибуне: муж доброй надежды. Он забыл сарказм, и горечь, и гнев: он верит в светлое завтра. Как орган в хороший праздник, так звучит теперь глубокий голос — «голос, шуму вод подобный», вешних вод: и трели жаворонка, и шорох почек, и незримый рост травы, и вся гамма весны слышится в нем, и так кончается речь... — Впрочем, у Гейне это лучше описано, советую прочесть.

Третий сказал:

— Для меня все это не искусство. Что такое стихи? Каждая мысль имеет только одну идеальную форму выражения: писать стихи значит коверкать эту идеальную форму в угоду ритму, ослаблять мысли и образы ради размера или рифмы. Что такое публичная речь? Шарлатанство, ломание паяца перед публикой, вымаливание аплодисментов, и если вдруг публика в каком-нибудь эффектном месте забудет или не захочет вам хлопать, вы разбиты, вы смешны, вы с носом. Для меня верх искусства — искусство политика. Быть маленьким, хилым, невзрачным, седеньким, подслеповатым человечком; сидеть взаперти в своем кабинете, за широким столом, заваленным тетрадами и картами; говорить тихим голосом простые, тихие слова, отдавать короткие приказания — и держать в своих руках все узлы от миллионов нитей; смотреть на общество и на жизнь народную, как на шахматную доску, которая лежит перед тобою и на которой ты сразу играешь за черных и за белых; ты даешь движение белой пешке и знаешь, что через восемь ходов она столкнется с черным конем; ты заплетаешь сложные сети и знаешь, кто и когда в них обречен запутаться; ты сталкиваешь две толпы и холодно заранее учитываешь итог их стычки; и на месте свалки воздымается пыль облаком и крики, вой, проклятия до самого неба, и люди пьянеют от азарта и рвут друг друга зубами, думая, что все это — по их собственной воле, и не

зная, глупые, что они творят только волю твою — а ты в это время сидишь взаперти, за столом, маленький, хилый, молчаливый, и незаметным движением худощавых, бледных пальцев дергаешь нити...

БЕЛЫЙ ПРЕДЕЛ

Принято думать, будто корни социализма — в Ветхом Завете; но это не совсем так. Ветхий Завет полон, конечно, социального протеста, ненависти к общественному порядку, при котором богатому живет широко за счет страданий бедняка. Но социализм — не только протест: социализм есть конкретный план законодательного разрешения социальной проблемы, и именно такой план, какого в Ветхом Завете нет. Напротив: конкретный план социальной революции (вернее, набросок такого плана) имеется и в Ветхом Завете, но тот план не только не есть социализм, а есть, по основному своему замыслу, нечто резко противоположное социализму. Библейское средство против социального беспорядка называется «юбилейный год» и изложено в главе 25-й книги Левита. Коренное различие между ним и социализмом есть различие между двумя понятиями: пресечение зла и предупреждение зла.

Социализм есть попытка предупреждения социального зла: проект такого общественного устройства, при котором неравенство в распределении благ станет раз навсегда и автоматически невозможным. Самая социальная проблема, как мы ее теперь понимаем, должна исчезнуть после тщательного проведения социалистического строя. Человечество будет организовано таким образом, что сосредоточение крупного количества благ в руках частного лица станет немислимым. Все равно, как немисливо копить

воздух, так немыслимо будет тогда копить богатства. Это не обязательно означает, что государство будет платить одну и ту же меру вознаграждения за труд профессора и дровосека, хотя бы потому, что умственная работа требует некоторых условий покоя и комфорта, без которых дровосек может обойтись. Разряды жалованья, как в советской России, могут стать не только временной, но и постоянной чертой социализма. Более того, можно думать, что некоторые исключительные виды духовного труда, зависящие от таланта, будут в те дни оплачиваться вне разряда: удачный роман, например, разойдется в миллионе экземпляров, и автор «разбогатеет»; или «разбогатеет» гениальный пианист, объездив полмира с концертами (хотя еще неясно, не вытеснит ли радио и концерт, и книгу). Но все это мелочи. Социальная проблема коренится не в том, что случайный счастливец найдет в море большую жемчужину. Горе начинается с того часа, когда он эту жемчужину обменяет на большой участок земли или на завод с десятками станков и получит возможность покупать труд своих соседей задешево и продавать плоды его дорого. Эту опасность социализм устраняет, раз навсегда изъяв средства массового производства из сферы частного владения.

Библейский проект не имеет ничего общего с этой профилактической системой, исключаяющей самое зарождение социального неравенства, эксплуатации, хозяйственного соперничества и борьбы. Ветхий Завет хочет сохранить экономическую свободу, но в то же время обставить ее поправками и противоядиями. Некоторые из библейских поправок (как раз наименее радикальные) общеизвестны. Главная из них — отдых субботний, упомянутый еще на скрижалях десяти заповедей. Затем есть закон об окраине поля: при жатве собственник не имеет права подбирать колосья, упавшие близ межи, — это подберут безземельные чужеродцы, вроде нищенки Руфи. Есть еще закон о «десятине» в пользу храма. Из этих рудимен-

тов развилась впоследствии вся сложная нынешняя система социальной охраны, общественной взаимопомощи, обложения богатых в пользу бедных. Ничего общего с социализмом она, конечно, не представляет, хотя многие из входящих в нее законодательных мероприятий проведены были в жизнь под прямым влиянием социалистических партий; все это — лишь поправки к строю экономической свободы; начала свободы они не затрагивают. — Но самая радикальная и революционная из намеченных Ветхим Заветом поправок к режиму экономической свободы гораздо менее известна.

Мысль об юбилейном годе изложена в третьей части Пятикнижия приблизительно так: отсчитай семь семилетий, а всего сорок девять лет; на седьмой месяц после этого, в десятый день того месяца — Судный день — пройдите с трубным звуком по всей вашей земле. «Этот пятидесятый год считайте святым; провозгласите Свободу в стране; годом Юбилея будет вам тот год». Если вынужден был человек продать за долги свою землю и не хватило у него средств выкупить ее, то в год Юбилея земля вернется к нему без выкупа. Так же будет и с домом, кроме домов городских. Так же будет и с братом твоим, который обеднел и продался тебе на службу: обращай с ним не как с рабом, а как с наемником, и то только до юбилейного года, а в год Юбилея он опять свободен, он и вся его семья, и они вернутся в свое прежнее имя.

Больше ничего об юбилейном годе в Ветхом Завете, кажется, не сказано; тем не менее тут пред нами изумительно смелый размах реформаторской мысли. Это, в сущности, попытка установить начало обязательности периодических социальных революций. В России раннее народничество мечтало когда-то о «черном переделе», т.е. о насильственном перераспределении всей земли в интересах чернорабочего люда. В наше время такую мысль называли бы красным переделом. Библия имеет в виду, так сказать, белый пе-

редел: узаконенный. Но главное отличие ветхозаветного передела от переделов социалистических в том, что эти — «раз навсегда», а тот — обязательно и периодически повторяем. По планам, исходящим из социалистического идеала, справедливые земельные (или вообще социальные) отношения устанавливаются однажды, и уже дальше не допускается никакая их перетасовка. По плану Библии хозяйственный быт сохраняет и после Юбилея полную свободу дальнейшей перетасовки. Люди будут по-прежнему измышлять, изловчаться, бороться, соперничать; одни будут богатеть, другие обеднеют; жизнь сохранит свой облик ристалища, где возможны поражение и победа, почин и провал и награда. Эта свобода будет ограничена только двумя поправками. Одна поправка, вернее целая система поправок, действует постоянно и непрерывно: раз в неделю работа запрещена, край поля и виноградника принадлежит бедным, десятая часть дохода взимается в пользу «храма»; в переводе на современный язык это означало бы нормировку рабочего времени и вообще все законы об охране труда, все формы государственного страхования рабочих, все виды социального налога. Вторая поправка, или скорее противоядие против режима экономической свободы, — «Юбилей». От времени до времени над человеческим лесом проносится огромный топор и срубает все верхушки, переросшие средний уровень; аннулируются долги, обедневшему возвращается потерянное имущество, подневольный становится самостоятельным; снова устанавливается равновесие; начинайте игру сначала. до нового передела.

Лучше ли это, чем социализм, или хуже — оставим оценку на минуту в стороне; важно пока установить, что это — полная противоположность социализму. Идея повторных социальных переделов есть попытка пресечения зла, а не предупреждения. Напротив: она, очевидно, зиждется на вере в то, что свобода экономического соперничества есть незыблемая

основа человеческого быта. Пусть люди борются, теряют и выигрывают. На арене борьбы нужно только снизу подостлать много мягкой травы, чтобы и упавший не слишком больно ушибся: эта «подстилка» есть суббота, край поля, десятина, весь тот переплет приспособлений, при помощи которых государство пытается помешать превращению эксплуатации в кровопийство, бедности в нищету. А от времени до времени на арене раздается свисток судьи: победители и побежденные возвращаются к исходной черте и выстраиваются в одну ровную шеренгу. Именно потому, что борьба должна продолжаться.

Что лучше, предупреждение или пресечение, — это вопрос старый. Он возникает пред каждой матерью, когда дети еще крошки: что лучше — лечить их, если простудятся, или не выпускать на улицу, чтобы не простудились? Когда подрастут дочери, вопрос принимает новую форму: что лучше — не выпускать их на прогулку со студентами без надзора или рискнуть, что иной роман зайдет слишком далеко и придется принимать чрезвычайные меры? Или, в масштабе государственном: что лучше — предварительная цензура или меры против вырождения бесцензурности в нецензурность? Воспрещение уличных манифестаций или отряд полиции за углом, на случай, если полетят камни? Вообще говоря, что лучше: прививка против всех болезней или хирурги и аптеки? Говорят, если бы можно было привить человеку иммунитет от всех возможных болезней на свете, человек бы стал кретином. Я не знаю медицины и судить не могу, но...

Будь я царем, я бы перестроил царство по мысли Юбилея, а не по мысли социализма. Конечно, прежде всего пришлось бы найти подходящих мудрецов и поручить им разработку библейского намека. В той неуклюжей, первобытной ребяческой форме он неприменим к нашему сложному быту; некоторые историки сомневаются даже в том, соблюдался ли действительно юбилейный год и в древние времена

Израиля, не остался ли мертвой буквой с самого начала. Но мало ли что в библиях мира сего осталось поныне мертвой буквой? Мечей на сошники мы еще тоже не перековали; но когда-нибудь перекуем. Мертвая буква не есть смертный приговор. Мертвая буква иногда есть признак истинного идеала. Я посадил бы мудрецов за разработку ветхозаветного намека в переводе на язык современности. В наказе моем этой комиссии было бы написано так: благоволите приспособить мысль о повторных, и притом узаконенных, социальных революциях к условиям нынешнего хозяйственного быта. Имейте при этом в виду, что предложенный в Ветхом Завете пятидесятилетний срок — деталь несущественная. Вы можете предпочесть другие промежутки. Более того: можете вообще устранить хронологический признак, можете заменить его признаком целесообразности. Можете, например, установить, что «Юбилей» наступает тогда, когда за это выскажется некое специально поименованное учреждение, парламент, сенат, верховный совет хозяйственных корпораций или, наконец, плебисцит, большинством простым или квалифицированным, как найдете полезнее. Тогда «переделы» совпадут приблизительно с эпохами глубоких и затяжных кризисов — что, в сущности, и нужно. Главное — утвердите в вашем проекте раз навсегда законность того явления, которое теперь называется социальной революцией; отнимите у этого понятия страшный привкус насилия и крови, нормализуйте его, сделайте его такой же частью конституции, как, скажем, созыв чрезвычайного национального собрания для пересмотра этой конституции — мерой исключительной, мерой особо торжественной, но вполне предусмотренной. Затем благоволите предусмотреть, как отразится введение этого начала на обыденном хозяйственном обороте, особенно же на той его основе, которая называется кредитом. В той же главе Левита вы найдете оговорку, что в промежутках между двумя Юбилеями ценность поля, например, исчисля-

ется по количеству годовых урожаев, оставшихся до ближайшего «передела»: этого, конечно, недостаточно, это даже не подойдет при отмене хронологического признака, но, идя по этой линии, ваша мудрость и ученость поможет вам найти необходимые поправки для сохранения жизнеспособности кредитного начала. Словом, подумайте и устройте; только дайте каждому человеку в нашем царстве возможность жить, производить, торговать, изобретать, стремиться, добиваться без предварительной цензуры — и в то же время знать, что от времени до времени будет Юбилей, и трубный глас по всей стране, и «провозглашение Свободы».

Я, однако, не царь, а напротив — член того сословия, самое имя которого стало бранью: буржуазия. Еще хуже: я не принадлежу и к распространенному в этом сословии крылу кающихся буржуа. Я ничуть не каюсь. По-моему, почти вся культура, которой мы дышим, есть порождение буржуазного строя и его древних прототипов римских, эллинских, израильских, египетских; и я верю, что этот строй одарен беспредельной гибкостью и растяжимостью — что он способен вместить огромные дозы социальных поправок и все же остаться в основе самим собою. Я верю, что общественный распорядок, получивший кличку буржуазного или капиталистического, постепенно выработает систему мер, при которой исчезнет явление бедности, т.е. падение заработка ниже уровня сытости, гигиены и самоуважения: если бы не военные бюджеты, во многих странах это было бы осуществимо и теперь. Более того: если правда, что буржуазный строй — как все живое — вырабатывает попутно яды и потому сам для себя создает неизбежность периодических потрясений, — то я верю, что он способен не только вынести, не пошатнувшись, эти потрясения, но способен и их включить в свою систему: узаконить и упорядочить свои самопересмотры, обеспечить пред собою бесконечные возможности усовершенствования чрез этапы повтор-

ных социальных переворотов, предусмотренных, обдуманных, планомерных — и, между прочим, бескровных. Словом — верю не только в прочность буржуазной системы, но и в то, что система эта объективно содержит в себе семена некоторого социального идеала: идеала в обычном смысле, т.е. видения, о котором стоит мечтать и за которое стоит бороться. То, что в наше время никто еще субъективно не проникся этим видением, ничего не доказывает: было время, когда и пролетариат субъективно не ощущал никакого социалистического идеализма. Римское общество эпохи принципата несомненно томилось по новым идеалам; но, если бы не Павел, Европа еще пятьсот лет не знала бы христианства. Слово буржуа стало бранью, буржуазия сама себя стыдится, извиняется за свое существование; а я все-таки думаю, что придет еще новый Маркс и напишет три тома о ее идеале и, быть может, озаглавит их не «Капитал», а «Юбилей». И родится он, вероятно, в Москве.

Иногда я задумываюсь вот о чем: у социализма есть энтузиазм и мечтатели, и в этом, быть может, главная сила его. Но в том мировоззрении, символом которого кажется мне мысль об юбилейном годе, заключено видение гораздо более привлекательное для человеческой мечты. Ни один социалист не отрицает, что в мировой коммуне хоть сытно будет житься, но скучно: волновать людей будут только вопросы духовные или научные (я лично думаю, что громадная будущность предвидится в ту пору для крестословицы), но истинная, опьяняющая, возвышающая горечь надрыва и подвига уйдет из жизни навсегда... впрочем, это или что-то в этом роде прекрасно изложил когда-то поэтический обыватель Надсон: и, конечно, нельзя считаться с эстетикой, когда речь идет об устранении голода. Но в видение общества, построенного по плану Юбилея, тоже входит устранение голода; зато остается весь авантюризм игры и борьбы, вся романтика прыжка и погони, все обольщение сво-

боды творческого каприза; и, главное, остается то, что социализм поклялся вытравить и без чего, быть может, и жить не стоит, — вечная перспектива *переворота*, вулканическое начало в общественном быту; поприще, а не пастбище.

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Гершель. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА

36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЭДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слущкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слущкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ

לכבוד
הנהלת "ספרית-עליה",
ת.ד. 21650,
תל-אביב.

טל. 256182

1. Стоимость одной книги серии "Библиотека Алия" – 40 изр. лир.
2. Стоимость 12 книг – 336 изр. лир (скидка 30%).

Прошу выслать мне 12 из опубликованных книг
(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 336 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных книг
(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму в 168 изр. лир.

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Мартин Бубер. **ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.**

Пер. с иврита и немецкого.

М.Бубер (1878–1965) – философ, религиозный мыслитель и теоретик сионизма.

Содержание: Вступительная статья; Три речи об иудаизме; Статьи; Путь человека (согласно учению хасидизма); Хасидские рассказы; Борьба за "Царство Божие"; Народ и его земля; Церковь, государство, народность, еврейство.

Макс И.Даймонт. **ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ.** Еврейская история в популярном изложении.

Пер. с английского.

Автор, известный в Америке своей книгой "Неистребимый еврей" и другими произведениями, описывает здесь, как люди ищут ответа на вопрос – благодаря чему еврейская нация сумела выжить на протяжении четырех тысяч лет; каковы были те глубочайшие религиозные и культурные идеалы, пропитавшие духовную жизнь этого народа, которые позволили ему не только избежать неминуемого для других цивилизаций исчезновения со сцены мировой истории, но и сохранить творческую активность, единство и верность национальным целям и задачам.

Аврахам Суцкевер. **ЗЕЛЕНый АКВАРИУМ.** Пер. с идиш.

Собранные в книге прозаические произведения известного поэта, пишущего на идиш, А.Суцкевера (р. 1913) – пятнадцать стихотворений в прозе ("Зеленый аквариум", 1953–1954) и восемь сказаний цикла "Мешиахс тогбух" ("Дневник Мессии", 1970–1975) – во многом автобиографичны. Катастрофа еврейского народа легла пропастью между прошлым и настоящим в жизни поэта. Мостом через эту пропасть становится память о погибших.